

Николай Полотнянко

**ВЛАД
СМЕЛЯНА ПУГАЧЕВА**



Полотнянко Н.А.

П52 КЛАД ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА: Современный русский роман. – Ульяновск: Издатель Качалин Александр Васильевич, 2014. – 264 с.

На обложке картина «Восстание Пугачёва». Автор неизвестен.

«...Баженов взял свечу и, подняв её на вытянутой руке, осветил крюк в потолке.

– Готовься, Емельян, свет Иванович! Завтра тебя Потёмкин на него вздернет и зачнёт плетью потчевать. А я тебе могу помочь, ясное дело, не даром. Палач Прошка, хоть и лют к вора, да и он человек, и его ублажить можно.

– Нечем мне его ублажать, – сказал Пугачёв. – Да и зачем?

– Экий ты строптивец, – поморщился Баженов. – Прошка может одним ударом мясо до костей вырвать, а может и видимость изобразить, только громче кричи. Если согласен, я ему заплачу, но ты, чай, многие клады имеешь? Пожертвуй одним во своё спасение.

Пугачёв, зазвенея цепью, тяжело вздохнул.

– Нет у меня кладов. Всё, что попадало в руки, отдавал людям.

– И ты с такими повадками кабацкого гуляки хотел стать царём?

Пугачёв нахмурился и окинул канцеляриста высокомерным взглядом.

– А может тот, кто выше любого царя, дал мне такую судьбу?

– На бога киваешь? – поморщился Баженов. – Да если бы он тебя восхотел на царствие возвести, ты бы родился царём, а не висельником!

Загремя цепями, Пугачёв поднялся на ноги.

– Народ выше царя, и его глас – божий!

– Да ты и вправду дурак, – презрительно сказал Баженов. – Ты бы не о царстве думал, а о себе. Открой клад, а я с Прошкой перетолкую.

– У тебя одно на уме – золото! – вскипел Пугачёв. – Тыфу, на него! Сыпал я его по сторонам, когда находил – не радовался, а терял – так не горевал.

– Вот и поведай, где терял? – насторожился Баженов. – Может, я найду, а тебе от меня помощь будет.

– Что ты заладил, как сорока про Якова! Клад, клад! Я такой клад по всей русской земле развеял, что ему нет цены!

– Опять темнишь, твоё величество! Какой клад?

– А такой, – глядя мимо Баженова, медленно произнёс Пугачёв. – Я в каждом мужике посеял догадку, что и он может стать царём».

Николай Полотнянко

КЛАД ЕМЕЛЬЯНА ПУГАЧЁВА

Современный русский роман

Ульяновск
2014

*Из земли
Здесь вставляли бунтарские грозы
И кровавой надеждой питалась заря...
Вот везут,
Вот везут по симбирскому взвозу
В кандалах и железах надёжу – царя.
Свищет кнут, и крутые бунтарские выи
Возлюбила петля да топор палача.
Вот везут,
Вот везут по дорогам России
В зарешёченном троне Царя - Пугача.*

**Тяжелы,
Словно скипетр государев, колодки.
Опостылел и солнца державный венец.
Вот звенят,
Вот звенят цепей кованых чётки:
– Отгулял, отгулял, молодец – удалец!
Блещет взгляд Пугачёва державною сталью.
Поезд царский послушно встречает народ,
Но не кличем задравным –
молчаньем повальным.
Только птица на клетке царёвой поёт.**

*И откуда взялась эта дивная птаха?
Из казачьего сердца, из воли степной?..
Но выводят царя, и граф Панин с размаха
Бьёт его по лицу пухлой барской рукой.
Но нельзя развенчать казака Пугачёва,
Коль его до царя возвеличил народ.
И звенят от пощёчины барской оковы.
И стучат топоры, громоздят эшафот.
И когда голова покатила с плахи,
И качнулась толпа, любопытствуя, к ней,
Из груди Емельяновой алая птаха
Взмыла вверх –
выше
древних московских церквей!*

ГЛАВА ПЕРВАЯ

-1-

В солдатских избах Преображенского полка, где жительство-вали нижние чины, размещённые по несколько человек в комна-те, часто вперемешку холостые с семейными, утреннюю побудку сыграли за час до ротных построений на полковом плацу. Едва смолкла последняя, поторапливающая лежебок, трель медного рожка, как из душных изб стали выбегать до ветра заспанные солдаты, кои поспешали к приземистым отхожим местам, где долго не засиживались и не застаивались, всяк торопился ополоснуть под рукомойником помятое на соломенной подушке лицо и брался за привычное дело, потому что ещё Пётр Великий установил: с утра быть солдату бриту, а нет, так биту. В сем по-велении была очевидна мудрость преобразователя, поскольку солдат должен быть чист, а под бородой грязи не видно, бритьё лицо строжит и холит, и любой начальник, от капрала до госу-даря императора, сразу узрит, что у солдата на роже написано — дурь или усердие и рвение к службе, да и ухмылку, оскорбляю-щую тонкие чувства начальствующих, не спрячешь под волоса-ным покровом.

У большинства солдат бритвы были плохонькие, свои, русские, из самокального железа, у дворян побогаче имелись бритвы немецкой выделки, но ни у кого в роте не было столь дивного бритвенного прибора, как у Степана Кроткова, что происходил из синбирских дворян и тянул лямку рядового уже четвёртый год. Достоинство упоминания происхождения сего предмета, он, по семейному преданию, был боевым трофеем славного предка Степана Кроткова, который в дыму и пламени Полтавской битвы поразил своим молодецким штыком капитана королевских

драгун и, не убоившись града пуль и пушечных ядер, обшарил его походный ранец, где и обнаружил бесценный предмет, которым теперь владел внук полтавского героя.

Взбив мягким помазком мыльную пену, Степан обильно покрыл ею нижнюю часть лица, и, взирая в зеркало, побрился, утёрся полотенцем, взглянул на отражение и затосковал от своей непригожести, которой он, по его разумению, обязан неудачами на служебном и житейском поприще. Фортуна была к Кроткову неблагосклонна, ему не везло ни в карточной игре, ни в амурных приключениях, а последнее было, ох, как важно в столице Российской империи, где при дворе царили куртуазность и галантность, и законодательницей гламурных нравов была сама императрица Екатерина Алексеевна.

Кротков с отвращением плюнул на своё отражение в зеркале, сунул его в сундучок с личным имуществом и взял оттуда колоду нераспечатанных игровых карт. Планом на сегодняшний день у него было раздобыть денег и попытать счастье в компании таких же забубенных картёжников, как и он сам, в каком-нибудь припортовом трактире, где уже давно стал своим человеком.

За последним солдатом из его комнаты захлопнулась дверь, и Кротков спохватился, задвинул ногой сундучок под лавку и побежал следом за всеми на полковой плац, где уже нетерпеливо покрикивали на припозднившихся солдат ротные капитаны, взводные поручики и фельдфебели. Кротков едва успел встать на своё место, как его поманил к себе пальчиком капитан Корсаков. Чекая шаг, солдат подошёл к нему и вытянулся во фрунт. Капитана он не страшился, тот весьма расслабленно командовал подчиненными и был изысканно вежлив.

– Что, братец, опять накуролесил? – вяло спросил Корсаков, укоризненно взглянув на Кроткова. – Ты какой год в строю служишь?

– Скоро будет четыре.

– И всё ещё солдат, – вздохнул Корсаков и сказал подошедшему прапорщику Державину: – Беда нам с Кротковым, Гаврила Романович, в канцелярию его требуют привести, сам полковой секретарь хочет его видеть, да и меня с тобой.

Державин был недавно переведён в роту, и Кроткова знал плохо.

– Что гадать, Василий Васильевич, надо идти. А ты, Кротков, знаешь, зачем нас всех купно зовут?

– Никак нет, господин прапорщик. Не имею ни проблеска догадки.

Изба полковой канцелярии стояла на краю плаца. Они поднялись на крыльцо, вошли в сени, и Корсаков толкнул дощатую дверь. Полковой секретарь Неклюдов сидел за столом и был занят просмотром рапортов ротных командиров. Увидев Кроткова, он грозно на него воззрился, вскочил со стула и, приблизившись к солдату, возгласил:

– Мундир преображенца, пачкун, изгадил! Да ты и пуговицы на нём не стоишь! Слышанное ли дело, там, – он указал пальцем на потолок, – стало известно о твоих позорных проделках!

Кротков, слыша столь грозные слова, обомлел от страха, а Корсаков и Державин вопросительно уставились на Неклюдова.

– Вообразите себе, господа, – продолжил секретарь уже ровным голосом, – сей пачкун набрал у процентщика Зигерса две с половиной тыщи рублей. Каково? Всем преображенцам давно ведомо, что немец вхож к майору Маслову, и у него одалживать опасно. Зачем же ты к нему пошёл, Кротков?

– Деньги стали нужны, а другие не дали.

– Стало быть, ты и у других процентщиков в кабале?

– Есть немного, – тихо ответил Кротков, переминаясь с ноги на ногу и глядя мимо начальника.

– И сколько ты должен? – настаивал Неклюдов. – Не таись, братец, объяви, сколько ещё понабирал?

– С тысячу, может чуть побольше.

– Всего, значит, три с половиной тысячи, – подытожил Неклюдов. – Разумеется, отдавать тебе нечем. Или ты надеешься на родителя? Кстати, он богат?

– Имеет близко трёхсот душ.

– Да, явно не Демидов. – Неклюдов сел за стол, на мгновение задумался и обратился к офицерам, которые пребывали в великом смущении от случившегося в их роте позорного происшествия. – Что будем решать, господа? Майор Маслов приказал не-

медленно представить ему наши рассуждения о случившемся.

– Преображенцы в долговой тюрьме не сживали, – сказал Корсаков. – Полку нужно от Кроткова освободиться, и совершить это пристойным образом.

– Но как сделать, чтобы выглядело пристойно? – спросил Неклюдов.

– Дать ему отпуск по болезни на два-три года, – предложил ротный капитан. – У тебя, Кротков, нет какой-нибудь хвори, чтобы её явить полковому лекарю?

– Никак нет, господин капитан, – пробормотал потрясённый близостью неизбежной расправы Кротков. – Здоров.

– Не гнать же нам его из полка за долги? – задумчиво произнёс Неклюдов. – А ты что помалкиваешь, Державин? Ты ведь солдатскую лямку десять лет тянул. Кому, как не тебе, ведомы все полковые хитрости.

Прапорщик внимательно оглядел солдата:

– Может, сумеем его в армию вытолкнуть. Сейчас война с турками...

– И думать об этом забудь! – перебил Державина секретарь Неклюдов. – Майора Маслова не обойти. Однако и он против суда. Надо найти у него болячку. Ужели полковой лекарь ничего не сыщет?

– Наш немец Христиан Иванович зело осторожен, – усмехнулся Державин, – но мы его обойдём. Объявим такую болезнь, что он сразу с ней согласится.

– Нет, Корсаков, – оживился Неклюдов. – С прапорщиком тебе определённо повезло. Ну-ка, объяви, Державин, свою затейку, против которой и лекарский немец не устоит.

– Дозвольте, господин полковой секретарь, взять солдата и отвести к лекарю, – сказал Державин. – А по пути я ему объясню, что следует говорить Христиану Ивановичу.

– Что ж, – согласился Неклюдов, – ступайте без промедления. Я на тебя, Державин, в этом деле крепко надеюсь.

Дом лекаря находился неподалёку от полка, но Державин после получения долго чаемого им первого офицерского чина из последних денег сразу обзавёлся экипажем, который он называл «каретишкой», и страшно гордился своим приобретением: оно

позволило ему отделиться от топающей пешком солдатской черни, поэтому по любому делу, даже на полста саженей, всегда ездил на колёсах, снисходительно поглядывая на прохожих.

– Ты, кажется, Казанской губернии? – сказал Державин, усаживаясь на жёсткое сиденье рядом с опальным солдатом. – Я тоже из тех краев родом. Что же, ты, земляк, довёл себя до крайней точки?

– Виноват, господин прапорщик, кругом виноват, – пролепетал Кротков. – Попутал меня бес на картёжной игре, не смог вырваться.

Державин вздохнул. Он отлично знал силу картёжного беса, изведал на себе, испил почти до дна горькую чашу позора и самоунижения, когда несколько лет назад возвращался из отпуска и в Москве вляпался в круг нечистых на руку картёжников, где спустил данные ему матерью на покупку именина деньги. Попав в такую беду, Гаврила Романович стал с отчаянья ездить день и ночь по трактирам, пытаясь отыгаться. Спознался с лихими игроками, научился заговорам, как новичков втягивать в игру, подборам и подделкам карт. Бывало, выигрывал, но, случалось, по несколько дней сидел на хлебе и воде, марал стихи и складывал их в свой сундук, который сжёг вместе с его содержимым на петербургской холерной заставе, когда, опамятовшись, кинулся из Москвы в свой полк.

– Твоя беда, Кротков, не в том, что ты играешь, а в том, что отыгрываешься, – сказал Гаврила Романович. – Мне это, братец, ведомо, но сейчас нужно думать о том, какую болячку тебе прилепить. Может, сам что придумаешь?

Кротков почувствовал в словах прапорщика соболезнование его горю и приободрился.

– Мне бы время выждать, – сказал он. – А там я опростаюсь от долгов.

– Это коим же образом? – резко повернулся к нему Державин.

– Знаю, что придёт мне невиданное богатство, поскольку матушка сказывала, что я в рубашке родился, и вся она сбилась на темячко.

– Как же ты в карты играешь, коли веришь такой брехне! –

удивился Гаврила Романович. – Ты лучше ответь: до ветра ночью встаешь?

– Никак нет, господин прапорщик, сплю замертво до пробудки.

– Вот и объяви лекарю, что каждое утро просыпаешься в мокре. А я сделаю подтверждение, что это истинно так.

– Может, какую другую хворь на себя взять? – сказал Кротков. – Чтобы поблагороднее было.

– А эта чем плоха? – рассмеялся Державин. – Не только солдаты, но и государи от неё страдают. Платон Безобразов не тебе чета барин, а без тряпошных подкладок не живёт.

Кротков смекнул, что прапорщик нуждается в его согласии и, сбиваясь, искательно произнёс:

– Совсем без денег я остался, господин прапорщик...

Но закончить фразу он не успел, экипаж остановился, и Державин подтолкнул Кроткова:

– Соберись с духом и ври напропалую, тебе это не впервой!

Полковой лекарь приёмный кабинет имел близ крыльца. Он встретил посетителей сумрачным неприветливым взглядом: служивые люди зачастую пытались его провести своими болячками, а потом, получив желаемое, потешались над немцем, что его крепко обижало.

– Недостойные люди эти русские, – иногда жаловался он своей жене. – В нашем фатерлянде простой сапожник честнее русского графа.

Однако в «свой фатерлянд» почтенный Христиан Иванович отъезжать не спешил: коварные русские дворяне платили за его порошки и клистеры полновесным золотом.

Державин ещё раз слегка подтолкнул Кроткова, и тот запинаясь голосом поведал лекарю о своей беде.

– Любопытно! – оживился Христиан Иванович. – И давно это с тобой началось?

– Поначалу раз в три-четыре дня, а последний месяц каждую ночь.

– Истинно так, Христиан Иванович, – подтвердил Державин. – Кротков моей роты, добрый солдат, капрала вот-вот получить должен, а тут такая беда. Соседи по избе недовольны запахом, и

ему нужно выздоравливать вне службы. Полковой секретарь капитан Неклюдов велел освидетельствовать Кроткова на предмет предоставления ему годового отпуска.

– У него энурезис, сиречь недержание мочи, – важно сказал Христиан Иванович. – Извольте, господин Державин, несколько обождать, пока я приготовлю нужную капитану Неклюдову бумагу.

Гаврила Романович был весьма доволен успешным окончанием щекотливого дела. Выйдя на крыльцо, он достал табакерку и заправил большим пальцем в ноздрю добрую щепоть нюхательного табака, отчихался и весело взглянул на Кроткова:

– Я ведь, братец, ведаю, что ты нацелился на мой карман. Сознавайся, так?

– Совсем я без копейки, Гаврила Романович...

– Мне ли не знать твою жизнь, Кротков? Потому и жалею тебя, дурня! Завтра явишься в полковую канцелярию за паспортом. И сегодня же съезжай из солдатской избы на городскую квартиру.

Кротков продолжал смотреть на Державина влажным искательным взглядом. Гаврила Романович покачал головой и полез в карман.

– Вот тебе, Кротков рубль и совет: проиграешь, сразу беги из игры, а лучше из Петербурга в свою деревеньку, авось, родитель тебя и спасёт.

– Как бежать, Гаврила Романович, когда на всех заставах проклятый немец вот-вот даст весть, чтобы меня не выпускали?

– А ты извернись, – наставительно сказал, садясь в каретишку, Державин. – У немца ты ловко соврал, соври и ещё во своё спасенье.

-2-

Кротков проводил взглядом прапорщика, подивившись его щедрости, и пошёл в солдатскую избу. Каптенармус обрадовался, что он съезжает, принял от Кроткова оружие и амуницию и пожелал ему счастливого пути и отпуска. Придерживая под

мышкой сундучок, Степан вышел из избы и сразу был ухвачен за рукав чьей-то цепкой рукой. Он повернул голову и обомлел от испуга: его держала старуха, которой он задолжал более ста рублей.

– Куда это ты, соколик, наладился? – спросила процентщица.
– Не бежать ли надумал?

– Будет тебе, Саввишна, клепать напраслину, – опамятовался от испуга Кротков. – Я человек подневольный, живу, как велят командиры. Вот взводный велел отнести ему домой сундучок.

– Ты мне зубы не заговаривай, – надела на должника процентщица. – Мотаешься по трактирам, два дня назад двести рублей выиграл, а ко мне носа не кажешь.

– Врут твои доносчики. – Кротков попытался освободиться от старухи, но та вцепилась в него мёртвой хваткой. – Два дня назад я был караульным в Эрмитаже.

– Ты у меня не первый, кто надумал, что сможет меня обнести, да ни у кого это не вышло, – прошипела Саввишна. – Доносчики не врут, да и я сама намедни сон видела, что ты при деньгах. Выворачивай карман!

– Как же я его выверну, когда ты меня держишь?

– А ты поначалу свободной рукой лезь туда, – решила Саввишна.

Кротков нащупал рубль, зажал его между средним и безымянным пальцами и вывернул карман, но старуха углядела его уловку.

– А это что ты зажал в пальцах? – вскинулась Саввишна. – Никак золотой!

В этот миг Степан наступил на ногу процентщицы сапогом, та взвизгнула и ослабила хватку. Дошлый солдат не преминул этим воспользоваться и кинулся бежать за угол солдатской избы, где ему были ведомы все подворотни.

– Грабят! – завопила Саввишна. – Грабят!

Из сеней солдатской избы высунулся каптенармус и с довольной ухмылкой захлопнул за собой дверь. Саввишну в полку знали, должникам она не давала спуска, и дружно желали ей худа все, от солдат и до капитанов.

Кротков знал возле полка все ходы и выходы, он быстро пе-

ребежал до следующей улицы, выглянув из-за забора, убедился, что ему ничто не угрожает, и быстрым шагом двинулся к дому подпоручиковой вдовы Угловой, где проживал его приятель по бутылке и картёжным баталиям вечный студент и пиит Калистрат Борзов, имевший с хозяйкой уже продолжительную галантную интригу. Дом с виду был невелик, но весьма поместителен. Борзов имел в нём свои покои и комнату для занятия стихотворством, где его и застал запыхавшийся от скорой ходьбы Кротков.

– Ба! – воскликнул Борзов. – А я как раз сегодня надумал к тебе зайти, а ты сам припожаловал. В трактире Сомова объявились новые постояльцы, готовы играть и проигрывать.

– А ты вызнал, кто такие? – заинтересовался Кротков.

– Пензенские дворяне, в Петербурге не бывали, таких гусей не ощипать – грех. Изволь обождать, я должен завершить пиесу на сорокалетие герра Фохта. Он, Степан, великий человек и гражданин, рачитель копчёных колбас, окороков и грудинок, то бишь почтенный колбасник, питатель нашего околотка.

Пиит кинулся марать бумагу стихами, а Кротков обвёл взглядом его творческое обиталище. Комната была обита светлыми обоями, возле стены стояла полка с книгами, над столом между двумя окнами висел портрет самого пиита, на коем Калистрат Борзов был изображён, подобно Данте, с лавровым венком на голове. Всё это Кротков не раз видел, но возле стола на тумбе стояло нечто для него новое – мраморное изваяние прекрасной нагой девы. Он приблизился к скульптуре и услышал, как позади него скрипнул стул и раздался веселый голос пиита:

– Пьеска для колбасного божка готова! А ты, Степан, на Венерку воззрился, что, брат, хороша?

– Где ты её заимел, Калистрат?

– Непросто она мне далась. Но, изволь, поведаю. Владел ею художник академии француз Луи Бюпон, личность тебе неизвестная, но азартная и упрямая до глупости. До меня он в своём кругу почитался лучшим игроком. Я же доказал ему обратное. А Венерка – мой боевой трофей. Ну что, пойдём знакомиться с пензенскими дворянами? Я им обещал привести настоящего гвардейца, они ведь в твой полк явились служить.

– Я вот, кажется, отслужил, – невесело сказал Кротков. – Завтра заберу из полковой канцелярии свой паспорт и волен идти на все четыре стороны.

– Стало быть, проклятый немец допёк тебя долгом. Меня ему так скоро не осилить, моя пассия сторожит меня от всех напастей.

– А меня сейчас возле солдатской избы карга Саввишна ухватила, еле вырвался. Обложили кругом. Бежать мне, Калистрат, надо отсель, но как?

– Положись на меня, брат, я тебе подсоблю. – Борзов взял кафтан и стал напяливать его на плечи. – Однако нам пора, петербургские новосёлы, поди, нас заждались. Колода с тобой?

Кротков достал из кармана карты, запечатанные в бумагу, и протянул их товарищу. Калистрат постучал колодой о край стола, он это всегда делал, выходя на игрецкий промысел.

– Погоди, – спохватился Кротков. – Спроси свою хозяйку, может она сдаст мне какой-нибудь чулан для жилья, пока я подыщу себе место.

– Не забивай себе голову! – воскликнул Борзов. – Идя на дело, о таком не должно думать. Живи в этой комнате, а здесь я хозяин.

– Как не забить, когда спрятаться надо! – в отчаянии воскликнул Кротков. – Сон намерен мне был: явился ко мне магистратский канцелярист с Зигерсом и объявил: «У меня сыскная за вашим благородием, и мне велено по силе вексельного устава взять вас в магистратский суд. Извольте посмотреть, сыскная подлинная, а заручена ратманом и секретарём. Ступайте с нами, ваше благородие, без отговорок!» Вот такой ужас, Калистрат, привиделся, а ты говоришь, что забыть всё напрочь.

К трактиру Сомова они шли, сторонясь людных улиц, где в обеденный час рисковали встретиться со своими недоброжелателями, а таковых у Борзова и Кротова имелось предостаточно, ибо они вели жизнь шумную и всяких непотребств не чурались. Бывало, их тузили, и они в долгу не оставались, поэтому к трактиру подкрались с оглядкой. Калистрат был предусмотрительным, он встречу с будущими жертвами картёжного азарта назначил на обед, когда в трактире питухов и игроков не было, в

этот час в нём заседали купцы и другие торговцы, которые полдничают и гоняли чай с баранками и комковым сахаром вприкуску.

Трактир помещался в громадной рубленой избе, построенной уже на новый лад: с большими окнами и островерхой, на немецкий манер, кровлей. На первом этаже был собственно сам трактир, где пили и ели, а на втором этаже имелись комнаты для приезжих.

– Давай, Калистрат, сегодня не жадничать, – сказал Кротков, поднимаясь на крыльцо. – Возьмём рублёв по сто с каждого и простимся.

– Игра покажет, – пожал плечами Борзов. – Вдруг они восхотят проиграться догола.

На входе к гостям метнулся половой с полотенцем через руку и в белом переднике.

– Желаю здравствовать вашим сиятельствам!

– Как жив, Кузька? – Калистрат потрепал по щеке. – Заметь, Степан, это первейший пособник нашей греховной страстишки.

– Мы люди тёмные: не знаем, в чём грех, а в чём спасенье, – поклонился Кузька.

– Молодые господа, что вчера прибыли, наверху?

– Только что сюда спускались, вашу милость спрашивали, – лукаво осклабившись, донёс Кузька.

– Мы поднимемся к ним, а ты тотчас подай нам водочки, пива английского, селёдки, капустки, грибков, впрочем, ты сам знаешь.

По крутой лестнице они поднялись на второй этаж, где Борзов огляделся и решительно постучал в дверь угловой комнаты. Тотчас из неё донёсся приглашающий возглас. Близ порога гостей встретили два молодых человека, чьи щёки едва ли были знакомы с бритвой. С Борзовым они поздоровались радостно, чуть не обнялись, а увидев следовавшего за ним в преображенском мундире Кротова, кандидаты в гвардейцы заметно смутились, но Калистрат мигом избавил их от неловкости.

– Знакомься, Степан! Это гвардейцы-новики Саврасов и Гордеев, прибыли в полк прямиком из своих пензенских усадеб.

Молодые смотрели на Кроткова, как на давно чаемую невидаль, они впервые вблизи видели преображенный мундир, и он их ослепил, хотя был изрядно помят, а кое-где и заштопан.

Неловкость положения спас расторопный Кузька, явившийся в комнату с подносом, на котором стояли штоф очищенной водки, четыре кружки тёмного английского пива и блюда с острыми закусками. Борзов сгрёб со стола валявшиеся на нём вещи приезжих и бросил на лавку.

— Что на обед имеешь подать? — спросил он пологого.

— Сегодня день постный, имеем норвежскую селёдку с картофелем, икорку-с...

— Годится. — Борзов взял застолье в свои руки. — Прошу, господа, к столу!

Саврасов и Гордеев дождались, пока сядут за стол гости, а те расчётливо, имея в виду игру, сели промеж них, затем устроились сами. Борзов цепко ухватился за штоф и наполнил чарки.

— За здравие новиков-гвардейцев! — важно возгласил он.

Все осушили чарки, при этом было заметно, что питье крепкого хмельного было молодым дворянам не в диковинку. Это открытие порадовало Калистрата, он заново наполнил посудинки водкой и сказал:

— Твоя очередь возглашать здравицу, Кротков.

Изобразив на лице торжественную значимость, гвардии солдат воскликнул:

— За лучший из гвардейских полков — Преображенский! Виват!

— Виват! — сначала робко, затем в полный голос вскричали Саврасов и Гордеев, которых поддержал с большим воодушевлением пиит Борзов.

После третьей рюмки все покраснелись, расстегнули жилеты, ослабили пояса, молодые стали взирать на Кроткова без прежней робости.

— Каково, Степан Егорович, служить солдату гвардии? — решился спросить Гордеев.

Кротков был готов услышать этот вопрос, сразу напустил на себя важность, и, помолчав, значительно вымолвил:

— Службу нести, господа, — не брюхом трясти. Для преобра-

женца отечество — полк, командир — бог, а слава — милость государыни. Но лучше меня пиит скажет. Говори, Калистрат!

Приезжие дворяне живого пиита видели впервые и уставились на него в четыре глаза, как на диковинного зверя. Борзов этим нисколько не смутился, поднялся во весь рост, простёр длань и зарокотал:

— Сия пьеса есть песнь солдата, уходящего на войну с туркой. Внемлите...

Прости, моя любезная, мой свет, прости,
Мне сказано назавтрее в поход идти;
Неведомо мне то, увижусь ли с тобой,
Ин ты хотя в последний раз побудь со мной.

Когда умру, умру я там с ружьём в руках,
Разя и защищаяся, не зная, что страх;
Услышишь ты, что я не робок в поле был,
Дрался с такой горячностью, с какой любил.

А если алебарду заслужу я там,
С какой явлюсь радостью к твоим глазам!
В подарок принесу я шиты башмаки,
Манжеты, опахало, щегольски чулки.

— Какая слёзная пьеска! — вздохнул Кротков. — В ней, господа новики, и есть вся планида гвардейского солдата. Он живёт одним днём, сегодня амурится, гуляет, пьёт вино и сыплет горстями золото за игрецким столом, а завтра сложит буйную голову на поле брани.

Пензенские дворяне не ведали, что гвардия дальше Красного Села в поход никогда не хаживала, и пригорюнились над своей участью. В комнате воцарилось молчание, которое прервал своим появлением пологий Кузька. Он доставил огромный поднос, на котором стояли блюда и штоф водки.

— Что это? — спросил Саврасов, указывая на блюдо с дымящейся картошкой.

— Извольте отведать, барин, — с лёгкой усмешкой сказал Кузька. — Французские земляные яблоки, картофель по-ихнему.

– Это вам презент, господа, от гвардейского солдата, – пояснил пиит. – Вы ведь в своей Пензе такого не едали. Картофель хорош с селёдкой, но без чарки очищенной ни в коем разе обойтись нельзя. Есть картофель всухомятку будет негалантно.

– А что, – заметил, умяв пару картофелин, Гордеев, – вкусно, не хуже грибов.

Вскоре блюда опустели, и явившийся на зов Борзова половой убрал посуду со стола, оставив в неприкосновенности водку и чарки. Все порядком разомлели от выпитого и съеденного, и Кротков решил, что пора приступить к главному, зачем они сюда и пришли. Он небрежно достал из кармана кафтана карты и бросил их на стол.

– Что, господа, испытаем фортуна? – сказал Борзов вкрадчивым голосом. – Карты – это тот же риск, что и поединок, а гвардеец от него не бежит.

Молодые дворяне начатки образования получили в пансионе, где арифметике, географии и всемирной истории их обучал отставной подпоручик пехоты, который, помимо основных предметов, преподавал им негласно азы карточной премудрости, поэтому они решительно выложили на стол кошельки с деньгами. Положил свой кошелёк Борзов, но в нём едва ли было три рубля, остальное – плоские круглые камушки. Кротков помедлил и достал из кармана кафтана державинский рубль. Ставку учредили в десять копеек, определился банкот, игроки пропустили по напутной чарке, и игра началась.

Саврасов и Гордеев были в крепком подпитии, возжечься азартом им было нетрудно, и они сразу явили свой барский норов – разбрасывать, не считая, вокруг себя деньги. Они было восхотели увеличить ставку вдвое, но Борзов их остудил, сказав, что двугривенные ставят только за ломберным столом императрицы, и то не всегда. Этими словами он сильно расположил к себе Саврасова и Гордеева, поэтому они окончательно потеряли всякую осторожность.

Беды, свалившиеся на Кроткова сегодня, вселили в него неуверенность в своём игрецком счастье, и в игру он вступил с робостью, что сразу заметил Борзов, который, чтобы взбодрить приятеля, пнул его под столом и подмигнул ему в оба глаза.

Кроткова это действие приятеля встряхнуло, и он стал метать банк. Ему понтировал Саврасов, который уже изрядно осовел от очищенной водки и на карты взирает оловянным взором. Не лучше был и Гордеев, на того напала икота, которую он решил запить пивом, но это произвело на него отягчающее действие. Он уронил карты и упал лицом на стол.

«Вот несчастье! – подумал Кротков. – Какая теперь игра, раз они мертвецки пьяны».

Саврасов продержался чуть дольше своего приятеля, сумел дойти до постели и рухнул на неё во весь рост.

– Кажется, мы переусердствовали с тобой, Степан, – сказал Борзов. – И вместо молодецкой игры вышла заурядная пьянка.

– Пора отсюда идти. – Кротков взял со стола державинский рубль. – Жаль, конечно, игры, но что делать!

– погоди, Степан, – сказал, хитро глянув на приятеля, пиит. – Ребята спят без задних ног, их деньги на столе. Они по всему кон проиграли, если не в карты, то в винопитии. А за проигрыш надо платить. Разве не так?

– Ты с ума сошёл, Калистрат! – возмутился Кротков. – Я думал, что тебя знаю насквозь, но и не предполагал, что ты так нечист на руку. Это же грабёж!

– Значит, я нечист, – обиделся Борзов. – А ты когда успел руки отмыть? Или не ты эти карты метил?

– Я деньги не возьму и тебе не советую. Кузька нас знает. Новики к вечеру проснутся и пойдут в полицию.

Эти слова заставили пиита задуматься, но ненадолго, его осенила столь дерзкая мысль, что он не сдержался и хохотнул.

– А ведь мы можем взять у них в долг, скажем, рублёв по пятьдесят. Они, думаю, будут не против?

– Это как в долг? – удивился Кротков. – Сейчас над ними хоть из пушки пали, не шелохнутся.

– Очень просто: возьмём деньги и напишем долговые расписки. Ребята проснутся и не вспомнят, давали они деньги или нет.

– Что ж, так можно, – помедлив, согласился Кротков. – Только они сразу начнут нас нудить к отдаче.

– Не беда! – Борзов открыл сундучок одного из приезжих и, покопавшись в нём, достал бумагу. – Мы укажем срок отдачи,

скажем, тридцать первое сентября будущего года, не раньше, не позже, только в этот день.

Кротков стал строчить свою расписку, а Борзов отсчитал из каждого кошелька по пятьдесят рублей. Заметив, что приятель за ним не присматривает, пиит ловко добавил к своей кучке денег ещё несколько серебряных монет.

Когда долговые расписки были сделаны, Борзов положил их в кошельки, которые затем сунул под изголовья спящих новиков.

– Можно сказать, что свой первый день в гвардии они отслужили доблестно, – вполне серьёзно произнёс Борзов.

– Доброе дело мы им сделали, – согласился Кротков. – Этот день они запомнят на всю жизнь.

Довольные своей выдумкой, они спустились в трактир, где к ним поспешил Кузька.

– Господа отдыхают. Счёт за обед они упростили взять на себя.

– Это как вам будет угодно, ваши благородия, – согнулся в привычном поклоне половой. – Лёгкого вам пути!

В дом весёлой вдовы Угловой возвращались привычными закоулками. На стольный град пали вечерние сумерки. Следовавший за пиитом Кротков споткнулся о камень, и его вдруг осенило:

– Я, Калистрат, понял, почему ты решил поставить в долговой расписке тридцать первое сентября.

Борзов остановился и недоуменно взглянул на приятеля.

– Сказал, что пришло в голову. Что-нибудь не так?

– Всё так, – заулыбался Кротков. – Всё так, окромя того, что такого числа не бывает.

-3-

Первым, что увидел, разлепив глаза, Кротков, была облитая лучами восходящего солнца мраморная Венера. Он сразу понял, где находится, и сел на постели. На пол скатился листок бумаги, Кротков поднял его. Это была записка Борзова.

20

«Здоров ты спать, Степан! Я спешу со своей пьеской к немцу, он поднимается рано, потому он колбасный князь и ваше превосходительство, а ты, соня, до сих пор солдат, хотя и гвардии...»

Кротков смял и швырнул записку в угол, затем поднялся на ноги и, отворив дверь, выглянул в коридор. Забрав приготовленные для него кувшин с водой и лохань, он вернулся в комнату и вылил воду на потрескивающую с похмелья голову. Пора было спешить в полковую канцелярию за паспортом, и Кротков заторопился. Оделся, обулся, расчесал мокрые волосы и выбежал на улицу. Знакомыми закоулками добрался до полка, взял паспорт на отпуск и почувствовал душевное облегчение. Он стал свободен от утренних побудок, построений, караулов, чистки оружия, но самое главное – от страха, что любой капрал может на него рывкнуть и поставить во фронт. Даже неподъёмный денежный долг не отягчал его душу, в кармане у него были пятьдесят рублей и державинский рубль, который, по мнению Кроткова, споспешествовал его вчерашнему обогащению от пензенских дворян.

С высоко поднятой головой он вышел из полка и огляделся. Улица была пуста, только вдалеке катила коляска, а неподалёку от сторожевой будки стояла телега, на которой сидел мужик и, протирая глаза, смотрел в сторону Кроткова.

– Барин! Милостивец ты наш! – вдруг возвопил мужик и, упав с телеги, побежал к нему.

Кротков сразу узнал своего мужика Сысю. Не добежав шага до господина, тот упал на колени.

– Три дни плутаю, как в лесу, в этом Питербурхе! Спасибо, добрые люди подсказали, где твой полк. А у нас беда, барин, беда великая, матушка твоя как есть отдала богу душу. Как раз на Николин день! И барин плох, кондрашка его разбила! Твой дядя Парамон Ильич послал меня за тобой. Велел тебе ехать в деревню проститься с батюшкой. Он плох, как бы не дожил до твоего приезда, милостивец!

Как ни одеревенел на почти четырёхлетней солдатской службе и в картёжных ристалищах Кротков, но горестное известие тронуло его душу. Он заплакал и сквозь слёзы спросил Сысю:

– Как же случилось такое великое горе?

21

– Эх, барин! – сказал Сысой. – Кабы знал, где упасть, так соломки бы постелил! Осерчала барыня на кружевницу, а та от неё пошла убежим, барыня за ней, а тут, будь он неладен, порожек, барыня споткнулась и упала, а головой об угол печи. Вот такая беда случилась. И батюшка твой плох, лежит колодой, еле глазами лупает.

– Стало быть, теперь я сирота, как есть сирота! Как мне жить без отца, без матушки?

– Какой же ты сирота, барин, – удивлённо возрился Сысой. – Мы, твои дети, крестьянщики, слава богу, живы и чаем от тебя милостей, господин. И земля твоя цела, никуда не делась, и живность всякая. А мы, рабы твои, готовы служить тебе по гроб жизни.

«А ведь и правда, – подумал Кротков. – Теперь я владелец трёхсот душ, полновластный хозяин всего движимого и недвижимого имения, ведь батюшка долго не протянет, может, и в живых его не застану».

Но радовался он недолго, карты научили его быстро считать, и Кротков враз прикинул, что наследства, даже если продать имение, вряд ли достанет, чтобы отдать долги немцу Зигерсу и десятку других кредиторов помельче. В синбирском захолустье цены на крестьян и землю были невысоки, дворяне почти не имели наличности и жили тем, что давало хозяйство в натуральном виде.

– У меня ещё письмо имеется от барина Парамона Ильича твоей милости, – сказал Сысой и вынул из-за пазухи пропотевший кислым мужицким духом бумажный конверт.

Кротков живо схватил его и сунул в карман.

– Разворачивай телегу, Сысой, – велел он. – Поедем к моему пристанищу.

Вскоре они были у дома Угловой. Здесь Кротков велел Сысою подъехать поближе к забору и располагаться, а сам прошёл в свою комнату, снял кафтан и сапоги и, присев к столу, распечатал дядино послание. Парамон Ильич был долгое время приказным служителем, в письме знал ещё старинный толк, буквы кроил одну к другой и словеса вил, как его природный норов на душу положил, без сомнений в своей правоте во всём.

«Любезному племяннику моему Степану Егоровичу!

От дяди твоего Парамона Ильича низкий поклон и великое челобитие; и при сем желаю тебе многолетнего здоровья и всякого благополучия на множество лет, от Адама и до сего дня.

Было бы тебе вестно, Степанушка, что мы все в отпуск сего письма, все, слава богу, живы и здоровы, и отец твой Егор Ильич здравствует, только совсем его кондрашка расшибла по случаю скоротечной кончины твоей матушки Ольги Игнатьевны, она недолго, болезная, маялась, но успела заочно благословила тебя твоим ангелом, да фарсульской Богородицей, а меня Неопалимой. Ну, брат племянник, мать-то у тебя и перед смертью не тароватее стала! Оставила на помин души такой образ, что и на полтора рубля оклада не наберётся. Невидальщина какая! У меня образов-то и своих есть сотня мест, да не эдаких: как жар вызолочены, а эта, брат, Неопалимая вся исчернела, ну, да и пусть, всё память.

А как матушка твоя скончалась, получил я, Степанушка, известие, что отец твой воеет, как корова. У нас такое поверье: которая корова умерла, та и к удою добра была. Как Игнатьевна была жива, так отец твой и мой братец бивал её как свинью, а как умерла, то взвыл по ней, как будто по любимой лошади. В тот же вечер и на него карачун надвинулся, перекосило его, и по всему не жилец он, Степанушка. Приезжай, друг мой, может, и застанешь батюшку в живых, да не на год приезжай, а насовсем. Сам увидишь, что дома житьё веселей петербургского, поди в отставку да приезжай домой: ешь досыта, спи сколько хочешь, не слушай тех, кто как тетерев всё талдычит о чести и долге. За честью, свет, не угоняешься: честь! честь! худая честь, коли нечего будет есть. Пусть у тебя не будет Егория, да будешь зато ты здоровее всех егоровских кавалеров. С Егорием-то и молодые люди частенько поохивают, которые постарее, так те еле дышат: у кого руки перестреляны, у кого ноги, у кого голова, за таких невеста ни одна не пойдёт.

А я тебе, Степанушка, невесту приискал, девушка неубогая, грамоте и писать горазда, а пуще того бережлива: у неё и синий порох даром не пропадёт, такую я тебе невесту приглядел. Да я и позабыл сказать главное, что наречённая твоя невеста двоюродная племянница нашему воеводе, а это, братец ты мой, не шутка:

все наши спорные дела будут решены в нашу пользу, и мы с тобою у иных соседей землю обрежем под самые гумна. То-то любо: и курицы некуда будет выпустить! То-то нам, Степанушка, разлюбезное житьё! Никто не кукарекай! Воеводе кус дадим и концы в воду, не нами грех заведён, не нами и кончится.

Жду, что ты, Степанушка, по своём приезде расскажешь, что в Петербурге деется, а то мы тут в слепоте пребываем и в догадках. Сказывают, что дворянам дана вольность: да чёрт ли слышал, прости господи, какая вольность? Вот говорят, что всё хорошо делают, а так ли это? Нынче винцо-то в сапогах ходит: экое времечко; вот до чего дожили; и своего винца нельзя привезти в город: пей-де вино с кружала да делай прибыль откупщикам; скоро из своей муки не дадут пирог испечь. Ранее и вера была покрепче; во всём, друг мой, надеялись на Бога, а нынче она пошатнулась, по постам едят мясо, да вредные книжки везут из-за моря, и всё это проклятая некресть делает, житья от немцев нет. Нынче езжай за море, а в «Кормчей книге» положено за это проклятье, коляски пошли с дышлами, и за это положено проклятье, а я по сию пору езжу в своей с оглоблями. От ума заемного порча насела на дворян, вот твой соседушка молодой барин Олсуфьев с утра надевает короткие штаны с чулками, кафтан-жюсткаре, такой широкий, что под ним со стола можно телячью ногу спрятать, а на голове кудри из собачьих волос: разве в этом дворянская воля? Приедешь, Степанушка, и просветишь меня, а пока я тебе послал с Сысойкой сто рублёв на твои нужды, возьми у раба и дай ему свою долговую запись; мы ближняя родня, поэтому сверх ста рублёв отдашь мне ещё двадцать или тридцать, это как поволишь.

За сим писавый кланяюсь и в ожидании тебя остаюсь дядя твой родный Парамон Ильич.

«Экий процентщик, а ещё родный дядя! – подивился деловой хватке родственника Степан. – А мы ещё на немцев грешим. Тут свои готовы три шкуры содрать. Ну да чёрт с ним! Шиш ему, а не сто рублёв да ещё и с процентами».

Кротков изорвал письмо и, держа обрывки в кулаке, вышел на крыльцо и развеял их по ветру.

– Сысой! – крикнул он. – А ну, поди сюда!

Мужик просунулся в ворота и встал перед барином, похлопывая глазами.

– Ты что, Сысой, думаешь, в Петербурге розги не растут? Почему умолчал о ста рублях.

– Целы деньги, батюшка, целы! – испугался Сысой и, покопавшись за пазухой, достал тряпочный узелок с деньгами. – Только Парамон Ильич велел тебе их отдать в обмен на долговую запись.

– Не твоего рабьего ума дело! – топнул ногой Степан. – Подай деньги.

– Ах ты господи! – перепугался Сысой. – Бери, милостивец, только тряпку верни.

– Ты что, для меня тряпки пожалел?

– Моя Агрофена наказала вернуть, это, стало быть, из дочкиного приданого платок, без него меня со свету сживут.

– Не пропадёт твоя тряпка, – сказал Кротков и вернулся в комнату, где высыпал деньги на стол и стал весьма довольным: этих денег как раз могло хватить на то, чтобы ускользнуть из опасной для него столицы и добраться до своей деревни. А там он разживётся, у отца имелись зажитки, и они станут его по праву наследства. Может быть, и фортуна повернется к нему лицом: богатой невестой. Дядя уже одну присмотрел, да не тот колер: седьмая вода на киселе воеводе, а тому пальца в рот не клади, враз оттяпает по локоть руку, да и недолго спееет крапивное семя на воеводстве, наедет ревизия и, глядь, бывшего воеводу босым и в железах поведут в тюрьму.

Мечтая о своей будущей жизни, Кротков уснул и проснулся от острого чувства голода и шумства, которые произвёл Борзов, вернувшись от немца с именинного пирования. Он стоял перед Кротковым, покачиваясь из стороны в сторону, на одном плече висело несколько колбас, через руку свешивалась гроздь сосисек, а другой рукой он прижимал к животу копчённую свиную голову.

– Ах, брат Степа, погуляли, так погуляли! – возгласил он, сваливая дары на стол. – Наш немец русее любого русского: и пьёт, и льёт, и пляшет! Моя пьеска повергла именинника в восторг, особенно тем, что я его нарек светлейшим князем всех

колбас, бароном окороков и виконтом сосисек. И, знаешь, пожаловал меня по-княжески, кроме всего, что я принёс, велел старшему приказчику отпускать мне ежедневно полтора фунта лучшей колбасы безденежно. Да я на таких харчах русскую «Энеиду» начну складывать, ведь Сумароков передо мной всё равно как конская требуха перед ветчиной...

— Стало быть, у немца, — пробормотал, давясь колбасой, Кротков, — были именины, а у тебя поэтический триумф?

— Выше задирай — фейерверк, особенно, когда немцы пошли курить трубки, а я им прочёл свои «Бабы игрища», ты ведь их знаешь: перец, порох, а не вирши! Помнишь? «Задирай повыше, дева, кринолин свой, не таясь!..» А дальше ... черт, выпало...

— Я прилягу к тебе слева, и у нас начнётся связь! — подсказал знавший наизусть скабрезное творчество приятеля Кротков.

— Вот, вот, это самое! Немцы пришли в неопишемый раж и подарили мне дюжину виноградного вина. Но где оно?

Борзов подошёл к двери, открыл её и завопил:

— Федька, чёрт, где вино?

— Здесь Калистрат Мокеевич, не извольте беспокоиться. — Из-за пиита вынырнул ловкий малый и поставил на лавку корзину, из которой торчали горлышки бутылок.

— Ну, а ты как, Степан? — спросил Борзов, усаживаясь на лавку рядом с Кротковым. — Паспорт в полку взял, значит, скоро уедешь в свою глухомань?

— Нужда гонит, — сказал Кротков. — Сегодня мужик письмо привёз: мать померла, да и отец вот-вот отойдёт.

— Тогда помянуть матушку сам бог велит, — сказал, берясь за бутылку, Калистрат. — Я вот своей матери не знаю, всю жизнь среди чужих людей живу.

В молчании они собрались выпить, но им помешал громкий стук в окно, вслед за которым раздался визгливый крик:

— Вот ты, крошечник! Я ведь во сне этой ночью видела, где ты прячешься!

Кротков глянул в окно и обомлел: в нём была карга Савишна.

— На тебя, солдат, в магистрате сыскная выписана, на все заставы дадена весть, чтобы тебя из города не выпускали, а волок-

ли к суду. Ужо Зигерс, да и я, жалостница, возьмём тебя на свой кошт в долговую тюрьму. По сухарю в день будешь от нас получать! Или заплатишь или подохнешь!

Борзов подскочил к окну и задернул занавеску.

— Надо тебе, Степан, отсель бежать!

— Куда? У меня места нет, где бы приткнуться.

— Место найдём, доставай свой сундук, — сказал Борзов и, сорвав с лавки покрывало, стал увязывать в него колбасы и бутылки с вином. — Уйдём к Слепцову, он художник, живёт один. И я с тобой пойду, пережду, пока шумства утихнут.

Они выскочили на улицу, запрыгнули в телегу, Кротков вырвал из рук Сыся вожжи и принялся охаживать ими лошадь. Та, взбрыкивая, понесла телегу прочь от дома вдовы Угловой. На Литейный проспект они влетели вскачь, едва не вперлись в карету какого-то сановника, ехавшего на шестерне вороных, в золоченой сбруе, коней, но увернулись, однако кучер с высокого облучка достал их своим длиннющим кнутом, и Кроткова крепко ожгло нестерпимой болью.

— Сворачивай направо! — завопил Борзов, толкнув Сыся. Мужик перехватил вожжи у барина и, сдержав лошадь, повернул её в переулок, где телегу начало подбрасывать и трясти на деревянных рёбрах мостовой.

Художник Слепцов жил на набережной Невы, в бывшем амбаре, перестроенном в мастерскую живописца путём пробития огромного окна в северной стороне строения. В нём он и стоял, выглядывая, не явятся ли к нему в гости с обильной выпивкой и богатой закуской. В проезжавшей мимо телеге он узрел своё спасение и кинулся на крыльцо встречать желанных гостей.

— Ну, здравствуй, собрат по творчеству и похмелью! — Калистрат крепко облапил художавого приятеля. — Рекомендую, Яков, это солдат гвардии Кротков, а это его раб и колесничий. Мы сейчас так гнали по Литейному, что чуть какого-то сенатора не замяли вместе с его шестернёй.

— По какому случаю надо было так спешить? — разулыбался художник. — Я хоть и с похмелья, но смог бы ещё подождать.

— Дела, Яша, дела, — вздохнул Борзов. — А ты что, так и думаешь нас на пороге держать?

– Ни в коем разе! – живо воскликнул Слепцов и засеменил поперёд гостей.

В амбаре когда-то хранили царские кареты и конскую упряжь, и он был сделан основательно из соснового бруса с высоко поднятым над землёй полом и дощатым потолком. В одной стороне амбара жил художник: там, рядом с печью, стояла лавка для спанья, в другой стороне – рабочее место; там пол был заляпан красками, на стене висели картины, на полке лежали гипсы, бумага, рамки и рисовальные принадлежности. Неподдалёку от окна находился мольберт с начатой картиной.

– Я смотрю, ты без дела не сидишь, – сказал Борзов, подходя к мольберту. – Кто такая?

– Ты что, не видишь, Калистрат? – обиделся художник. – Или тебе неведома эллинская богиня охоты Артемида?

– Я не про греческую ипостась сего изображения вопрошаю, – сказал пиит. – А про ту девуку, кою ты срисовал.

– Всё-то тебе знать надо, озорник, – помрачнел Яков и накрыл картину тряпкой.

– Не будь, Слепцов, жадиной, я же твой друг, – сказал Борзов, обращаясь к Кроткову. – У пиитов нет обычая прятать своих пассий, а у солдат?

– Солдат любит налётом, – усмехнулся гвардеец. – Через час уже не помнит, где и с кем побывал.

– Стало быть, по-петушину: оттоптал, кукарекнул и шмыг в кусты, – хохотнул Борзов. – Вот за это я и хвалю нашу гвардию. Однако не пора ли, други, и нам приобщиться к Бахусу?

И загорланил во всю мощь:

Борода, предорогая!
Жаль, что ты не крещена
И что тела часть срамная
Тем тебе предпочтена!

– А ты что, Калистрат, знавал Михайла Васильевича Ломоносова? – спросил Слепцов. – Ведь сейчас ты его вирши прокричал.

– Знавал, Яша, знавал, – сказал Борзов. – Как тебя увидел, когда пришёл к нему со своими пиесками. Перед ним все пииты,

какие есть и какие будут, – карлики. Внемли: «Открылась бездна, звёзд полна; звездам числа нет, бездне дна!» Каково? Знал бы это раньше, не взялся за вирши. Но у пиитов одна беда: они друг друга не читают.

Чарки у художника были перемазаны в краске и обкусаны по краям, но поместительны. Кротков, не прислушиваясь к беседе художника и пиита, наполнил их вином, нарезал колбасу и сел на скамью, лицом к окну, из которого хорошо была видна Нева с идущими по ней парусниками, баржами и лодками. Этот вид напомнил ему, что его ждут два пути – долговая яма или бегство в синбирскую глухомань, и Кротков понурился и загрустил. Это заметил Борзов.

– Что, Степан, рассупонился, не мякни, я тебя в беде не оставлю. Яков – свой человек, дозволю я и ему поведаю о твоём горе.

– Какая же это тайна, раз сыскные выданы полиции и на городские заставы, – сказал Кротков и приложился к чарке.

Художник выслушал повествование о злключениях гвардейца с глубоким вниманием и вдруг неожиданно сказал:

– Тебе нужно умереть.

– Как умереть? – почти разом спросили Кротков и Борзов.

– Что, не знаете, как умирают? – ухмыльнулся художник. – Очень просто: ты, солдат, ложишься в гроб, Борзов возьмёт в полиции свидетельство, что покойник отправлен для погребения в свою деревню. Вот и всё, господа.

Борзову предложение художника страшно понравилось, он сразу им загорелся, а Кроткову это показалось глупостью, к тому же и опасной.

– Это невозможно, – растерянно пробормотал он.

– Очень даже возможно. Два года назад я отправил мичмана Синичкина в гробу к его матушке, и ничего, жив и не кашляет, поклоны мне шлёт. Но я не настаиваю, хочешь, иди в тюрьму.

И Слепцов, закусив ломтиком колбасы, стал посвистывать.

– Нет, Степан, ты погоди отказываться, – горячо заговорил Борзов. – Затеяка Якова не так уж безумна. Мы тебя снарядим покойником, я возьму в полиции подорожную на доставление тела в синбирскую провинцию, вывезем тебя за городскую за-

ставу, выпьем за скорую встречу, и кати себе по мягкому пути. Ну, как, согласен?

– У меня, кстати, и гробовщик в соседях живёт, знатные упокоилища делает из дуба, – подхватил Слепцов. – Мне он по соседски и цену скинет.

– Ну, положим, ему дубовый гроб ни к чему, – рассудительно сказал Борзов. – Из сосны в самый раз, до заставы доедет, а далее он не нужен. Гроб брать надо самый дешёвый, рубля за полтора.

Видя, что собутыльники не в шутку решили уложить его в гроб, Кротков осерчал и, сжав кулаки, вскочил на ноги.

– Не лягу я ни в какой гроб, ни в дубовый, ни в мраморный! – возопил гвардеец. – Лучше в тюрьму пойду!

Он неловко переступил с ноги на ногу и чуть не выронил чарку.

– Не лей вина, Степан, попусту, – сказал Борзов. – Говоришь, что в тюрьму пойдёшь? Что ж, иди, но не надейся, что я или Слепцов принесём тебе хоть кусок пирога. Посадят тебя немец и Саввишна, как она грозила, на один сухарь в день, и запоёшь Лазаря, но ведь милостыню ты просить не умеешь. Тогда и про гроб вспомнишь, и будешь локти кусать, что не послушал меня и Якова.

– Оставь его, Калистрат, пусть сам решает, как ему быть, – строго промолвил Слепцов. – Но долговая яма – мещанское место, а природному дворянину побывать там – великий стыд и поношение рода.

Художник уколол Кроткова в самое уязвимое место и тот, не найдя чем ему возразить, сел на скамью, обшарил взглядом стол и, схватив полную бутылку вина, начал из неё, не отрываясь, пить, пока не свалился на пол в хмельном беспамятстве.

-4-

Наступило нечастое в Петербурге погожее утро. Солнце, выбравшись из сумеречных туч, осветило столицу и бывший амбар конюшенного ведомства, где после усердного возлияния хмель-

ного почивали художник, пиит и гвардеец.

Прозорливые сны приходят к человеку перед самым его пробуждением, и Кроткову привиделось, что на Литейном на него со всех сторон набросились магистратские служители, чтобы отвести его в суд, он стал звать прохожих на помощь, ведь среди них были солдаты, с какими он жил в одной избе, и прапорщик Державин, и капитан Неклюдов, но они его будто не видели и не слышали. Выручка пришла от невесты откуда-то взявшейся карги Саввишны, которая своей клюкой сокрушила магистратских ярыжек и объявила Степану, что в своей синбирской деревне он отыщет великий клад. «Не забудь и меня, старую, – молвила процентщица. – Будет у тебя перстень с яхонтом, так отдай его мне сразу же, а если помедлишь до моей смерти, то богатство не пойдёт впрок ни тебе, ни твоим детям!»

На этом прелюбопытном месте сладкий сон гвардейца прервал своим курецким кашлем Слепцов, который, едва продрал глаза, засмолил трубку, дыхнул табачного дыма и забился в корчах. Это шумство разбудило и Борзова, он поднялся с попоны, раскинутой на полу, и подошёл к Кроткову.

– Как, Степанушка, почивать изволил? – сказал, потягиваясь, Калистрат. – Вечор ты по-молодецки без передыху влил в себя бутылку и успокоился. Но я смотрю, ты весел, неужто царевна приснилась?

– А может, я не спал, а всю ночь думу думал, как дальше жить, – вставая с лавки, загадочно промолвил Кротков. – А сны есть не только про царевну, да такие, что дух захватывает.

– Помнишь наш разговор о том, как можно уйти из города? Другого пути нет.

– Вот и я так понял, – решительно произнёс Кротков. – Без гроба не обойтись.

– Значит, ты так твёрдо решил?

– Да, твёрдо, – сказал гвардеец. – Но тебя, Калистрат, предупреждаю: дело серьёзное и твоих шуточек я не потерплю. Если хоть раз хохотнёшь, встану из гроба и надаю тумачков.

– Что ты, Степан, я же всё понимаю, – обрадовался Борзов. – Яков, слышишь? Яков, он согласен на гроб!

Радость пиита имела свою причину: он хотел прославиться

среди виршеплётов столицы каким-нибудь безумным деянием, кое затмило бы молву о дерзких выходках пиита Баркова, анекдоты о котором были известны всему русскому свету. Борзов уже представлял себе, как о нём будет говорить весь Петербург, и ясно слышал потешавшее его брюзжание на непутную молодёжь засевающего в Москве дряхлого Сумарокова.

– Идём к гробовщику? – спросил Слепцов.

– погоди, вот только рожу сполосну, – заторопился Кротков и потянулся к сапогам.

– Только тебя там недоставало, – отмахнулся Калистрат. – Раз мы идём за гробом, значит, тебя уже нет. С сего часа ты для всех покойник.

– Ты возьми, Степан, возле рукомыльника мою бритву и выскобли лицо, – сказал Слепцов.

– Зачем мне красоту на себя наводить? – удивился Кротков. – В гробу можно и со щетиной полежать.

– Посмотри на себя: щёки и лоб красные, хоть прикуривай трубку, а как я по щетине буду тебя размалёвывать под покойника?

– Добро, посколблюсь, раз надо, – согласился Кротков. – А бритва у меня есть своя, и не чета твоей. Но вы не стойте, идите к гробовому мастеру.

Слепцов и Борзов вышли на улицу, повернули к соседнему дому, и вдруг пиит резко остановился.

– Денег мы с тобой, Яков, на покупку не взяли со Степана. Надо вернуться.

– Плохая примета, Калистрат, возвращаться: пути не будет.

– Какой тут путь? Вот он гробовщиков дом. – Борзов указал на ограду, за которой были видны доски и готовые гробы. – Я бы и свои деньги потратил, да ведь Кротков не отдаст.

– Отдаст, – успокоил пиита художник. – Что ему на свой гроб рубля жалко?

– Плохо ты знаешь, Яков, людей, – ворчал, входя вслед за приятелем в калитку, Калистрат. – Иной за полушку согласен жабу поцеловать.

Гробовщик, как видно, прибираться не любил, двор был замусорен щепками и стружками. По сторонам он не глядел, стро-

гал широкую доску на верстаке и гостей заметил, когда они подошли к нему вплотную.

– Бог в помощь, Фома Петрович, – приподнял шляпу художник. – Как здравствовать изволишь?

– Помалу здоров. – Гробовщик отложил в сторону рубанок и оценивающим взглядом окинул пришельцев. – Грех жаловаться, без дела не сижу.

– Это точно, – встрял в разговор Борзов, – в Петербурге народ долго не живёт...

Замечание пиита пришлось гробовщику не по вкусу, и он недовольно скривился. Слепцов это заметил и, толкнув Калистрата, который собирался произнести монолог о бренности бытия, острым локтем в бок, поспешил обрадовать хозяина:

– Мы к тебе, Фома Петрович, с великой нуждой. Почил в бозе наш друг солдат гвардии Кротков, и ему нужно достойное успокоилище.

– Что ж, чему быть, тому не миновать, и все мы под богом ходим, – перекрестился гробовщик. – Но если к нему далеко идти, то не пойду, ко мне заказчики скоро явятся.

– Разве это далеко... – встрял Борзов, но, получив удар локтем в бок, умолк и недовольно взглянул на приятеля.

– Зачем, Фома Петрович, тебе идти к покойнику? – поинтересовался Слепцов.

– Как зачем? Надо мерку с него снять, чтобы ему было покойно лежать.

– Вот с него и сними, – художник указал на Борзова. – Они ростом одинаковы и статью.

– Одинаковых людей не бывает. Берите по его росту, но, в случае чего, обратно гроб не возьму, что продано, то продано.

Уразумев, что к нему пришли настоящие покупатели, Фома Петрович повеселел, в глазах заблестела хитринка, торговаться он любил, это была самая радостная часть его ремесла.

– Извольте, господа, глянуть. – Он подвёл покупателей к дощине, вырубленной из кедра. – Источает сладчайший аромат, прочность необыкновенная, тыщу лет пролежит в воде и только крепче станет.

– Мрамор прочнее будет, – заметил пиит.

– Мрамор! Мрамор! – всплеснул руками гробовщик. – Положить покойника в мрамор всё равно, что в лёд заморозить. А кедр – самое тёплое дерево из всех. Дуб тоже хорош, но не так, как кедр. А вы купите домовину и положите её в мрамор, тогда сверху будет великолепие, а внутри теплота.

– Зачем солдату кедр да мрамор? – сказал Борзов. – Нам нужен гроб, чтоб отправить его в усадьбу. Пусть там озаботятся, в чём его положить в могилу.

– Тогда вот что вам надо. – Гробовщик указал на стопу плохо оструганных гробов под дощатым навесом.

– И какова цена? – поинтересовался Слепцов.

– Цена в Петербурге у всех два с полтиной, но тебе, сосед, отдам за два рубля.

– Беда мне с тобой, Фома Петрович, – укоризненно покачал головой художник. – Разве ты от меня доброты не знал?

– Это дела промеж нас и других не касаются, – резонно заметил гробовщик. – Сейчас ты гроб берёшь не для себя, а для солдата. Но так и быть, берите пару за три рубля.

– На что нам два гроба? – удивился Борзов.

– Это такая вещь, что всегда может каждому пригодиться. А за полтора рубля могу уступить вот этот.

Борзов поднял указанный ему гробовщиком гроб, поставил на попа и воскликнул:

– В нём же дыры!

– Тьфу на твои слова! Это не дыры, а сучки выпали. Они покойнику не помеха, и я с вас беру по низшей цене, по-соседски. Ну, что, по рукам?

– Плати, Калистрат, – сказал художник. – Я Фому знаю, он с этой цены не сойдёт.

Пиит неодобрительно на него посмотрел, вынул из кармана горсть мелочи и стал по копейке кидать в подставленную гробовщиком шапку.

– Каким промыслом изволите заниматься? – лукаво осклабившись, сказал Фома Петрович, намекая на нищенство покупателя.

– Под мостом с кистенём по ночам гуляю! – рыкнул Калистрат. – Таких, как ты, жила, привечаю!

– Окстись, Калистрат! – встрял Слепцов. – Расплатись и пой-

дём отсель.

Пиит сыпанул всю мелочь с ладони в шапку, подхватил гроб, за край которого едва успел уцепиться художник, и они пошли к воротам. Гробовщик им вслед не смотрел, он, высыпав мелочь из шапки на верстак, стал её пересчитывать своим счётом.

Увидев в дверях избы Кроткова, Калистрат на него напустился:

– Ты зачем тут стоишь? Тебя уже нет, ты для всех покойник!

– Внушал Сысою, что ему надлежит делать, – сказал Кротков. – Боюсь, не рехнулся ли мужик после моих слов?

Через сени гроб внесли сразу в комнату и поставили на две короткие скамьи.

– Ну, Степан, ложись, – сказал пиит.

– Зачем?

– А ты что, надумал рядом с ним стоять? Ложке надо примерить, потом настелем тебе помягче и будешь лежать.

Кротков залез в гроб и лёг навзничь, ему стало жёстко, доски были сопревшими и пахивали плесенью.

– Ну как? – спросил Слепцов.

– Просторно, только надо что-нибудь на днище настелить.

– Калистрат, возьми в чулане старую овчину и устрой гвардейцу вольготное лежбище, – сказал художник. – А ты, Степан, вылазь и ступай за мной.

Возле мольберта Слепцов усадил Кроткова на скамью и взял в руки кисточку.

– Сейчас я тебя, солдат, под покойника зашпаклюю.

– Ну-ка, ну-ка! – К ним подошёл Борзов. – Покажи, Яша, своё искусство, не всё тебе голых девок малевать, а потом тискать их за вымя.

Художник не ответил на подначку пиита, подошёл к Кроткову и вымазал ему одно ухо, затем другое, приговаривая:

– Уши у тебя красные, как петушиные гребни, а их надо сделать пепельными, то есть неживыми, как, впрочем, и нос, он у тебя хоть и пуговкой, но тоже изрядно пунцовый.

– Вот оно, винцо, где наружу выходит, – хохотнул Калистрат. – Но ты, Степан, смышлён. Гроб заимел, а платить за него не спешишь.

– А ты и не спрашивал деньги.

– Знай, что за успокоилище мной уплачено полтора рубля казённой медью.

– Однако же дороги стали гнилые доски, – задумался Кротков. – Может, сложимся все трое по полтине?

– Вот ещё! Надо такое надумать: я тебя перелицовал за так и ещё за гроб должен полтину. – Художник бросил кисть. – Ложись в гроб наполовину покрашенным, а то и за мою работу придётся платить.

– Не кипятись, Яков, – остановил художника Борзов. – Степан тугодум, он забыл, куда деньги вчор забросил.

Кротков начал охлопывать полы кафтана, но в них ничего не побрякивало. Взбешенный солдат свирепо воззрился на пиита.

– Куда, Калистрат, мой кошель подевал?

– На что мне твои деньги, у меня своих куры не клюют.

Кротков подхватился со скамьи и, оттолкнув пиита, побежал к тому месту, где ночевал, там он перевернул всё, что лежало на лавке, залез под неё, выпятился и опять зло посмотрел на Борзова.

– Где мои деньги?

– Что у тебя глаз нет? Они же у тебя над головой на крюке висят.

Кротков сорвал с крюка кошель, вынул оттуда деньги и молча отдал Слепцову.

– Это за гроб. А за мою шпаклёвку сколько надо?

– Я с покойников деньги не беру, – хладнокровно промолвил художник и продолжил работу. Мало-помалу его стараниями пышущее здоровьем лицо гвардейца приобрело синевато-мертвенный оттенок, его черты заострились, на подглазья легли тени.

– Неси, Калистрат, зеркало, – сказал Слепцов, накладывая последние штрихи на лицо Кроткова. – Принимай, Степан, работу.

– Разве он сможет понять, как вышло, – сказал Борзов. – Он себя не узнает. А я скажу, что ты, Степан, смотришься как настоящий покойник. Но лучше мы сделаем так: ты ложись в гроб, а мы будем перед тобой сверху держать зеркало.

Кротков умял и поправил овчинку, лёг в гроб.

– Так, очень хорошо, – удовлетворённо пробормотал доволь-

ный собой художник. – Теперь сложи на груди руки. Очень хорошо!

Кротков взглянул в нависшее над ним зеркало и зажмурился. Художник и пиит заинтересованно ждали, что он вымолвит. Наконец Степан разлепил глаза и дрожащим голосом вымолвил:

– Я смотрюсь как настоящий мертвец.

– Никакой ты не мертвец, а покойник. Мертвецом ты станешь, когда тебя зароют в могилу, – сказал Борзов. – Ты покойник до той поры, пока тебя не увезут из города. А там хоть пой, хоть пляши!

– Пока мы сделали полдела, – объявил Слепцов. – Главная трудность ещё впереди.

– Какая трудность? – Кротков сел в гробу и стал из него вылезать.

– Лежи там, куда тебя положили! – Художник ухватил гвардейца за ворот. – Лежи в гробу и не шевелись, даже если тебе нос начнут отрезать! А мы побежим в полицейскую часть, надо подорожную выхлопотать на доставку покойника к месту погребения в синбирскую провинцию.

– Надо же! – удивился пиит. – И покойнику надо иметь казенные бумаги.

– Я мичману Синичкину по всей форме выправил подорожную, и его никто не остановил. Но для этого нужны деньги.

– И много? – почувствовав опасность своему кошельку, Кротков опять сел в гробу.

– Перестань прыгать туда-сюда, гроб разломаешь! – рассердился Слепцов. – Нужно рублей пять. Если управимся дешевле, остаток я верну.

– Черт с вами, грабители! – Кротков отдал деньги. – Вот вам восемь рублей, на сдачу купите вина. Какие похороны без поминоков!

Борзов и Слепцов отошли к мольберту, где художник, гримасничая и размахивая руками, стал втолковывать пииту, что говорить в полиции. Их жаркое собеседование прервал скрип двери. На пороге, сняв шапку, стоял Сысой.

– Барин! Барин! – позвал мужик. – Ты что, уже в гробу лежишь?

– А тебе какое дело, болван, лежу я там или стою? – отозвал-

ся Кротков. – Зачем явился без зова?

– Дозволь к обедне сходить, уже благовестят.

– И не вздумай! Сейчас повезёшь господ, куда они повелят.

Сысой ещё недолго постоял на пороге, повздыхал и выпятился за дверь.

Художник и пиит тем часом оделись, почистили сапоги и подошли к Кроткову.

– Ну-с, мы готовы идти на приступ полицейской части, – важно сказал Борзов.

– Как бы вас там не повязали, – засомневался Кротков. – Рожки обвислые с перепоя, перегаром смердит. А в полиции служит народ дошлый, враз по вашему виду поймут, что вы ещё те затейники, какие им в тюрьме как раз и нужны.

– Не беда, что с похмелья, беда, что похмелиться нельзя, – сказал Борзов. – Враз поймут, что мы из кабака явились, а свежепьяных полиция не любит, могут и запереть для протрезвления в холодную...

– Хватит, Калистрат, разговоры разговаривать, – перебил пиита Слепцов. – Давай, Степан, свой полковой паспорт, без него подорожную не выпишут.

– Вы с паспортом поосторожнее, – сказал Кротков. – Если потеряете, другого не дадут. В полку меня сейчас магистратские служители подстерегают.

Услышав, как забрякал засов и скрипнул ключ в ржавом замке запора, Степан с облегчением вздохнул. Он пошевелился, поднял одну руку, другую, повернулся на бок, поковырял ногтем сучок в боковой доске. Встать ему не хотелось, на овчине лежалось и легко, и покойно. «Гроб не такое уж плохое место для сна, – подумал Кротков. – В нём клопов нет, не то, что в солдатской избе, там чуть задуют свечу, так эти твари полчищами идут на тебя со всех сторон и сыпятся с потолка. А тараканы? Говорят, что на Руси их прежде не бывало, лишь после Семилетней войны они на солдатах пришли из Пруссии. Мы Берлин взяли, а прусские тараканы – Петербург. Презабавная история, надо будет Борзову о сем поведать. Пусть пиит намарает пьеску о взятии русской столицы тараканами. Они ведь, поди, и на царском дворе бегают, и на государынино ложе запрыгивают,

и по самым важным бумагам шныряют... А в гробе чисто, только в нём и есть человеку покой».

Кротков подsunул под голову овчинный рукав и, посапывая, погрузился в сонное небытие.

В полицейской части самые нужнейшие дела решались, начиная с восхода солнца. Из подвала выводили захваченных во время облавы мошенников и воришек самых разных мастей и предъявляли грозному начальнику, который определял их судьбу. Нарушителей спокойствия, гусекрадов, любителей пошарить в чужих кладовках, чуланах и погребках, базарных воришек и другую разгульную и воровскую мелочь, разложив на доске между двух козел, нещадно секли розгами и выбрасывали со двора за ворота. Более серьёзных преступников после порки отправляли обратно в подвал на допрос к умельцу следственных дел. К полудню в полицейском участке воцарялась тишина, которую нарушали только зудение зелёных мух и стоны людей из подвала.

Борзов и Слепцов подъехали к полицейской части как раз в то время, когда последний высеченный воришка был вытолкнут на улицу, а мордатый полицейский с лязгом и скрежетом закрывал засовы ворот.

– Тут розгами жалуют и не скупятся, – поёжился Слепцов. – Как бы и нам под них не угодить.

– Положись во всём на меня, – сказал пиит, хлопывая кафтан от дорожной пыли. – Однако наобум мы не пойдём. Надо разведать, как в сем неприступном месте золотят начальству руку. Вот, кстати, и местный ярыжка поспешает.

И Борзов в несколько шагов догнал шедшего мимо них полицейского служителя, пошептался, сунул ему подношение и махнул рукой Слепцову.

– Пойдём, Яков, всё оказалось просто.

– Ну, и как здесь взятку берут? – заинтересовался Яков. – Как бы впросак не попасть.

Они поднялись на крыльцо и по коридору зашли в комнату,

где стояли посетители, один явно купчик, другой (это Борзов сразу определил по исходившему от него запаху) был колбасник, но явно не немец, а русак. Дверь начальственной комнаты отворилась, из неё, часто кланяясь, выпятился человек и, перекрестившись, выдохнул:

– Кажись, пронесло!

Купчик с завистью посмотрел на счастливого и стал открывать дверь комнаты, а навстречу ему раздалось:

– Тебя-то, аршинника, мне и надо!

Поначалу из кабинета еле слышно доносилась частая скороговорка купчика, который умолял полицейского офицера «войти в его положение», «пощадить», «не оставить детей сиротами», но этот поток жалких слов прервал громящий рык и такая замысловатая и непотребная ругань, что пиит восхитился и почувствовал гордость за необъятное богатство русского наречия. Затем послышался шлепок, как веслом по воде, и на пороге, прикрывая щёку ладонью, появился купчик.

– Что, Иван Маркелыч, крепко не в духе? – подскочил к нему колбасник.

– Свирип, как янычар. Но помиловал.

– Нет, я сегодня к randevу с ним не готов, – скривился колбасник и опрометью кинулся на выход.

Борзов встряхнулся, набрал полную грудь воздуха и потянул на себя дверь. Входить к началству он наловчился и ступил в комнату твёрдым шагом, щёлкнул каблуками и с нотками подбострастия в голосе чувствительно произнёс:

– Желаю здравия вашему высокоблагородию!

Офицер был знатный человековидец и сразу определил, кто перед ним стоит.

– В чём твоё прошение? – сказал он, обволакивая Борзова туманным взором.

Борзов шагнул к столу.

– Извольте ознакомиться, ваше высокоблагородие, вот отпускной паспорт солдата гвардейского Преображенского полка Степана Кроткова.

Полицейский офицер взял паспорт, прочитал его и спросил:

– Что этот солдат набедокурил?

– Хуже, ваше высокоблагородие, сей солдат почил в бозе.

– При чём здесь полиция? – удивился офицер. – Это дело полка – хоронить своего солдата.

– В этом и вся загвоздка. В полку говорят, что Кротков отпущен на год по болезни и в списках его нет, и к смерти они отношения не имеют. На смертном одре Кротков завещал похоронить его в деревне, рядом с могилами предков. Тому есть свидетели: лекарский помощник Скороходов, он за дверью, и крепостной человек покойного мужик Сысой, тот сидит в телеге на улице.

– Стало быть, надо учинять следствие. – Офицер задвигал усами и наморщил лоб. – Мужик мне ненадобен, а лекарского помощника зови.

Борзов открыл дверь и позвал Слепцова. Тот зашел в комнату с душевной дрожью, поскольку был боязлив перед всяким, даже ничтожным, начальством, и полицейский это сразу увидел:

– Говори, помощник смерти, от какой хвори умер солдат?

Слепцов беспомощно взглянул на пиита и пролепетал:

– От заворота кишок.

– Стало быть, обожрался, – задумчиво сказал офицер. – И где он сейчас?

– В покойницкой, – ещё тише пролепетал Слепцов, с ужасом понимая, что он так заврался, что дальше некуда и, почувствовав прилив сумасбродного отчаянья, добавил:

– Ему лекарь из брюха всё, что там было, вырезал и залил спиртом.

– А такие страсти к чему? – поразился полицейский офицер.

– Чтобы не протух. Его же везти надо в синбирскую провинцию, а туда два месяца пути.

– Ступай! Ты мне больше не нужен. – Полицейский офицер пристально посмотрел на Борзова. – Что мне с тобой делать? С одной стороны, дело о смерти ясное, а если с другой – мутное, весьма мутное...

Борзов понял, что наступил решающий миг и чувствительно вымолвил:

– Явите, ваше высокоблагородие, человеколюбие и сострадание к ближнему.

Полицейский офицер оценивающе взглянул на просителя и

пять раз ударил казанком среднего пальца по столу. Этого и ждал Борзов, он вынул пять рублей и положил их на стол. Офицер неведомо куда смахнул деньги со стола и крепко стукнул кулаком в стену. Через мгновение в комнате возник полицейский служитель.

– Выпиши им подорожную на покойника, и не тяни, а то я знаю тебя, шельму!

Весьма довольный исходом дела, Борзов отправился за канцеляристом в его каморку и, пожертвовав полтинником, получил подорожную.

– Клевещут на Россию те, кто говорит, что в ней нет порядка, – заявил он художнику, который нетерпеливо поджидал его возле телеги. – К примеру, в этой полицейской части царит образцовый порядок и такие удобства для просящих: стукнул по столу начальник, и сразу ясно, сколько нужно давать на лапу. Оцени, Яков: не нужно гадать, торговаться, шептаться, опасаясь чужих ушей, считай стуки и вынимай из кармана рубли.

– У тебя сколько денег осталось от кротковских? – спросил художник.

– Два рубля с полтиной, – ответил, влезая в телегу, пиит. – Конечно, для поминок маловато, но я добавлю трешку, а ты?

– Я пуст, Калистрат, да и с чего я должен вкладывать? Ты Кроткову друг, а я в этом деле уже вложился: и гроб помог купить, и раскрасил солдата, и лекарским помощником побывал. Вот и сейчас, пока тебя не было, прочитал свежий нумер «Полицейского листка».

– Трогай! – Борзов толкнул Сысою в бок. – Ну, и что, Яша, ты в этом листке вычитал?

– А то, Калистрат, что на Кроткова объявлена сыскная. Нам повезло, что полиция нас не взяла, а солдату теперь из Петербурга не выехать.

Пиит огорчился известием, задумался и вдруг радостно воскликнул:

– В этом листке печатают известия не только о сыске, но и об отъезжающих, приезжающих, а также о тех, кто умер: значит, через неделю будет известие, что Степан умер.

– Это его не спасёт, – остудил пиита Слепцов. – В любом

случае на заставе его сцапают.

– К несчастью, ты прав, – огорчился Борзов. – Но вот и пиитейный дом. Кончай дымокурить и ступай за вином!

– Всегда я у тебя, Калистрат, на посылках, – сказал художник, но слез с телеги, выколотил трубку и, взяв у пиита деньги, пошёл в пьяное заведение. Скоро он вернулся с двумя штофами очищенной водки, а пиит тем временем побывал в съестной лавке и вышел оттуда с ковалком ветчины и большим кругом копчёной колбасы, не забыв прихватить для Сысои солёного сала и полкаравая хлеба. Мужик заметно повеселел, стал покрикивать на лошадь, и скоро они были у места своего ночлега.

– Смотри, Яша, как ему хорошо, – тихо сказал Борзов, указав на Кроткова, который, сладко причмокивая, мирно спал в гробу. – Он, брат, уже того, похмелился.

– Мне тоже надо остаканиться, а то работать не смогу: дрожат руки.

– Какой из тебя сейчас рисовальщик, – хохотнул пиит. – Я вот на пьяную голову вирши не мараю.

– Сейчас моё умение покойнику как раз и будет нужно, – сказал Слепцов. – Надо подорожную исправить так тонко, чтобы к ней ни один приказной крючок не подкопался.

– А я ведь не сплю и всё слышу, – раздался неожиданно голос Кроткова, и он сел в гробу. – Я не похмелялся, но мой штоф, Калистрат, сбереги для служивых на заставе. А тебя, Яков, я не пойму, что ты задумал исправлять в подорожной?

– Беда случилась, Степан, – горестно известил приятеля Калистрат. – Твоя фамилия пропечатана в «Полицейском листке», и об этом сейчас известно на всех заставах. А что Яшка надумал сделать, я не знаю.

– Фамилию тебе надо изменить, солдат, – сказал Слепцов. – Ну-ка, Калистрат, дай подорожную.

Эта весть пришлась Кроткову не по нраву, он часто задышал, выпрыгнул из гроба и навис над художником.

– Моя фамилия идёт от тех дворян, что явились в Москву по выбору царя Иоанна Третьего, и вымарывать её я не позволяю!

– Охолонь, солдат, – отмахнулся от Кроткова художник и

ткнул немытым пальцем в подорожную. – Вот тут между отчеством и фамилией пробел, и сюда можно втиснуть две буквы.

– Какие ещё две буквы? – спросил дрожащим голосом потомственный дворянин.

– А такие, чтобы вместо Кротков читалось Некротков.

– Ну и светлая голова у тебя, Яков! – возбуждённо вскричал Борзов. – Это же твой спаситель, Степан, и перестань на него так жарко дышать!

– Но Некротков это уже не Кротков, – сказал тот, отступая от художника.

– Правильно! – обрадовался Калистрат. – Живой ты Кротков, а раз ты покойник, то Некротков. Уразумел? Ты, Яков, даром времени не трать, подрисовывай буквы, а мы устроим поминальный стол. Надо пройти заставу до темноты, ночью через неё пропускают с неохотой и придирами.

– Я за свой упокой пить не стану, – сказал Кротков. – А вот на прощанье я с тобой, Калистрат, угощусь, когда выйдем из города, и все страхи будут позади.

Художник разложил на столце перед окном подорожную и склонился над ней с пером в руке, Степан перекладывал в своём сундуке вещи, а Борзов отрезал по несколько кусков ветчины и колбасы и налил в чарку очищенной водки.

– На поминках молчат и не чокаются, – тихо промолвил он и опрокинул в рот чарку.

– А меня, стало быть, ты забыл, – обиделся Слепцов. – Я как раз работу закончил.

Первым на исправленную подорожную поглядел Кротков, кисло поморщился и вернулся к своему раскрытому сундуку. Борзов работу художника одобрил и, свернув два раза, положил бумагу в карман. А художник был уже возле вина, налил чарку и, выдохнув, выпил, но прожевать ветчину ему не дали: сначала кто-то затопал в сенях, затем в дверях появился гробовщик. Он нашарил глазами икону, перекрестился и произнёс довольно наглым тоном:

– Вот, господа, пришёл проститься с усопшим.

Прятели, застигнутые врасплох неожиданным визитом гробовщика, растерянно молчали. Первым опамятовался Слепцов:

он заметил, что взгляд гробовщик чаще бросает на штоф, чем на гроб, и налил полную чарку очищенной.

– Помяни, Фома Петрович, усопшего раба божьего Степана.

Гробовщик резво подбежал к чарке, опрокинул её в рот, жуя колбасу, спросил:

– Где же покойник?

– Разве ты не ведаешь, Фома Петрович, что покойник лежит в покойницкой, а мы как раз собрались ехать за ним.

Гость опять покосился на штоф, но художник не пошевелился.

– Посидел бы с вами, но должен заказчик явиться. Счастливо оставаться, господа похоронщики!

– Заходи, Фома Петрович, мы в шабрах живём, должны друг с другом знаться. – Художник проводил гробовщика до крыльца, дождался, пока он зайдёт в свои ворота, и вернулся в дом.

Там уже пиит отдавал приказы:

– Ты, Степан, раз собрал свой сундук, то ложись в гроб. Яшка, брось хвататься за штоф, а то гроб до телеги не донесём. Где крышка?

– Ты что меня заколачивать собираешься? – запротестовал Кротков. – Я этому не дам.

– Без крышки нельзя ехать, вдруг дождь, или кто спросит, где гробовое накрытие.

– Крышку после вынесем, – сказал Слепцов. – Ну что, взяли?

– Погодите, – сел в гробе Кротков. – Один штоф, половину ветчины и колбасы кладите со мной. Возле московской заставы питейный дом сгорел, там ничего не купить.

Гроб нагрозили выпивкой и закуской, пиит и художник попытались его поднять, с большой натугой сняли со скамеек, пронесли несколько шагов и опустили на пол.

– Тяжел ты, Степан, – сказал Калистрат. – Солдат ведь, скаывают, овсом кормят, с него ты и огрузел, как бревно от воды. Яша, крикни Сысой, вдвоём нам ношу не осилить.

Изголовье гроба взяли вдвоём на кусок холста Борзов и Слепцов, другой край нёс Сысой. Телега стояла возле крыльца, с кряхтением на неё взвалили гроб, и он встал косо.

– Я же вывалюсь! – испугался Кротков.

Сысой своим мужицким рассудком скорей всех сообразил,

что нужно сделать: взял два полена и подсунул под наклоненную сторону гроба. Слепцов принёс крышку, Борзов – сундук, Сысой взял в руки вожжи.

– Яков, ты с нами?

– Не могу, – сказал художник. – Рад бы, но у меня из-за Степановой смерти работа стоит, а завтра её надо отдать заказчику.

– Трогай, Сысой! – велел Борзов. – Да не гони, всё же везёшь покойника, а не свадьбу.

Мужик шевельнул вожжами, и лошадь повлекла телегу на уличную дорогу.

-6-

На мостовой, покрытой ещё при основателе столицы булыжниками, имелось много бугорков, выбоин и камней, поэтому Степану в гробу было тряско. Не спасала от толчков даже настиленная под спину овчина, и ему приходилось стискивать зубы, чтобы не вскрикнуть, когда гроб вдруг подпрыгивал на телеге и хряско обрушивался вниз. Сквозь доски Кротков слышал Калистрата, который сидел на задке телеги и насвистывал весёлый мотивчик. Вдруг он перестал свистеть и обернулся.

– Крепись Степан, кажется, к нам спешит Державин! Он мне, конечно, не ровня, но тоже пиит и никогда мимо меня не проходит.

Борзов не врал, Гаврила Романович только начинал свой путь в поэзии, числил себя в учениках и не упускал случая засвидетельствовать свою приязнь к людям, уже известным на поэтическом поприще. Завидев сидящего на телеге Борзова, он скоро его догнал и поехал рядом с ним на своей каретишке.

– Желаю здравствовать, Калистрат Мокеевич! Признаться, не ждал тебя встретить в столь прискорбном обществе. Кого это ты везёшь?

– Вашего полка солдата, своего приятеля Степана Кроткова.

– Как же так! – поразился Державин. – Два дня тому он был здоров как конь. Что же его убило?

– Опился Степан до смерти. Не вынес ваших полковых не-

правд, влил в себя два штофа водки и сгорел. Успел только сказать, чтобы похоронили его на родине. Вот и сопровождаю тело до заставы.

– Удивил Кротков, удивил так удивил, – сокрушенно промолвил Державин и окликнул проезжавшего мимо капитана Корсакова. – Василий Васильевич! Степан Кротков, оказывается, скоропостижно помер, а мы и не знали.

– Для меня сие неудивительно, – пренебрежительно произнёс уже вполне заражённый вольтерьянством Корсаков. – Он вёл позорный образ жизни: пьянствовал, играл в карты, наделал долгов. Он уже не нашего полка, и нам здесь делать нечего.

Офицеры, не оглядываясь, поспешили по своим делам, а Кротков злобно процедил сквозь зубы:

– Корсаков ни дня не служил в солдатах, сразу стал командиром роты и капитаном, а я почти четыре года пробыл солдатом. И не из-за того, что играл в карты и пил. Кто в гвардии этого не делает? Не было у меня сильной руки, а к Корсакову сама государыня неровно дышит.

– Никогда не жалею о том, что было, Степан, – сказал Борзов. – К тебе ли не благосклонна планида? Ты родился дворянином, это ли не счастье? Скоро станешь помещиком и живи в своё удовольствие полновластным барином, а про полк, пусть он будет трижды гвардейский, забудь, будто его и не было.

Петербург в те годы был невелик, и скоро они выехали за окраину в поле и увидели заставу – большую каменную будку и шлагбаум.

– Соберись с духом, Степан, – сказал Борзов. – Ещё пять минут страха – и ты будешь на воле.

Заставу сторожили три солдата, унтер-офицер и прапорщик. На проезжавшие мимо них телеги, направлявшиеся в город, они не смотрели, а все выезжавшие из столицы останавливали и досматривали. Телега с гробом стражу заинтересовала, из будки вышел престарелый армейский прапорщик, которому Борзов, приняв важный вид, подал подорожную. Прапорщик её медленно вычитал и крикнул унтер-офицеру, который стоял на пороге будки.

– Посмотри, есть ли в сыском списке Некротков!

Несмотря на летнюю жару, Кротков оледенел в своём гробу от страха и мысленно взмолился: «Господи! Пронеси мимо беду, а я, клянусь, отыщу клад и пожертвую на храм стопудовый колокол!»

С бумагой в руках на пороге будки появился унтер-офицер.

– Некроткова, ваше благородие, в сыске нет, но есть Кротков!

– А ну, дай-ка сюда сыскную. А вы откройте гроб.

Взяв бумагу, прапорщик прочитал её, затем подорожную, подошёл к телеге и устоял на Кроткова, который сразу почувствовал этот взгляд и чуть было в самом деле не умер от страха. На какое-то время сердце у него перестало биться, кровь отхлынула от лица, и он сразу стал похож на труп. Прапорщика покойнический вид Кроткова удовлетворил, к тому же он дослуживал последние дни, и лишние хлопоты ему были не нужны.

Но окончательно спасло Кроткова от разоблачения горлышко штофа, которое выглядывало наружу рядом с покойником. Прапорщик поманил к себе Борзова.

– Что это?

– Ваш штоф очищенной водки, господин прапорщик, – не растерялся Борзов и, вынув из гроба бутылку, поставил её на столбик ограждения.

– У меня во взводе были два солдата, один Быков, другой Небыков, оба из одной деревни, – сказал ветеран армейской службы, возвращая потному от страха пииту подорожную. – Проезжайте!

Борзов влез на телегу, Сысой пошевелил вожжами, и телега поехала мимо шлагбаума в поле, на дальнем краю которого темнел вершинами лес.

– Только одна беда минет, как другая тут как тут, – сказал с горестью Борзов, когда отъехали с полста саженей от заставы.

– О чём кручинишься, Калистрат? – повеселевший Кротков уже окончательно уверовал в спасенье и был готов выскочить из гроба.

– Как же мы прощаться будем? Был всего один штоф, теперь и того нет.

– Разве это беда? – спросил Кротков, приподняв голову. – А я было подумал, что за нами гонятся немец Зигерс и карга Сав-

вишна.

– Не зови лихо, а то оно явится, – предостерёг приятеля Борзов. – И питейный дом сгорел.

Сысой с вниманием прислушивался к разговору господ и, обернувшись, сказал:

– Тут по пути недалече ямская слобода, так в ней вина хоть залейся.

– Недалече, говоришь, – оживился Борзов. – А как недалече?

– Вёрст пять али семь, – пожал плечами Сысой. – Но недалече...

– До леса версты три будет, раньше тебе, Степан, из гроба выходить нельзя, – сказал Борзов. – Там и встанем где-нибудь, Сысой, воскресим твоего барина, а ты тем временем сгоняешь в слободу за водкой.

Хотя Кротков лежал ещё в гробу, ощущение свободы уже было при нём и побуждало его к мечтаниям о неслыханном богатстве, которое неизбежно свалится на него в самое ближайшее время. «Добро бы занять казну сразу в миллион золотых рублей, то-то была бы потеха! Прикупил бы близ Москвы пяток сёл с крепостными людишками, завёл усадьбу с каменным домом, садом, водомётами, тремя выездами шестёрней с гайдуками. Жил бы не хуже Шереметева, нет, лучше, ярче. В карты бы не играл, зачем мне карты, когда я богат, как Демидов? А театр бы завёл, чтобы живые картины показывали...»

– Поворачивай, Сысой, на просёлок, – раздался над заплутавшим в сладких грёзах Кротковым голос пиита. – Ищи добрую поляну, там и встанем.

– Как, барин? – спросил через некоторое время Сысой. – Это место годится?

– Можно сыскать и получше, но и это ладно. – Калистрат спрыгнул с телеги и подошёл к изголовью гроба.

– Изыдие от места сего, раб божий Степане! – торжественно возгласил Борзов.

Кротков встал в гробу, простёр в стороны руки и сладко потянулся.

– Хорошо как, Калистрат, на воле, а то я несколько часов в гробу пролежал, всю спину избил, и столь всего передумал!

– Думаешь, я эти часы провёл в радости? Но ты можешь от-

ряхнуть петербургскую пыль со своих ног, а мне надо возвращаться в сумрачный град Петров.

Кротков окончательно вышел из гроба, слез с телеги и, подойдя к пииту, дружески обнял его за плечи.

– Сухим я тебя, Калистрат, не отпущу, все мои петербургские годы ты был сначала моим наставником, а потом и другом на жизненном поприще. Много чего с нами случалось, но больше приятного, ты не оставлял меня в беде, я, надеюсь, платил тебе тем же.

От прилива чувств Борзов едва не прослезился и осипшим от волнения голосом произнес:

– Такого приятного друга, как ты, Степан, у меня больше не будет. Однако же пора посылать раба твоего Сысой в ямскую слободу.

Кротков отстранился от пиита и поманил его за собой к телеге, с которой снял свой сундук, поставил на траву и распахнул крышку. Калистрат разулыбался шире некуда, и было отчего: в сундуке стояли два штофа очищенной водки, а от свёртка исходил дразнящий запах копчёной колбасы.

– Как ты всё это сумел сделать? – подивился Борзов. – Лежал в гробу, а всё имеешь.

– От тебя научился в первую очередь думать о своей выгоде. Пока ты с художником был в полиции, я ходил в питейный дом, а закуску сохранил из твоих запасов.

– Вижу, что моя наука и мне пошла впрок.

Кротков огляделся вокруг. За деревьями солнца уже не было видно, приближалась короткая июньская ночь.

– Сысой! Подай мне топор и распрягай лошадь.

– Зачем тебе топор? – сказал Борзов. – Его, может, у него и нет.

– Мужик без топора – не мужик. Правду я говорю, Сысой?

– Истинную правду, барин. Я без топора не выхожу из дому, без него, как без рук.

Кротков сволок с телеги на землю гроб и взял в руки топор.

– Что ты, Степан, задумал?

– Не бросать же гроб целым, кто-нибудь на него набредёт, устроит шум, наедет полиция, а что дальше будет, ты и сам зна-

ешь. – Кротков начал топором разбивать гроб и ломать доски. – А мы из него раздуем кострище, и гори моя солдатская жизнь синим пламенем!

Борзов и Сысой сняли с телеги попону и расстелили ее на поляне. Хмельное и сытное Калистрат вынул из кротковского сундука. Степан тем временем разломал гроб и кучей сложил обломки. Сысой посмотрел на работу барина и сказал:

– А ведь костёр к месту: сегодня Иван Купала.

Это известие Борзов пропустил мимо ушей, а Кроткова оно так поразило, что он выпустил из рук топор. И было отчего ему так взволноваться: последние дни он и думать не мог ни о чём другом, как о захороненном невесте где для него богатстве. Но чтобы найти клад, нужно иметь цветок папоротника, а тот цвёл только на Ивана Купала. Кротков знал, что папоротников цвет даётся в руки далеко не каждому, может, одному из сотен тысяч охотников за ним, но сегодня ему везло как никогда в жизни: он ушёл от долговой тюрьмы. И почему бы этому везению не продолжиться до первой утренней звезды?

Борзов тронул приятеля за плечо, но он так задумался, что его пришлось тормошить.

– Скажи, Калистрат, – очнувшись от дум, сказал Кротков, – в какой час расцветает папоротник?

Пиит недоуменно на него взглянул и покачал головой.

– Ты же не малое дитя, Степан, а солдат гвардии, зачем тебе верить в детские сказки? Папоротник не цветёт.

– Как это не цветёт? – подал голос Сысой, который, привязав лошадь на длинный повод к дереву, подошёл к телеге. – Коли бы не цвёл, так народ его и не искал. Лет десять тому в Малой Кротковке молодой мужик Егорка сорвал папоротниковый цвет, и все его видели.

– А дальше, дальше что? – нетерпеливо вскричал Кротков. – Дался ему клад?

– Эх-ма, барин, – вздохнул Сысой. – Цветок у Егорки был, а где клад лежит, он не знал.

– Что с цветком стало?

– Как что? Осыпался прахом, он больше одного дня не живёт. А Егорка после этого зачах и отдал богу душу.

– Вот видишь, Калистрат, – сказал Кротков. – Папоротник цветёт и, может быть, сегодня близ нас свершится это чудо. Папоротника вокруг поляны – заросли.

– Не узнаю тебя, Степан: водка выдыхается, колбаса и хлеб сохнут, а ты всё бредишь о каком-то чуде. Пора бы выпить.

– Сысой, неси свою чарку, – сказал Кротков, и мужик, будто ждал этого слова, и тотчас вытащил из-за пазухи глиняную посудину. Кротков наполнил её до краёв водкой.

– Ты меня сегодня порадовал, выпей и ступай в сторону.

Он сел рядом с Калистратом на попону и взял чарку.

– Может, поедешь со мной и поживёшь в моей Кротковке этот год? На усадьбе есть добрая гостевая изба, я к тебе представлю для всяких надобностей сдобную девку, захочешь и двух. Будешь вирши марать, захочешь развеяться, так у нас добрая охота, можно всякого зверя брать, зимой по гостям станем ездить, или в Синбирск махнём, туда многие дворяне съезжаются на зиму с семьями. Может, присмотришь себе невесту с приданым и заживёшь синбирским помещиком.

– Рад бы в рай, да грехи не пускают. Я родился в петербургском муравейнике и другой жизни не знаю. Здесь я, как мурашек, пошныряю в многолюдстве и само собой свою крошку хлеба заимею. – Пиит взялся за штоф и вновь наполнил чарки. – Лучше вспомни, Степан, как мы впервые сошлись, это ты не забыл?

– Вот за это не грех и выпить! – оживился Кротков. – Доброе дело ты мне сделал, Калистрат, когда обнёс меня на пятнадцать рублёв в карты. Но ты меня не кинул, от тебя я научился всем картёжным хитростям, познал приятную жизнь. И не наша вина, что процентщики, немец да карга Саввишна, её порушили. Век буду помнить, Калистрат, твою доброту!

Пиита слова приятеля тронули до глубины души, он опрокинул в рот чарку и упал на попону, скрывая увлажнившие его глаза слёзы. Кротков развалился с ним рядом и тоже затосковал, потому что покидать стольный град ему не хотелось, в нём бы он согласился вести до смерти жизнь картёжного игрока и кутилы, рисковать ежечасно головой. А теперь нужно затвориться в усадьбе и видеть каждый день одни и те же постылые лица и

слушать брюзжание Парамона Ильича об упадке веры и порче нравов.

Вечерние сумерки сгущались, вот уже неподалеку ухнул филин, и потревоженная лошадь на всю длину поводов приблизилась к людям, затрясла головой и зафыркала. Кротков встал с попоны и подошёл к куче изломанных досок гроба.

– Сысой, ты живой?

– Как же, барин, живой, придремал вот чуток.

– Разожги костёр, уже сумеречно.

Сысой высек кресалом в сухой мох и жухлую листву огонь, лёгкий ветерок быстро раздул пламя, и оно охватило доски, заплясало на них и устремилось ввысь, выстреливая искры. Костёр отогнал от себя потёмки, но там, где кончился свет, темнота становилась гуще и непрогляднее, деревья пошумливали своими верхами тревожнее и загадочней, и Кротков опять вспомнил о своём:

– Сысой, а в какой час расцветает папоротник?

– Бают, что в полночь, а так или нет, не ведаю.

Борзов потряс вниз горлышком штоф, убедился, что он пустой, и взял в руки полный.

– Удивляюсь тебе, Степан, – сказал пиит, наполняя всклень чарки. – Не вздумал ли ты идти за цветком папоротника?

В голове у Кроткова крепко пошумливали, но на ногах он стоял крепко и, казалось ему, мыслил здраво.

– Вот сейчас выпьем и пойду!

– Правильные слова. – В голосе Калистрата слышалась усмешка. – Цветок и надо искать на хмельную голову. Трезвый его никогда не увидит.

Они чокнулись и опорожнили чарки. Борзов удержал покачнувшегося приятеля и сказал:

– Найдёшь ты цветок, но клада у тебя нет, а он цветёт всего день. Сейчас идти нет никакого толку.

– А я хочу увидеть, какой он, папоротников цвет. – Кротков отодвинул пиита и, пошатываясь, пошёл прочь от костра. На краю поляны стоял частый молодой осинник. Степан, цепляясь одеждой за ветки, пробрался сквозь него, вышел в мягкое мшистое место, где, освещённые полной луной, росли па-

поротники. Кротков, перед тем как войти в них, оглянулся, но костра не было видно, и он, жадно приглядываясь ко всему, что ни блеснет, двинулся по заповедному месту. Вдруг что-то перед ним зажглось, Степан, выпучив глаза, поспешил к огоньку, но он сгинул, и тотчас зажглось что-то в другом месте. Кружение по поляне привело к кружению в голове, Кротков почувствовал, что его не держат ноги, и опустился на мшистую землю на листья большого папоротника, уронил голову и сразу уснул.

Борзов в ожидании приятеля пропустил пару чарок очищенной, вошёл в поэтический раж и, разбудив Сысою, до рассвета кричал ему в уши свои вирши, пока не свалился на попону.

Сысой углядел штоф, побултыхал его и, достав из-за пазухи свою глиняную посудину, наполнил до краёв, перекрестился и опорожнил её досуха.

– Сладка господская водка, – под нос себе промолвил мужик. – Что ж, Сысой, пора приволоочь барина и погрузить его на телегу. Надо поспешать, а то мы до белых мух не доедем до Кротковки.

ГЛАВА ВТОРАЯ

-1-

В конце декабря 1772 года, когда Степан Кротков ещё не мечтал о кладе и в своих самых сумасбродных мыслях не имел намерения гоняться по ночному лесу за цветком папоротника, по дороге из Сызрани на Синбирск ехали трое мужиков в застланных рядном розвальнях. Один мужик лежал в санях ничком, это был Емельян Пугачёв, схваченный неделю назад в Малыковке за крамольные речи в оренбургских станицах; двое других – караульщики, мещане Попов и Шмоткин, наряженные в свою очередь сопровождать злоумышленника до Синбирска. В руках они держали комлястые берёзовые дубинки. Наряд на этап отвлёк

их от рождественских праздников, и караульщики были злы на арестанта.

– Слышь, купец! – сказал Попов. – Ты убежал бы от нас, что ли.

– Что, ребята, отпускаете? – Пугачёв повернулся на бок и закрипел зубами – в малыковской канцелярии его нещадно били батогами, добиваясь от него правды: кто он такой, какого звания, откуда явился?

Мужики заржали.

– А что, беги! Ужо мы тебя попотчем дубинками, бегуна!

Емельян, едва сдерживая стон, приподнялся. Второй караульщик, Шмоткин, был сердобольнее:

– Что, крепко досталось от управителя канцелярии?

– Да, щедро пожаловал. Век помнить буду.

Попов, подхватив дубинку, соскочил с розвальней и пошёл рядом.

– Я не глухой, слышу, что у тебя за пазухой побрякивает. Слушай, купец, дай нам по сто рублей, мы тебя отпустим.

Пугачёв подивился, что его считают купцом, но смекнул: караульщики неграмотные, и о том, что прописано о нём в подорожной, не ведают. Купец так купец! Темнота да неведение всегда на руку ловкому человеку.

– Пожалуйте, отпустите! – жалобно произнёс Емельян. – Я вам готов каждому по сто рублёв дать, да все мои деньги у отца Филарета. Отпустите меня и поезжайте к отцу Филарету, он вам отдаст.

– Ишь, что надумал! – вскричал Попов и ударил дубинкой по краю розвальней. – Так и отдаст. Нашёл дурней!

– Я письмо ему напишу, он мою руку знает. Я у него оставил четыреста рублёв, берите всё.

– Может, правду говорит, – задумчиво произнёс Шмоткин. – Что делать?

– А ничего. Довезём до Синбирска, там ему спину ещё раз прострочат!

– Если отпустите, как сами спасётесь? – спросил Пугачёв.

– Не твоя печаль! Ты деньги давай. А мы привезём тебя в Собакино, не знаешь тамошних? Мужики лихие, недаром говорят

промеж собой купцы: «Проедешь Собакино, служи обедню!» Отобьют тебя у нас, об этом в Сызрани и заявим. Так что давай деньги!

В узелке за пазухой у Пугачёва был всего рубль, денежками и полушками. В Сызрани он завернул в бумажный обрывок двадцать копеек и сунул Попову.

– Вот червонные, только отпустите меня.

Попов оказался догадливым, развернул бумажку, швырнул полушки в бороду арестанта и огрел его дубинкой. Пугачёв подобрал деньги и отдал Шмоткину, чтобы тот купил вина.

– Пожалуйте, люди добрые, – гнул своё Емельян. – Отец Филарет отдаст деньги, за ним четыреста рублёв.

Огромная стая ворон с ором сорвалась с заснеженных деревьев и устремилась ввысь. Пугачёв поднял голову и увидел в небе большую сову. За ней и устремились вороны, охваченные злобой к одиноко летящей птице. Некоторые почти долетали до совы, чтобы клюнуть её, но она делала несколько взмахов и поднималась выше. Устав от погони, вороны, как копоть, осыпались на вершины берёз.

До того, как оказаться на Сызранском тракте в розвальнях под охраной, Пугачёв жил нескучно. Побывал в Прутском походе против турок, воевал, ничем не разжился, но был нещадно бит плетью своими же станичниками по приказу полковника Денисова за потерю лошади. Отпущенный на побывку, в своей станице Зимовейской он не зажил, ушёл на Сунжу и стал подбивать тамошних казаков на уход к турецкому султану, уверяя, что тот осыпет их милостями, не хуже казаков Игнатия Некрасова, переметнувшихся к туркам после булавинского бунта. Оттуда он, не вспоминая о семье и будучи дезертиром (казаки находились на постоянной службе), ушёл к раскольникам в Польшу. Через несколько месяцев ему там наскучило, и Пугачёв отправился в Россию. На пограничном посту Емельян выдал себя за раскольника, направляющегося на Иргиз в староверческий монастырь. Его поместили в карантин, и когда через два месяца он предстал перед начальником пограничного поста, тот держал в руке лист орленой, то есть гербовой бумаги.

– Грамоту знаешь? – спросил секунд-майор.

– Не научен сызмала, а сейчас не до неё.

– Тогда слушай: «Оный Пугачёв имеет волосы на голове тёмно-русые, усы и борода чёрные с сединой, от золотухи на левом виску шрам, ниже на правой и левой щеке две ямки от золотухи, рост 2 аршина, 4 вершка, роду 40 лет».

Согласно подорожной, Пугачёв должен был следовать в Сибирск, но не доехал, остановился в старообрядческом монастыре Введения Богородицы на Иргизе, близ Мечетной слободы, где настоятелем был отец Филарет. Оттуда он с неким торговцем Филипповым отправился на Яик, где были сильны бунтарские настроения после недавнего выступления казаков. Хотя Пугачёв был мал ростом, но мысли имел большие – поднять бунт, какого ещё не бывало на Руси.

Прибыв на Яик, он остановился у казака Пьянова, и в этом доме сделал решающую пробу будущего предприятия. «Как узнали, что царь? Очень просто: жил он на Яике у простых людей, не в палатах, а в предбаннике. Каждую ночь, бывало, свечку перед образом затеплит и молится. Однажды хозяева и подслушали: читает он канун за здравный своему сыну, царя-наследника Павла Петровича величает своим рождённым чадом. Хозяев как-то колотушкой по лбу огрел, и разнеслась об этом слава по округе».

Идея самозванства тогда витала в воздухе. Внезапная смерть царя Петра III, едва вступившего на престол, породила в народе толки, что он чудесным образом спасся. К этому добавлялся слух, что царь «объявил волю» всем крестьянам, хотя объявленная им в действительности воля касалась только дворян. И Пугачёв был не первым самозванцем, у него оказались неудачливые предшественники.

Объявив себя у казака Пьянова Императором Петром III, Емельян Пугачёв, возможно, счёл свой поступок несвоевременным и уехал обратно в Малыковку, где его спутник Филиппов донёс о самозванстве Пугачёва начальству.

Правитель малыковской канцелярии, когда ему предъявили Пугачёва, увидел мужика-маловеска, помятого лапищами караульных, когда они его хватали. Пугачёва крепко били батогами

и отправили по этапу как заурядного преступника в Казань, не разглядев в нём злодея, который скоро сядет на белого коня, и вокруг него забулбят разбойные толпы, и народ станет почитать его государем Петром III, дарующим всем крепостным рабам укоренную у них дворянами волю.

Емельяна Пугачёва привезли в Синбирск поздним вечером 28 декабря 1772 года. На городской заставе сани остановили, проверили подорожную и записали имена приезжих. Попов был в Синбирске неоднократно, и дорогу среди снежных бугров и домишек знал хорошо. Вечер был морозным. Откликаясь на скрип полозьев по снегу и всхрапывание уставших лошадей, почувствовавших близкий отдых, запыленно лаяли собаки. Из печных труб вставляли ясно видимые на тёмном небе светлые дымы, в окошках домов предместья кое-где пробивались отблески света. Распахнулась дверь кабака, из него вывалился босой, в рубахе до колен, пьяный мужик. Засунув пальцы в рот, он засвистел, приплясывая и кривляясь.

– Загулял парень! – завистливо вздохнул Попов. – Слышь, Емельян, я поговорю с подъячим, так он постарается о тебе. Веселее, ему деньги нужны.

– Отпустите меня и поезжайте к отцу Филарету, он вам деньги отдаст.

– Эк, заладила сорока про Якова! А если денег нет, а тебя Митькой звали? Тут другая беда: поздно приехали, канцелярия закрылась, поедом на постоялый двор.

В большой избе с крохотными оконцами и закопченным потолком по случаю Рождества приезжих было много. Все они, завернувшись в полушубки и тулупы, лежали вповалку на грязном полу. Воздух в избе был спёртым и густым от сырых овчин и грязных мужицких тел. Пугачёв, запахнувшись в тулуп, лег на пол, рядом с ним устроились караульные.

«Куда-то теперь кривая выведет, – думал Пугачёв, погружаясь в тяжелый сон. – Было бы лето, ушёл хоть сейчас, а куда зимой денешься? Да и нездоров я, жар во всем теле, спина после батога как варом облита... На Яике можно было остаться, Пьянов ко мне с полным доверием. Нет, что-то толкнуло: уходи, не время ещё. Вот и попал, как баран...»

Постоялый двор просыпался рано. Да и какой отдых? Клопы одолевали, мужики всю ночь чесались, ворочались с боку на бок, редкий счастливец храпел так, что лампада на божнице того и гляди потухнет. Ещё темь на дворе, а все уже на ногах, кто пошёл к возам проверять, цела ли поклажа, кто примаскивался к столу с пирогом. Проснулся Попов, ткнул Пугачёва в бок: вставай. Тот открыл глаза, закричал, поднимаясь с пола.

– Пора тебя, Емельян, в канцелярию сдавать.

– Выгоду свою упускаете. Поезжайте к отцу Филарету...

– Эвон чего захотел! Слово за тебя подъячему замолвлю. Да, ты шубу свою здесь оставь, я после тебе принесу, а то в канцелярии с тебя снимут.

– Как я по морозу голый пойду?

– Не беда, канцелярия рядом.

И правда, синбирское управление судом и расправой было через два дома. В сенях Попов оставил Емельяна с Шмоткиным, а сам, сняв шапку, нырнул в дверь. Пугачёв прислонился к тёплому углу печи и закрыл глаза. Встреча с синбирским правосудием его страшила. Вдруг опять батогами бить начнут?

Попов высунулся из двери.

– Заходи, друг ситцевый!

В комнате за конторкой, на которой лежали бумаги, с гусиным пером за ухом стоял канцелярист Евграф Баженов, худой и костистый, с измождённым питием хмельного лицом. Взор у него был острый и горячий, на Пугачёва он посмотрел так пронзительно, будто ужалил.

– Экий махор! Прочитал про тебя – подумал увидеть льва рыкающего. А тебя соплей перешибить – плевое дело!

– Я пойду? – искательно спросил Попов.

– Иди! От нас голубь не улетит.

– А моя шуба? – Пугачёв взглянул на канцеляриста. – У меня шуба на постоялом дворе.

– Тотчас принесу! – Попов нахлобучил на голову шапку. – Жди, я сейчас! – И выскочил за дверь.

Баженов сделал несколько шажков по комнате, вернулся к конторке, достал из-за уха перо, почистил о свои волосы.

– Знаешь, что это? – спросил канцелярист и указал на тяжёлую скамью в углу и пук батоков.

– Знаю. Всю спину ободрали.

Баженов сделал задумчивый вид, пошелестел бумагами, затем огненно воззрился на Пугачёва:

– О тебе просят. Так есть ли у тебя деньги?

– Деньги у отца Филарета. Я напишу письмо, он мою руку знает...

– Интересно! Какой затейник! – Баженов вышел из-за конторки и приблизился к арестанту. – Ты грамоту знаешь? Вот тебе бумага, перо – пиши своё имя!

Пугачев опустил голову.

– Долгополов! – заорал канцелярист. – Поди сюда!

В комнату вошёл сутулый мужик с длинными руками, одетый в овчинную безрукавку. Встал напротив Пугачёва и посмотрел на него тяжёлым взглядом.

– Побудь с ним! Я схожу к правителю канцелярии.

Баженов схватил с конторки бумагу, сопровождающую арестанта, и скорым шагом вышел вон. У Пугачёва отпустило душу, он думал, что его сейчас бросят на скамью, но нет, обошлось.

Канцелярист скоро вернулся, встал за конторку, затем взмахом руки отослал Долгополова.

– Итак, денег у тебя нет, а если бы и были, то отпускать тебя не след! Ты на государя клепаешь! За это тебе базарная казнь кнутом и ноздри вырвут. Твоё дело ушло к воеводе Панову.

– Шубу мне надо, – сказал Пугачёв. – Попов шубу с меня снял, сказал, что здесь в канцелярии отнимут.

– Так и сказал?

– Его слова. Я поверил.

– Вот сволочь! – Баженов закипятился. – Вот говорят, что наш народ – баран. А этот Попов? У тебя шубу увёл, меня твоими деньгами заморочил. Ну, ладно! Армячишко я тебе найду, голым ходить не будешь. А Попову сотню батоков правитель тамошней канцелярии отвесит. Я ему напишу.

Долгополов подвёл Емельяна к камере, где была навалена куча одежды, взял рваный армяк и бросил арестанту. Затем они

вышли на оживлённую улицу, свернули за угол и оказались во дворе синбирской тюрьмы.

– Кто таков? – спросил, смрадно дыхнув на Пугачёва, тюремный смотритель.

– Держи за Баженовым, – велел Долгополов. – Без него никого к нему не допускай.

Пугачёва держали в тюрьме, не выпуская на улицу за подаванием. Но было Рождество, и в тюрьму от горожан поступали щедрые милостыни: рыба в разных видах, яйца, пироги с мясной и рыбной начинкой, с капустой, питьё – квасы ягодные и сбитень. Тюрьма на святках наедалась впрок, от пуза. У кого были деньги, те через караульных покупали вино. Смотритель на эти проделки не обращал внимания, ему от тюрьмы неплохо перепадало на вкусное житьё.

Бродяг и татей Пугачёв сторонился, выбрал себе место возле степенных мужиков, раскольников. Те, узнав, что Емельян с Иргиза от отца Филарета, расспросив и удостоверившись, что он знает многих из староверческого монастыря, приняли его в свой круг. Вечером, сблизившись головами, тихо разговаривали, а больше слушали бывальщины Антипа, обошедшего все раскольничьи обители в России.

– Зря болтают, что пря у анпиратора с Екатериной Алексеевной пошла из-за заморской принцессы. Гулял он, но не с принцессой, а с российской дворянкой, прозваньем, как бы не солгать, Воронцовой. Она была питерская, дочь какого-то енерала ли, графа ли, князя ли, – хорошенько не умею сказать, но то верно, что она была наша, а не заморская принцесса. Как донесли шапионы матушке-царице, что он прохлаждается на корабельной пристани с своей возлюбленной, с Воронцовой, она, царицато, не стерпела и сама туда побежала. Пришла к нему и говорит: «Не будет ли гулять? Не пора ли домой?» А он ей говорит: «Давно ли яйца стали курицу учить? Пошла домой, покуда цела!» Она было ещё заикнулась что-то сказать, да он не дал: затопал ногами, зацыкал на неё, она и убежала домой. Пришедши домой, созвала к себе Орловых, Чернышёвых и других, кто её руку тянул, подняла из церкви образа, отслужила Господу молебен, присугласила полков пять гвардии, привела их к присяге, да и наде-

ла на себя царскую корону и сделалась анператрицей, повелительницей всей анперии, замест Петра Фёдоровича. А на корабельную пристань послала строжайший именной указ ко всем корабельщикам, чтобы они отнюдь его к себе не принимали. А он, вишь ли, хотел с Воронцовой-то бежать на корабле в иную землю, знамо, к приятелю своему, прущкому королю, – ведь закадычные друзья были, – да не мог бежать: ни один корабельщик не взял на корабль, все застращены были. Царица-то в указе писала: «Кто де осмелится это сделать, – велю де того догнать и злой смерти предать!» Так он и остался на нашем берегу, словно сокол с подрезанными крыльями. А около дворца государыня караулы расставила, чтобы и близко не подпускали его, велела стволами бить. На другой день, под вечерок, он и взаправду пришёл было к ней, да караулы не дремали, не допустили его, едва-едва и сам-то ноги унес. Спервоначала бросился было опять на корабельную пристань, а и там получил то же, что и во дворце: знаешь, именным указом царица застращала корабельщиков. Куда деваться? Никуда больше, как итти переночевать в загородный дворец: там ещё этого дела не знали. И удалился он в загородный дворец. На другой день, помня присяжную должность, к нему приставали полк ли, два ли гвардии. С этими полками он и хотел супротивляться царице, однако сила её силу его преодолела. Она со всей гвардией и со всей артиллерией, а у него ни одной пушчонки не было, выступила супротив него, учинила с ним за городом стражение и победила – ловка была! А самого его в полон взяла, словно турка, и в том же самом загородном дворце под караул посадила. Какова? Нечего сказать, ловка. Посадимши его под караул, велела отпускать ему по царскому окладу жалованье, а воли ни на один пядень не давать, никуда за порог дворца не выпускать его и к нему никого не допускать, кроме троих прислужников, да караульного офицера. И тут же, при всех енералах и сенаторах, при всем духовном чине, обязала его подпиской, взяла с него по форме запись в такой силе, чтобы ему в царство не вмешаться, а быть бы век-по-веки отставным царём, а царствовать ей одной. Волей-неволей он и покорился, и дал за своей рукой такую за-

Антипа умолк и заворочался на полу.

– А далее-то что было? – нетерпеливо спросил Пугачёв.

– Далее? Погоди торопить, – сказал Антипа. – Вот только в шубу завернись, а то по полу дует.

– В ту пору, как он содержался в заключении, – продолжал Антипа, – близкие-то к государыне енералы и графы, эти Орловы и Чернышёвы и иные прочие ненавистники Петра Фёдоровича, разными обиняками советовали государыне известить его, чтобы, знаешь, не вышло чего после. Чтобы не было, знаешь, какой придирки от иных царей и королев, его сродников, особенно опасались прущкого короля Фридриха, – ведь приятель был нашему-то, Петру Фёдоровичу-то. Однако государыня, отдать ей справедливость, не поддалась, не согласилась. Да и как, в самом деле, согласиться на такое беззаконие? Ведь какой-никакой, а всё-таки он муж, а всё-таки он царь, помазанник Божий, дело великое! Да и царевич, Павел Петрович, был уже на возрасте... По этому самому она и берегла его, крепко сторожила, чтобы не вышло какой пакости от Орловых. И просидел он в заточении ни мало ни много – ровно семь годочков. Хоша он содержался и не в настоящей тюрьме, в каких содержатся колодники, а в палатах, и ни в чём не имел недостатку, примерно, ни в питьях, ни в яствах, ни в другом в чём, всего было вдоволь, однако несладко же ему было сидеть. Первое – царства лишился; второе – свободы не имел. Не мимо, видно, говорится: «крепка тюрьма, да чёрт ли в ней». На восьмом году уже вырвался из заточения и узрил свет Божий.

– Как же он вырвался? – спросил Пугачёв.

– Добрые люди помогли. Ведь и у него были кой-кто доброжелатели. Вот они-то и выручили его из заточения. Опоили ли чем сторожей, или подкупили казной, верно не умею сказать, а только одно знаю: добрые люди выручили его. Выбравшись на волю, он и бежал прямо к прущкому королю, Фридриху, да ничего от него не получил. «Есть когда не дал бы ты запись, я б беспременно за тебя вступился, – говорит Фридрих Петру Фёдоровичу, – ведь всё-таки, говорит, ты мне приходишься сродни маленечко. А теперича, – хошь гневайся, хошь нет, твоя воля, – ничего не могу в удовольствие твоё сделать, сам, чай, знаешь. Вот она, бумага-то печатованная, – говорит Фридрих, – ничего супротив неё

не подделаешь. Она, батенька, не в пример умнее нас с тобой, даром что женщина: на кривой лошади не объедешь. Взявши от тебя такую запись, чтобы тебе не вступаться в царство, она, – говорит Фридрих, – тот же день велела напечатовать её, да и разослала по всем царям и королям, чтобы всяк ведал, а ко мне, говорит, прислала две, мало, видно, одной-то. Вот возьми, читай! Пожалуйста, не проси меня: ничего не могу сделать, сам знаешь наши уставы: коль скоро кто из владык земных откажется от царства и даст в том на себя запись, то век-повеки должен оставаться без царства, по той самой причине, что царское слово свято, вовеки веков нерушимо, не нами узаконено. Есть когда, к примеру, я за тебя вступлюсь, – говорит Фридрих, – то на меня вся Европия запиает, а одному супротив всех итти нельзя. Советую итти к турку, – говорит Фридрих, – он орда, нехристь, для него закон не писан; може он не посмотрит на твою запись, да едва ли и есть она у него; а я, говорит, секретным манером, сколько смогу, буду вспомоществовать тебе и деньгами, и иным чем, в чём нужда будет, а армии, – говорит, – дать не могу». Вот такими-то словами и улещал Фридрих Петра Фёдоровича, – продолжал Антипа. – А на самом-то деле, толковать ли, его не запись страшила, а страшила сама матушка Катерина Алексеевна. Ведь она хоша и женского пола, а всех королей побивала: умна больно.

– А где он сейчас, Петр Фёдорович? – спросил Пугачёв, которого рассказ раскольника заинтересовал до сердечного колотья.

– Бог его ведает, – ответил Антипа, примащиваясь поудобнее. – Можа промежду нас, грешных, ходит.

Тюрьма гомонила: в одном углу ругались, в другом молились, в третьем плакали. Пугачёв всего этого не замечал и был погружён в думу. Он не ведал своего будущего, но чувствовал, что его захватило какое-то ознобное течение и несёт неведомо куда. Мысль объявить себя спасшимся императором Петром Фёдоровичем его уже не пугала, Емельян с ней сжился. Конечно, размышлял он, лучше бы стать мужицким царём Емельяном Первым, но наш народ – баран, ему царя подавай из иноземцев, своего ему на дух не надо.

Утром 31 декабря 1772 года за Пугачёвым пришёл канцелярист Баженов и с ним два солдата из гарнизонного батальона. Емельяна вывели во двор и толкнули в сани. Один солдат сел на передок саней, другой рядом с Пугачёвым.

– Трогайте, с богом! – махнул рукой канцелярист и огненно взглянул на Пугачёва. – А тебя, сирота, Казань с кнутом да щипцами ждёт!

-2-

В дороге Кротков оставил свои петербургские шалости: не играл в карты, не куролесил с попутными собутыльниками, но удержал себя только до Валдая. Там он попал в сети известных на всю Россию бесстыжих ямских девок, а те, как проводили, что он при деньгах, так заперли его в свою гулевую избу и в исподних портках держали отпускного гвардейца в плену, пока наскучивший ждать своего барина верный Сысой не выломал дверь и отважно не спас своего господина, истощённого питием хмельного и любовными игрищами, от неминуемой смерти.

Кротков посчитал, во сколько ему обошелся Валдай и ужаснулся – в карманах было пусто. Он долго смотрел на широкую спину Сысои, который, посвистывая, правил лошадьё, и отыскал выход.

– Сысой, а ведь не может быть, чтобы у тебя не было денег?

– Откуда, барин, у мужика деньги? – зябко поёжившись, ответил Сысой. – Что было, давно растряс.

– А ведь ты врешь, подлец! – вскричал Кротков. – А ну, останови лошадь!

Он спрыгнул с телеги и подошёл к её передку.

– Как тебе не стыдно, Сысой! Ведь у тебя за пазухой деньги есть, а ты, я знаю, решил меня уморить голодом. В этом селе, что мы проехали, бабы навязывали варёные яйца, можно было и петуха купить, котёл у тебя есть, так ты только на баб кнутиком замахивался, мол, прочь с дороги. Ну, что ты на это скажешь?

Сысой долго молчал, кряхтел и ёжился, наконец, разомкнул ржавый замок бороды:

– Нет у меня денег, барин.

Эти слова ужаснули Кроткова, но ещё крепче обидели, он шмыгнул носом, отступил от телеги на шаг и зачем-то обхлопал штаны.

– Я знаю, что ты от меня хочешь, ты решил надо мной позаваться, тогда я сейчас перед тобой преклонюсь!

Сысой оказался проворней, он успел так ловко упасть с телеги на землю, что барин встал коленями на мужичью спину.

– Я тебя не зашиб? – участливо спросил Кротков.

– Живой. А денег у меня девяносто копеек, для твоей барской милости это не деньги, но на хлеб до Москвы хватит, а как далее поедем, не знаю.

– Как не знаешь! – радостно вскричал Кротков. – Там живёт моя тётушка, покойной маменьки сестрица, Агафья Игнатьевна.

Москва встретила изрядно отощавших путников хлебосольно: бездетная тётушка от радости встречи с любимым племянником собрала такое богатое угощение, что у Кроткова глаза разбежались от обилия яств. Сысой усадили на кухне, и он там был удовлетворён кухаркой до отвала гречневой кашей с мясом и капустным пирогом. Лошади на конюшне насыпали овса, и она долго принюхивалась к невиданному для неё корму, пока решилась дотронуться до него губами.

Муж тётушки, майор артиллерии, воевал с турками, и Агафье Игнатьевне доставило большое удовольствие заботиться о племяннике. Она своим всеведующим оком сразу разглядела, что полковая служба не доставила ему зажитков, и он явился в Москву гол как сокол. И скоро у Кроткова появились свежие рубашки, несколько штанов, сапожнику было велено стачать для гвардейца сапоги, кое-что племянник получил и с майорского плеча, который растолстел, но его домашний халат был тётушкой сохранён и передан любимому родственнику. Кротков пробовал отнекиваться, но против столь настойчивой щедрости устоять было трудно.

Прошли две недели после приезда Кроткова, и как-то за утренним чаем тётушка ему объявила, что сегодня у неё будут в гостях сестра мужа с супругом, почтенным чиновником Сенатского суда.

– Он страх как любопытен, – предупредила Агафья Игнатьевна. – И всю Москву знает насквозь.

– Может быть, я побуду у себя или пойду, развеюсь? – попытался уклониться от встречи с гостями Кротков.

– Как можно! – запротестовала тётушка. – Я пообещала, что ты расскажешь о всех петербургских новостях.

– Но я их не знаю, – испугался Кротков. – Я даже в царицыных сенях был всего два раза, и то в карауле.

– Вот об этом и поведаешь, – обрадовалась Агафья Игнатьевна. – Нас, убогих, и до сеней не допустят, а ты, поди, и государыню видел?

– Как не видел, когда она мимо меня изволила прохаживать...

– Молчи до гостей! – прервала племянника тётушка. – Хочу услышать вместе со всеми.

«Что же такое ему соврать? – думал Кротков, лёжа в своей комнате. – Я государыню близко не видел, а этому старикашке, верно, хочется услышать про неё такое, отчего бы слюнки потекли... А что с ним станет, если я возьму да и скажу, как бежал из Петербурга в гробу? Усидит ли на стуле?»

К столу тётушка попросила надеть гвардейский мундир, и Кротков занялся его осмотром. Нашёлся распоротый шов, и он его зашил, то же сделал и с разболтавшимися пуговицами. Затем мундир был sprysnut водой, вычищен щёткой и разложен на спинке и сиденье стула. Он мог бы отдать эту работу слуге, но недавно взятый из деревни парень вряд бы с ней совладал. Ему Кротков доверил сапоги, с чисткой которых туповатый малый едва справился, и теперь они стояли рядом со стулом тускло отсвечивая ухоженной кожей голенищ и головок.

«На тётушкиных харчах я изрядно раздобрел, – отметил Степан, глядя на себя в зеркало. – От них да от дневного снажья рожу разнесло, как от простуды». Он побрился прадедовской бритвой, сполоснулся под рукомойником и ущипнул горничную девку, что проходила мимо. Та тихонько взвизгнула и едва удержала в руках дорогие глиняные блюда, которые несла из чулана в гостевой зал, где тётушка хлопотала вокруг круглого обеденного стола.

– Поторопись, Стёпа, одеться, – сказала, увидев его через открытую дверь, Агафья Игнатьевна, – Викентий Павлович всегда точен и свою Палагею Фёдоровну к этому приучил. А куда это твой Сысой каждое утро со двора выезжает?

– Я ему велел проминать лошадь, на дармовом овсе она раздобрела, а мне ещё ехать в деревню, – сказал Кротков, хотя домой его не тянуло, он от него отвык, а сидеть возле больного отца ему совсем не хотелось.

В своей комнате Кротков оделся, оглядел себя в зеркало и остался вполне доволен. Даже своё лицо показалось ему вполне приемлемым для Москвы, где не было соперничества друг перед другом в снискании внимания от ветреных придворных особ с затейливыми причёсками, обнажёнными спинами и повсюду распространяющимся галльским картавым щебетанием. Москва жила проще, здесь нельзя было спрятать свою худость за вертялыми манерами, вес человека в обществе определяло число имевшихся у него душ, перед богатством сникали и учёность, и заслуги перед отечеством.

Близко к обеду, стоя возле окна, Кротков с интересом разглядывал, как прачка, подоткнув выше некуда подол платья, моет возле бочки с водой свои длинные и ослепительно белые ноги. К ней подошёл, сияя улыбкой, молодой кучер и что-то ей сказал. Баба рассмеялась и начала плескать в него водой. И вдруг прачка присела за бочку, а кучер спрятался за воротами конюшни. Кротков недоумевал, что нарушило столь приятную глазу сценку, но тут же нашлась причина: в тётушкин двор въехала коляска, запряжённая парой лошадей, что говорило о том, что приехавшие особы занимали в табели о рангах место не выше девятого классного чина или титульного советника.

К коляске поспешил переодетый по случаю приезда гостей в ливрею приказчик и, кланяясь, стал простирать руку в сторону крыльца, где в робе и накинутой на плечи шали стояла Агафья Игнатьевна. Кротков понял, что пора и ему показаться гостям, покинул комнату, и сошёлся с ними в гостевом зале.

Викентий Павлович, хотя и имел невысокий чин, наружностью был похож на генерала статской службы, имея вальяжные манеры и те особые тембры в голосе, что заставляют трепетать

лиц подчинённых и потому безответных. Его вполне безмятежное существование отравляло лишь одно обстоятельство: судейский чиновник в Петербурге, занимавший равно такую же должность, как он Москве, имел классный чин на ступеньку выше, и жалованье у него было больше. В этом Викентий Павлович усматривал несправедливость, учинённую непосредственно против него и, найдя слушателя, тиранил его до бесконечности обличением неправд, и в представленном ему гвардейском солдате Викентий Павлович сразу же усмотрел свою жертву.

– Какой статный молодец! – величественно вымолвил титулярный советник, когда Агафья Игнатьевна представила гостям племянника. – Я слышал, что ты в отпуске?

– Так точно, – щёлкнув каблуками, доложил Кротков. – Уволен на год для поправки здоровья.

– Здоровье – вот что вперёд всего нужно беречь человеку, – значительно произнёс гость. – Надеюсь, ты благодарен начальству?

– От всей души! – выдохнул Кротков, с некоторой оторопью глядя на титулярного сановника. – Его высокоблагородие капитан Корсаков при моём отъезде из Петербурга изволил мне дать самую отменную аттестацию.

Агафья Игнатьевна с гордостью посмотрела на племянника и сделала приглашающий жест рукой:

– Прошу к столу!

Пока гости усаживались, Кротков успел рассмотреть Палагею Фёдоровну, которая при величественном супруге смотрелась незаметно, как курочка-несушка возле изукрашенного блистающим многоцветием перьев петуха. Круглое лицо гостьи было добродушно и улыбочиво, говорила она осторожно и с расстановкой, но в глазах иногда вспыхивало смешливое лукавство, которое она тотчас гасила помаргиванием пушистых ресниц.

Всё это тотчас увидел и оценил поднаторевший наблюдать за людьми в карточных баталиях гвардеец и напрягся, глядя на гостя, как банкомёт, готовый сунуть понтеру меченую карту.

Но Викентий Павлович, двигая челюстями и ушами, расправлялся со свекольной на холодном квасе ботвиньей и ничего во-

круг себя не примечал. Опростав блюдо, он достал большой цветной платок и утёр губы и подбородок.

– Нет, ни у кого не сыскать такой знатной ботвиньи, как у Агафьи Игнатьевны, – произнёс Викентий Павлович. – Разом притушила во мне жар, что вспыхнул от чарки доброй очищенной.

Агафья Игнатьевна зарделась от похвалы, а лакей наполнил чарку гостя одобренной водкой.

– Мы здесь, на Москве, живём как в каменном погребе, – произнёс Викентий Павлович, оценивая приглядываясь к гвардейцу. – Ничего-то мы не видим, ничего-то мы не слышим. Про войну с турками знаем лишь по тем известиям, что раз в полгода доставляет нам Пётр Николаевич. Может, есть от него, Агафья Игнатьевна, свежие новости?

– После тех, что получила на Пасху, не бывало, – сказала, заметно опечалившись, хозяйка.

– Ну-с, так что в Петербурге слышно? – обратился Викентий Павлович к Кроткову. – Скоро ль первопрестольная озарится победными фейерверками? Или победу отпразднуют в Петербурге, а про нас забудут?

«Вот и начал меня допрашивать», – подумал Степан. – «Что ж, сдам ему шестёрку».

– Мне известно о турецких баталиях меньше вашего, дядюшка, – почтительно промолвил он. – Солдатская служба не даёт помечтать о чём другом, кроме как о ней самой.

– Уж больно ты застенчив, Степанушка, – не удержалась от похвалы Агафья Игнатьевна. – Он, хоть и солдат, да не каждого солдата ставят сторожить царские сени.

Викентий Павлович был ведомый судейский выжига, и простодушная радость хозяйки его весьма позабавила.

– Вот как получается, – промолвил он с серьёзным видом. – Ты, Степан Егорович, близ великой государыни бываешь. Случайно не замаяли там тебя ночные посетители? Чай, их немало там толпится?

Хладнокровие игрока покинуло Кроткова. Викентий Павлович сдал ему такую карту, которую ему бить было нечем: разговоры про амурные шашни государыни были под великим запре-

том, виновные в них сразу попадали в Тайную канцелярию, в лапы мрачного кнутобойца Шишковского, а затем их следы обнаруживались в Пелыме или на Камчатке.

Выручил своего барина из щекотливого положения верный Сысой: он, оттолкнув слугу, вбежал в гостевой зал и грохнулся на колени.

– Горе, свет ты наш барин, Степан Егорович! – прорыдал мужик, обливаясь слезами. – Тако горе!..

Гости были ошарашены этим приступом, даже бывалый Викентий Павлович замешкался, и тут явил свой дворянский нрав Кротков. Он схватил Сысою за грудки и так встряхнул, что поднятый над полом мужик взболтнул лаптями.

– Говори, где стал пьян?

– Трезв я, батюшка, – слезно вымолвил Сысой. – А не в себе я оттого, что старый барин Егор Ильич отдал Богу душу.

Все были известием поражены, хотя оно не было неожиданным: после кондрашки редко кто долго жил.

– Успокой господи душу раба твоего Егория Ильича, – оборотясь к образу Спасителя и осенив себя крестным знамением, прошептала Агафья Игнатьевна, а громче добавила:

– Прибрал господь изверга! Как он измывался над моей сестрицей, своей супругой, только ему самому было известно.

Степан этим заявлением тётушки не смутился, он сызмала участвовал в семейных баталиях на стороне матери, и ему крепко перепало от родителя – то пинок, то зуботычина.

Он об отце не сожалел и озаботился другим – откуда Сысою стало известно о смерти старого барина.

– Я выехал промять лошадь, – ответил, по-прежнему стоя на коленях, Сысой. – Подъехал к торгу и пошёл присмотреть кожаный ремешок для починки упряжи. В сбруйном ряду встретил Макара Улыбышева, он и поведал мне, что случилось несчастье.

– А кто этот Макар? Откуда он знает, что батюшка скончался?

– Он же твой крестьянин, Степан Егорович, – удивлённо ответил Сысой. – Разве ты про него не знаешь?

– На что мне знать всякую обмурзанную харю! – вскипел Кротков. – Ты говоришь, что сей Макар у меня в крепости, так что он на Москве поделывает?

– Оброк для тебя, господин, копит, – сказал Сысой. – Макар Сидорович – знаменитый сбруйный умелец, шьёт такую упряжь, что перед ним самые именитые бары в очередь стоят.

– Хватит на коленях по полу елозить! – радостно вскричал Кротков. – Беги за этим Макаром и скажи, что я его требую.

Сысой поднялся с колен и указал на дверь:

– Он на крыльце, ждёт твоего слова, барин.

Кротков, услышав новость, так возрадовался, будто сорвал банк в тысячу рублей. Так оно и было: обретение оброчного мужика сулило скорое наполнение пустого кошелька барина полновесным золотом. Шорник, известный всей Москве, заведомо имел немалые зажитки, и растрясти их Кротков восхотел сейчас же, пока Макар был рядом.

Викентий Павлович прислушивался к разговору между мужиком и барином с сугубым вниманием: он думал, что не ошибся, определив гвардейца шалопаем, но увидев, как тот на его глазах возрос до владельца трёхсот крепостных душ, и у него есть раб ценой не меньше, чем в тысячу рублей, стал к нему благосклонен.

– Ежели Степан Егорович, – значительно откашлявшись, сказал титулярный советник, – до тебя коснутся тяжбы по наследству, то готов услужить родственному человеку по мере моих возможностей.

Но Кроткову было не до его услужливости, он толкнул двери и через мгновение был на крыльце.

– Ты и есть мужик Макарка Улыбышев? – спросил он склоненную перед ним в рабьем поклоне спину.

– Так и есть, кормилец, – ответил, вставая на ноги, шорник. – Покойный барин Егорий Ильич был всегда мной доволен.

– Как знаешь, что он умер?

– Мой старший парень Кондратка вчор прибыл из Кротковки и сказал, что старого барина схоронили.

Кротков сошёл с крыльца и, приблизившись к Макару, строго на него взглянул.

– Какой на тебе оброк?

– Триста рублей, барин.

– Вот мне они нужны, сейчас же. И будем считать, что за этот год ты расчёлся. – Кротков нетерпеливо топнул ногой.

Улыбышев недовольно крикнул, достал из-под полы кошель, вынул оттуда бумагу и протянул барину.

– Что ты мне суешь?

– Поручная расписка бурмистра Корнея, что триста рублей серебром им получены в счёт оброчного платежа за этот год. Так что долга на мне нет.

Кротков прошёлся возле крыльца, раздумывая, что ему предпринять, а Макар загадочно поглядывал на огорошенного барина. «Молод ещё, чтоб на мои деньги рот разевать, – думал мужик. – Мне они даром, как ему, не даются».

На крыльцо вышел Викентий Павлович и стал по нему неторопливо прохаживаться. Обед не удался, и он был этим недоволен.

– Врёшь, Макар, что у тебя нет денег! – сказал Кротков. – Я вот тебе сейчас продам то, что ты непременно купишь и заплатишь ту цену, что я объявлю.

– Что за товар у тебя, барин? – нехотя спросил шорник.

– Твоя, раб, воля.

Макар опешил, выпучил глаза и глухо вымолвил:

– Какова твоя цена, барин?

– Сейчас тысяча рублей, завтра – две тысячи.

Улыбышев упал на колени и, схватив руку барина, принялся её целовать.

– Что ты меня лижешь, – нетерпеливо сказал Кротков. – Беги за деньгами, пока я не передумал.

– У меня и половины таких денег нет, – вскричал Макар. – Но до вечера я найду всю тысячу! Меня добрые люди знают и поверят в долг!

Шорник, не оглядываясь, подбежал к своей телеге, вспрыгнул на неё и, стоя во весь рост, погнал лошадь вскачь по Москве.

– Поторопился ты, Степан Егорович, – промолвил титулярный советник, подойдя к Кроткову. – С него очень можно было и две тысячи взять.

И тут гвардеец опять удивил многомудрого судейского чиновника: он глянул на него шалыми глазами и расхохотался.

– Одна или две тысячи – разве это деньги? Миллион золотом – вот это уже богатство!..

-3-

Разгульная столичная жизнь не насквозь выхолодила чувства Степана Кроткова, и, когда телега въехала на бугор, с которого стала видна деревня и рядом с ней, на берегу небольшого озера, господская усадьба, он почувствовал в душе лёгкий трепет, будто её обдуло тёплым вешним ветерком. Сверху деревня казалась прелестной акварелью, нарисованной кистью талантливого художника, но когда телега спустилась с бугра, это видение исчезло, под колёсами захлюпала вонючая грязь, на приежих набросились полчища зелёных мух, и все собаки деревни почли за обязанность на них оскалиться и облаять.

– Куда люди подевались? – недоуменно спросил Кротков своего возничего.

– Где им быть, как не в поле, – ответил Сысой. – Твой хлеб, барин, жнут.

Они проехали мимо старого и ветхого храма и повернули к усадьбе. Здесь дорога была суха, вдоль неё росли берёзы и осины, которые пошумливали, будто приветчали качанием веток приезд своего хозяина.

«Не всё так худо, – подумал Степан. – Главное – я доехал, не потерялся в дороге, а то ведь в том же Валдае чуть не запропал навсегда».

– Ты вечером ко мне явись, Сысой, – сказал он. – Пожалую тебя рублём и приданым твоей дочери.

– Благодарствую, господин, – обрадовался мужик. – То-то мои бабы возрадуются твоей щедрости!

Господский дом стоял чуть в стороне от хозяйственных построек, это была длинная хоромина, без фундамента, построенная из толстых брёвен, не обшитых досками. Крыша местами была покрыта мшистой зеленью, крыльцо не радовало

взгляд своим старым полинялым деревом, окна дома были малы и многие закрыты ставнями.

Появление нового хозяина усадьбы не прошло незамеченным для её обитателей. Из дверей дома выглянула старуха, затем появился старик в сапогах и круглой шляпе. Это был бурмистр Корней, правая рука покойного барина. Он бодро сбежал по ступеням и, всхлипывая, упал на колени перед Кротковым.

– Слава те, господи, дождались! Беда у нас превеликая – твой батюшка Егорий Ильич скончался!

Кротков не мог переносить вида плачущих, особенно мужиков, и грозным словом осушил слёзы Корнея:

– Будет врать, старик, что ты убиваешься по моему родителю! Ты ревёшь белугой от того, что страшишься потерять своё место, и в этом ты прав. Я ещё не решил, где тебе быть: подле меня или пасти гусей на задворках.

Обойдя Корнея, Кротков стал подниматься на крыльцо, оно было построено по-старинному: боковые стороны наглухо забраны досками, в правой его части находилось ретирадное место. Кротков зашел туда и справил малую нужду.

В доме за время его отсутствия ничего не изменилось; через просторные сени он вышел на господскую половину, которая открывалась залом, где принимали гостей по праздникам и устраивали застолья в дни семейных торжеств. Главное место здесь занимал большой стол, обставленный стульями. Всё это было сделано из дуба, хоть и неказисто, но прочно. Потолок зала был выкрашен охрой, стены обиты обоями, панели покрыты мелом на клею. Щеголеватыми иностранцами смотрелись два ломберных столика из красного дерева. В углу находилась изразцовая печь красивой формы, с уступами в несколько этажей и колоннами. Напротив неё, в другом углу, стоял шкаф с лучшей посудой, которой редко пользовались, и фарфоровыми китайцами. Степан посмотрел на них с умилением, в детстве его мечтой было поиграть ими, но это случалось редко и то по случаю хорошего настроения родителя. Один из китайцев, самый большой, сидел в бочке, выглядывая оттуда преобширным пупастым брюхом. Степан легонько тронул его пальцем за голову – фигурка, покачиваясь, стала позванивать. Словно откликаясь на этот звон,

заиграли куранты стенных часов, впадинка в циферблате ожила, в ней возникли три голых мальчика и стали вокруг себя поворачиваться, отражаясь в большом зеркале на противоположной стене.

За спиной хозяина робко кашлянул, давая знать о себе, Корней.

— Я, барин, готов отчитаться за твоё добро и явить книги.

— Что мне на них глядеть? — недовольно сказал Кротков. — У тебя, знаю дело, там всё сходится, нолик к нолику, палочка к палочке. Ты яви мне наличные деньги. Или их нет?

— Как им не быть? Всё под замком и восковой печатью. Как их Егорий Ильич положил туда, так они там и лежат, тебя дожидаются, а сколько их там, не знаю. Изволь, батюшка, принять ключ от своей казны.

В комнату родителя Степан вошёл один и сразу поперхнулся от застоявшейся вони. Помещение никто не проветривал и не мыл с тех пор, как отсюда вынесли покойника. Сундук стоял рядом с кроватью. На первый взгляд — дубовая колода, часто спеленатая железными полосами. Кротков опустился перед ним на колени, открыл замок, поднял крышку и взял лежавший наверху бумажный свиток.

Это было завещание, несколько листов пронумерованной плотной бумаги, исписанных неуверенной рукой неровными буквами. Верхнюю часть завещания с дотошным перечислением размеров земли, межевых знаков, строений и прочей недвижимости Степан пропустил и обратился к тому, что его больше всего интересовало, к наличности.

«...оставляю тебе, сын Степан, в золоте и серебре полторы тысячи рублёв, всё, что у меня есть, а также шесть блюд больших, шесть малых, шесть чашек позолоченных по серебру, четыре золотых кольца, голых, и три перстенька, золотых с алмазами, а также пять образов святителей в золотых окладах с камнями, каждый из них потянет рублёв на двести или поболее того, и медный позолоченный крест, которым владел твой пращур, что сел на этой земле во времена недолгого царствования Василия Шуйского.

Сберегай нажитое мной строгим доглядом за подлыми людьмишками и не слушай, что говорят умники, кои вывезли из чужих краев ересь, дескать, помещики тиранят своих рабов. Какие же дворяне тираны? Это в старину тираны бывали некрещёные и мучали святых: посмотри сам в «Четьи-минеи», но наши мужики ведь не святые; как же нам быть тиранами? Мужики нищи, голы — экая беда! Надо ли, чтоб мужики богатели, а дворяне скудели? Да это и сам господь не приказал: кому-нибудь одному богатому надо быть, либо помещику, либо крестьянину: не всем же старцом в игумнах быть. А крестьянишкам только дай слабину, они такое затеют, что и Разин покажется святым угодником.

Наши пращуры были богаты, да твой дедушка стал с попами водиться, а тем только того и надо, запугали его грехами, а дом у него был полная чаша, да попы ее процедили. Ты с попами знайся, да берегись: их молитва до бога доходна, а для тебя убыточна. Больше чарки вина и трех копеек попу за молебен не давай, не потворствуй корыстолюбию.

Остерегись особливо, сын, твоего дяди Парамона Ильича, он слезлив и медоточив, но ухватки у него волчьи, враз оттяпает от твоего добра кус, и поминай как звали. Он мне тут все уши законпатил воеводской племянницей, нашел тоже диво-дивное! Ей под тридцать лет, на что тебе яловица? Ни денег за ней, ни земли, так что остерегайся Парамона Ильича, и дольше жить будешь...»

Дальше Кротков читать не стал, пробежал окончание завещания мельком, ничего существенного не увидел, одни покаянные и жалостливые слова, которые молодому и здоровому гвардейцу знать не хотелось. Из сундука он ничего не взял, закрыл крышку, отряхнул от пыли штаны и прошёл в комнату матери через дверь, которая была возле большой печи и грела оба помещения. Здесь в глаза бросались множество образов и древний киот с неугасимой лампадой, занимавший весь передний угол. Сплошные ряды образов прерывались пустым местом.

— Где отсюда икона? — спросил Кротков, зная, что бурмистр его слышит.

— Парамон Ильич собственной рукой снял образ, — тихо доложил Корней.

– Когда это было?

– В тот же день, как госпожа отошла... – Корней помедлил. – Стол накрыт, Степан Егорович. Не изволишь ли откусать с дороги, да не обессуди, всё сделано на скорую руку.

– Погоди, старик. А что, дядюшка здесь часто бывает?

– Да каждый день, – вздохнул бурмистр. – Вот завечереет и, как пить дать, явится.

– Что же ему тут делать? – удивился Кротков.

– Меня учит.

– Ну, и чему тебя вчера учил Парамон Ильич? – усмехнулся барин.

– Всю эту неделю наставлял, как рожь жать, да обмолачивать. Нешто я, батюшка, не ведаю, как это делается без его науки?

На столе была деревенская снедь: варёные яйца, сметана, молоко и хлеб. Корней подождал, пока барин усядется, и подал серебряное блюдо, на котором стояли графинчик с водкой и малая чарка. Кротков покосился на хмельное и отодвинул его в сторону: в дороге он дал себе клятву не пить вино, пока не обретёт настоящее богатство, чтобы во хмелю мимо него не пройти. Если верить проклятой карге Саввишне, то он уже сидит близ него. Эта мысль заставила его посмотреть на бурмистра со всей серьёзностью.

– А что, Корней, – сказал он, запив яичную и ржаную сухоматку холодным молоком. – Не слышал ли ты от людей о каком-нибудь кладе, зарытом в здешних местах?

– Не слышал, батюшка, – почтительно ответил старик, недоумевая, с чего это барину вздумалось расспрашивать о кладе. – У меня нет времени для досужей болтовни, с каждого утра столько забот наваливается, что иной день и лоб перекрестить забываю.

– Тогда сыщи мне знающего человека, – сказал, вставая от стола, Кротков. – И представь мне его, да не забудь про это.

– Не изволишь ли отдохнуть, батюшка? Твоя комната прибрана и проветрена.

Кротков зашёл в свою спальню, сел на кровать, и Корней ловко снял с него сапоги, кинулся расстёгивать кафтан, но Степан отстранил его рукой.

– Будет, старый! Не по годам ты взялся за это дело. Объяви Сысою, что я жалую его своим гайдуком, выдай ему одежду по чину, сапоги, и пусть он явится на господскую половину.

Оставшись один, Степан лег на кровать, обвёл взглядом комнату и ни одно воспоминание о днях юности не всколыхнулось в его заскорузшей от солдатской службы душе. Да и что было вспоминать? Трепетание перед грозным родителем, который каждую субботу жаловал его несколькими ударами плетки иногда за дело, а чаще на всякий случай, чтобы не забывал родительскую власть?

В комнате ничего за годы его отсутствия не изменилось: те же обои, столик, за которым он, бывало, с красными от отцовской руки ушами, глотая слёзы, переписывал на сотый раз прописи, те же пепельно-серые панели, на которых сохранились следы его грязных пальцев, даже паутина в верхнем углу осталась та же. Он с любопытством к ней пригляделся. Может, вынырнет из своей захоронки паучок-долгожитель, за чьей работой в былые дни барчук от безделья наблюдал по утрам, когда солнце освещало этот угол комнаты.

Паук, видимо, подрёмывал в своей нитяной качалке, а из щели вылез таракан и, шевеля усиками, побежал по потолку. Степан присмотрелся: надо же, в солдатской избе бытовали жёлтые поджарые пруссаки-рысаки, и здесь, в двух тысячах вёрст от столицы. «Скоренько же они добежали сюда из своей Пруссии, – усмехнулся Степан. – Теперь от них нигде спасу не будет».

Зачастую мысли Кроткова приобретали прихотливые зигзаги. И сейчас ему, неведь отчего, подумалось, что в деревне он долго не заживётся, а подастся куда глаза глядят. Может быть, продаст имение, вдруг за него тысяч десять дадут, с этими деньгами можно в Париж нагряться, там, говорят, всегда большая игра, почему бы и не сорвать банк в миллион золотом, половину прогулять, а на пятьсот тысяч закупить себе деревень с пятью тысячами мужиков. Убаюканный этими сладкими мечтами, Степан задремал.

Проснулся он от громкого шума в гостевом зале. Дядюшка Парамон Ильич наставлял Корнея на путь, который он почитал истинным. Бурмистр даже не пытался вякнуть в ответ, чтобы

ещё крепче не распалить гостя. Кротков проморгался, протёр ладонями щеки, ощутив их небритость, и вышел из комнаты.

– Степанушка, разлюбезный ты мой племянничек! – воскликнул Парамон Ильич. – Утешил ты, братец, старика, приехал, а мы братца Егория Ильича схоронили, вот такие у нас слёзные новости. Что же ты не успел? Или прохвост Сысойка где-нибудь загулял? Тогда пошли его на конюшню, и пусть его выдерут, как сидорову козу!

Корней, воспользовавшись тем, что его оставили в покое, улизнул из зала, но скоро явился с серебряным блюдом, на котором стояли графин с вином и две чарки. Дядюшка это сразу узрел и оживился, поскольку страх как любил угоститься чужим.

– Что ж, со встречей, Степанушка! – и он цепко ухватил графин за горлышко. – А мы, горемычные, это лето только тем и занимались, что упокоивали своих кровных родственников.

– Я благодарен, дядюшка, благодарен тебе самым сердечным манером за твою помощь, – сказал Кротков, поднимая чарку с некоторым на себя неудовольствием: дал зарок и собрался выпить. Но что делать, утешил он себя, на Руси все зарок невыполнимы, потому что всегда найдётся причина окунуть губы в чарку.

– Если ты, племянник, имеешь на уме те сто рублёв, что я тебе послал с Сысойкой, – сказал, опрокинув в рот содержимое чарки, Парамон Ильич, – то сто тридцать рублёв я с тебя возьму, и не обессудь, таковы мои правила.

Простодушие деревенского процентщика позабавило Кроткова, он долги не отдавал и считал расчёт по займу дурной привычкой простофиля и растяп, но притворно опечалился:

– Стало быть, сто тридцать рублёв? Я-то было решил, что получил с мужиком от тебя, дядюшка, подарок.

– Ты что, Степан, в своем полку читать разучился? – встревожился Парамон Ильич. – В письме я прописал все условия возврата денег.

Бурмистр с интересом прислушивался к барской беседе и, поймав брошенный на него хозяином лукавый взгляд, одобрительно крякнул.

– Нечего уши растопыривать, старый сыч! – намахнулся на него Парамон Ильич. – Ступай отсель!

– Иди, Корней, но будь за дверью! – велел хозяин и, дождавшись, когда бурмистр выйдет, с любопытством взглянул на родственника. – Я за собой долга не признаю.

– Это ж почему так? – даже привстал от неожиданности Парамон Ильич. – Сысойка – свидетель этого дела.

– Ты, дядюшка, возмечтал, что раб покажет на своего хозяина? – удивился Кротков. – Но кончим это дело полюбовно: ты, как это помягче молвить, взял из матушкиной комнаты образ Николы Угодника в золочёном окладе с камнями, а он рублёв триста стоит.

– Не брал! – вскинулся Парамон Ильич. – Меня им твоя матушка благословила.

– Может, позвать Корнея? – спросил Кротков.

– Зачем мешать в это дело мужика! – запротестовал Парамон Ильич. – Я не вспомню толком, как всё было. А сейчас некогда, ко мне должен товарищ воеводы заехать.

Дядюшка, не прощаясь, устремился к крыльцу. Кротков вышел за ним следом.

– Сдается мне, что я навсегда утратил дорогого гостя, – сказал он. – Дядюшка не на шутку осерчал.

– Как бы не так! – с горечью произнёс Корней. – Подуется, посопит, а через неделю явится как ни в чём не бывало.

– И вновь тебя начнет учить, как хозяйствовать? А ты, Корней, от него прячься и не попадайся ему на глаза.

– Легко сказать – прячься, – проворчал бурмистр. – А ты, батюшка, поостерегись Парамона Ильича, он не мытьём, так катаньем всегда своего добьётся.

Вечером, когда Степан уже примеривался к своей кровати, чтобы завалиться на неё почивать, к барину явился Сысой. Бурмистр не пожалел хозяйского добра и одел холопа в чёрный суконный кафтан, жёлтые штаны, в которых барин признал свои, оставленные им дома перед уходом в полк и обильно смазанные дёгтем яловые сапоги. На голове у новоявленного гайдука была красная суконная шапка с далеко выступающим заостренным козырьком.

– Что ж, Сысой, – сказал Кротков, – одежда на тебе справная, будешь жить подле меня. Ты доволен?

– Как, барин, велишь, так и будет.

– Молодец! – похвалил Кротков. – В армии не служил, а отвечаешь, как солдат. К утру под меня и себя подготовь добрых коней, поедем прогуляемся по округе. И вот возьми обещанный рубль.

– Благодарствую, барин. – Сысой взял рубль, но продолжал выжидающе глядеть на господина.

– Помню о дочкином приданом и не забуду. Как она заневестится, то всё у нее будет. Сколько ей лет?

– Пятнадцать на Покров день.

– В самый раз замуж идти, – сказал Кротков. – А ты в каких годах?

– Тридцать один стукнуло, – поклонился Сысой.

– Я думал, тебе уже за сорок. Бородищу вон какую носишь, а гайдуку это негоже.

– Что ж, мне теперь голым ходить? – испугался Сысой. – Помилуй, барин, с бритьем я не справлюсь, да и люди засмеют.

Кротков покопался в своём походном сундуке и вынул оттуда ножницы. Увидев их, Сысой в ужасе отпрянул к стене.

– Пощади, барин, верой-правдой буду служить, только не режь бороду!

– Я у тебя всю её не возьму, – приступая к гайдуку, сказал Кротков. – А тебе для твоего мужицкого счастья хватит и вершка волосев.

Он ухватил Сысою за бороду, вывел его на свет от свечи и обкорнал столько волос, сколько попало под ножницы.

-4-

Кротков ещё не утратил солдатской привычки просыпаться до света и, хотя вместо побудки полкового трубача раздалось хрипкое и протяжное мычание коровы, к которой тотчас пристали и другие бурёнки, он поднялся с кровати, посмотрел в запо-

тевшее окно и, обув на босу ногу сапоги, отправился в ретирад-ное место.

Бурмистр Корней был уже на ногах. В круглой шляпе и кафтане он стоял возле крыльца и покрикивал на баб, которые опаздывали на дойку.

– Пора коров на пастьбу выгонять, а вы от мужиков отлипнуть не можете!

– А когда нам время подышать с мужиком вровень, как не на коровьем реву! – раздался молодой и задорный голос. – Ты, Корней Силыч, разве не таким был, пока имел силу на баловство?

Вокруг было туманно, обильная роса вымочила траву, деревья, строения усадьбы, воздух был тоже сырым и скрадывающим голоса и звуки. Мимо крыльца из огороженного загона вершний мужик прогнал господских коней на водопой к озеру. От поварни потянуло горьковатым дымком и душком перекипченных вчерашних щей.

– Как почивалось, батюшка Степан Егорович? – почтительно приветствовал Корней появившегося на крыльце господина.

– А ты что, не спал? – сказал, зябко поёживаясь, Кротков.

– Как не спал, батюшка! Да какой сон в мои годы: то там за-ноет, то там засвербит, а как встану на ноги, так всё пропадает.

– Ты не запамятовал, Корней, что я тебе вчера велел узнать? Сыскал ли знающего человека?

Бурмистр с ответом помедлил; его смущала настойчивость, с какой, едва приехав в усадьбу, молодой барин заговорил о кла-дах, о которых в Кротковке и слыхом не слыхивали. «Все ли с ним ладно? – с тревогой подумал старик. – Петербург не одну дворянскую голову закружил до умопомрачения. Молодой барин Олсуфьев как побывал там, так стал по-немецки заговари-ваться. Ужели и с нашим господином такая же беда приключи-лась?»

– Что ж ты молчишь, как камень? – начал сердиться Кротков. – Если не сведал, так то и скажи!

– Коли уж так неволишь, то скажу: живёт в Чёрном лесу ста-рик по прозванию Савка-бог, если он не укажет заповедные кла-ды, то другому некому.

– Что за чудное у него прозвище? – заинтересовался Кротков.
– Разве можно человека называть богом?

– Не ведаю, барин, его и спроси. А Сысой тебя к нему проводит, наши бабы, да и мужики, к этому Савке уже тропу натоптали.

К крыльцу, держа в поводу оседланного коня, подъехал Сысой. Бурмистр, как увидел его подстриженную бороду, так и удивился:

– Да ты теперь наравне с молодым парнем глядишься, Сысойка!

– Он уже не мужик, а мой гайдук, – объявил Кротков. – Вели, Корней, чтобы и кормили его не как всех дворовых людей и во всякий скоромный день давали добрый кусок мяса.

– А что, господин, в постный день велишь подавать Сысойке? – бурмистр, скрывая усмешку, склонил голову в поклоне.

– Не заносись, старик! – нахмурился Кротков. – И с этого часа без моего ведома Сысой не касайся. А теперь ступай по своим делам.

Он вернулся в дом, оделся, съел приготовленные на столе варёные яйца, выпил большую кружку молока со свежеспечённым хлебом и вышел из дому. Конь от него чуть шарахнулся в сторону, но Кротков не позволил ему забаловать: вскочил в седло, дал почувствовать удилу и направил в сторону ворот. Сысой двинулся следом, он был весьма горд своим возвышением до гайдука и снисходительно поглядывал на дворовых мужиков, которые снимали шапки с голов и согнулись в рабьем поклоне перед хозяином, а, значит, и перед ним, Сысойкой, поскольку он ехал, отставая от барина всего на половину своего коня.

Туман над озером ещё не развеялся, но в нём уже имелись большие прогалины, и было видно, как там поныривают и помахивают крыльями, готовясь встать на крыло, почувствовавшие силу для осеннего перелёта утки. Кротков не был охотником, вся его страстная натура была отдана картёжным баталиям, но и у него зазудило на душе взять в руки ружьё и проверить дробью пернатую броню уже готовой для промысла дичи.

– Ты знаешь, где живёт Савка-бог? – спросил он своего спутника.

– Это здесь каждому ведомо, – ответил Сысой. – За той горой начинается Чёрный лес, там его изба.

– Веди меня к нему, – велел Кротков. – А ты сам к нему ходил?

– Не доводилось, а мой брат хаживал. Однажды у него кобыла запропала, искали да не нашли. Грешить начали на татар, что они свели кобылу на махан. А Савка-бог глянул в ковш с ключевой водой и сразу её увидел.

– И нашлась лошадаёнка? – заинтересовался Кротков.

– Забрела в овраг и не смогла выйти. Там и отыскалась.

На горе Сысой остановил своего коня и указал на необъятно простирающийся вниз лес.

– Видишь, барин, справа дымок вьётся? Это и есть жилище Савки-бога.

Они спустились вниз, перешли вброд через широкий ручей и сразу попали на тропу, бежавшую между высоченных и прямых, как золочёные струны, сосен.

– Что за дивный лес! – не сдержал своего восхищения Кротков. – Я столько лет жил с ним рядом и ни разу здесь не бывал.

– Это, барин, корабельная роща, за ней государевы лошманы день и ночь присматривают, – сказал Сысой. – Тут сосны на выбор рубят, какая на что годится в корабельном деле.

Кротков попристальнее огляделся вокруг и заметил, что в роще было чисто, как в убранной горнице: ни разбросанных веток и сучьев, ни поваленных ветром или старостью деревьев. Все сосны были помечены цифровым счётом, сделанным на затесах дёгтем, через определённое число саженей рощу делили сквозные просеки.

Миновав ухоженный лес, тропинка углубилась в чернолесье, где берёзы, осины, кустарники стояли тесно друг к другу, и всадникам приходилось порой пригибаться, чтобы проехать под нависшей над тропой веткой. Сысой ехал впереди, и затронутые им ветки обильно осыпали холодной росой следовавшего за ним господина. Тому это не понравилось, и он хотел окликнуть своего проводника и поменяться с ним местами, но вдруг Сысой сам остановил коня, Кротков привстал на стременах и увидел,

что путь им преградила молодая баба, которая вела за собой на верёвке пёструю корову.

– Ты где это, Фроська, бродила? – спросил Сысой. – Часом не у Савки-бога побывала?

– Молоко у коровы пропало, – ответила баба, отводя свою бурёнку в сторону от тропы.

– Ну, и как, помогло? – заинтересовался Кротков и, не убоявшись мокрого куста, подъехал поближе. – И как он это делает?

– Набрал в липовый ковш ключевой воды, пошептал и сполоснул корове вымя. Я не первая сюда пошла, другие по нескольку раз у Савки-бога бывали, и всегда помогало.

Когда они объехали бабу с коровой и углубились саженой на десять в чашу, она им вслед крикнула:

– Эй, барин! А ведь он знает, что ты к нему едешь!

– Не может того быть! – воскликнул, осаживая коня, Кротков. – Я утром и сам не знал, что к нему поеду.

– Он начал меня выпроваживать, а сам бормотал: «Иди, баба, ко мне кротковский барин едет».

Это известие смутило Кроткова. Отправляясь к кудеснику, он мало верил в его силу, а тот выкинул такое, чего сама баба придумать никак не могла. Он задумался, но вдруг его конь встал.

– Я дальше, барин, не поеду, – сказал Сысой. – До его избы недалеко, ты сам на неё наткнешься.

– Какой же ты гайдук, Сысой, раз боишься! – осерчал Кротков. – Чем тебя смутил лесной дедко?

– За коней боюсь, – сказал Сысой, слезая с седла. – Изурочит ненароком, а кони добрые, особенно твой, на него Парамон Ильич глаз положил. Хорош, говорит, конь, я бы за него своего племенного быка не пожалел.

– К чёрту дядюшку! – воскликнул Кротков. – Отведи коня и уступи мне тропу, я пойду передом.

Скоро тропа выбежала из лесной чащи и упёрлась в высокий забор, за которым стояла крытая дранью приземистая изба. Впритык к ней был сделан навес, под которым дымился очаг, а рядом с ним на осиновом пне сидел розовощекий и седой дедок,

одетый в овчинную безрукавку и длинную, пониже колен, рубашу, и в насунутых на босу ногу лыковых опорах.

Завидев Кроткова, когда тот, оставив Сысою с конями, через дыру в заборе проник в его обиталище, дедок поднялся с пня и сделал шаг навстречу гостю.

– Будь здоров, бог Савка! – сказал Степан, смущаясь тем, что он вымолвил.

– И тебе здравия полную чашу! – ответил дедок. – Только я не бог, а Савка.

– Почему же тебя богом вся округа величает?

– Это от некрещёной морды ко мне прилипло. У здешней мокши богов много: одним больше или меньше, для них нет разницы.

– Но ты, я гляжу, совсем не против такого прозвища? – спросил Кротков и острым взглядом бывшего картёжника окинул дедка.

– Они же как малые дети, пусть тешатся. Но в их глупости есть весомая правда: человек волен поступать, как он похочет, даже крепостной раб, и сие означает, что каждый из нас для себя бог.

– Для меня, Савка, это потёмки, – сказал Кротков, смутившись от зауми лесного кудесника. – Встречная баба только что мне сказала, что ты меня ждёшь. Как ты проведаль?

– Об этом мне сорока донесла, – простодушно улыбнулся Савка, указывая на свою вестницу, которая, покачиваясь, сидела на заборе.

– Стало быть, ты знаешь и то, зачем я к тебе явился? – спросил Кротков, поглядывая на котёл, в котором забурила вскипевшая на очаге вода.

– И это невеликая хитрость, – произнес Савка, отодвигая котёл от пылавших под ним углей. – Ты молод и здоров, стало быть, этого ты у меня не ищешь.

– Ты прав, – сказал Кротков. – За этим я явлюсь в другой раз.

– Вот ты сам, барин, и ответил, что тебе от меня надо, – усмехнулся Савка.

– Я не открывал, что у тебя ищу, – возразил Кротков. – А ты, дедко, не тани с ответом, ведь я не мужик, которому легко задурить голову.

– Изволь, барин. – Савка пристально взглянул на гостя, и тому под пронзительным взглядом кудесника стало неуютно и зябко. – Счастье всякого человека в здоровье и богатстве. Ты пока здоров, значит, ищешь богатство.

– Ты угадал! – горячо воскликнул Кротков. – Открой мне, Савка, какой-нибудь клад, ты ведь знаешь, где они спрятаны и как их отчитывать!

Степан так рьяно приступил к Савке, что тот от него попятился и чуть не опрокинул котёл с кипятком, а сорока взлетела с кола и, заполошно хлопая крыльями, улетела за избу.

– Экий ты, барин, огонёк! – недовольно сказал Савка. – Вспыхнул, как порох, да зазря: не знаю я ни кладов, ни заговоров. Иди к попам, они кладами ведают, но будь готов к тому, что более половины клада они заберут под себя.

– Ну, уж нет! – заявил Степан. – Мне мой отец завещал с попами не якшаться. А ты, Савка, ведь врёшь, что не можешь мне подсобить! Хотя ты и не поп, но могу тебе за верное слово золотым пожаловать.

Он достал из кармана новехонький золотой пятирублёвик и подкинул его на ладони. Золотой блеск пал на очи кудесника, и они зажглись искрами.

– Добро, барин, – сказал Савка. – Золотой у тебя как раз тот, по которому можно узнать, дастся тебе клад или нет. Но хватит ли у тебя силы духа совершить то, что я велю?

– Хватит! – обрадовался Степан. – Делай своё ведовово по всей своей силе.

Савка поставил котёл с ещё горячей водой над углями, раздул их и начал в каменной ступе растирать сухие листья и корешки. Вода в котле скоро забила ключом. Тогда кудесник, бормоча что-то себе под нос, опростал в неё из ступы порох из листьев и корней.

– Давай золотой! – сказал кудесник и, взяв, бросил пятирублёвик в кипяток. Затем сдвинул котёл от огня в сторону, а угли залил из туеса чем-то похожим на жидкий дёготь. На Кроткова от очага плеснуло дымом, от которого он закашлялся и прослезился, но разума не утратил.

«Эге, знаю я эти хитрости, – подумал он, чувствуя, что у него начало двоиться в глазах. – Окатил меня воню, чтобы я про золотой не вспомнил».

Он потряс, как конь, головой и увидел перед собой котёл, который держал в голых руках кудесник. Вода в нём взбулькивала, и от неё несло жаром, а на дне котла шевелился и подпрыгивал золотой.

– Испей, барин, – откуда-то издалека донёсся до Кроткова глухой Савкин голос. – Испей, и тогда будешь знать, примешь ты заповедное золото или им подавишься.

Степан взял котёл в руки и не обжёгся, припал к кипятку губами и не обварился, и стал жадно пить, то одним, то другим глазом поглядывая: цел ли пятирублёвик.

– Пей до дна! – велел кудесник. – Пей до дна!

Кротков выпил ведёрный котёл колдовского варева, пошарил в нём глазами: золотой исчез. Он нехорошо посмотрел на кудесника и отбросил котёл в сторону.

– Где пятирублёвик?

– Эх, барин, – усмехнулся Савка. – О том ли ты подумал? Стоит ли жалеть полено, если хочешь согреться? Ты ведь явился за богатством, а думаешь о другом.

– Тогда говори, что видел! – потребовал Кротков.

– Станешь ты, барин, в скором времени неслыханно богат, но не от клада, а от великого человека, который побывает в твоей усадьбе и оставит тебе сундук с золотом и серебром.

Кротков недоверчиво взглянул на Савку, но тот был молотенно серьёзен.

– И что это за великий человек? – дрогнувшим голосом произнес он.

– Сам государь-анпиратор! – торжественно провозгласил Савка.

– Какой ещё государь-император! – воскликнул Кротков. – Я знаю одну государыню Екатерину Алексеевну и никого другого!

Савка приблизился к нему, обхватил за плечи и жарко выдохнул в ухо:

– Твой клад в царе Петре Фёдоровиче!

– Так он же мёртв! – вымолвил Кротков. – Как же он ко мне явится?

– А вот явится и спроси его, жив он или мёртв. – Савка махнул рукой. – А теперь ступай, да не потеряй свой золотой: он у тебя в правом сапоге.

Опомнился Кротков за плетнём. Он стоял, обхватив руками осину, а вокруг него суеился Сысой:

– Этот Савка-бог – чистый изверг! Что он над тобой сотворил, барин, на тебе лица нет?

Кротков отлепился от осины, шагнул к своему коню и почувствовал, как что-то мешает ему ровно ступить на ногу.

– А ну, сними с меня сапог, – сказал барин.

Сысой помог ему разуть ногу, и Кротков, запустив руку в голенище, вынул пятирублёвик. Он сиял, будто в бане вымылся. Степан поднёс его к лицу, от золотого явно пованивало запахом ретирадного места.

– Не диво, что Савку прозвали богом, – сказал он и, завернув золотой в травяной лист, положил в карман кафтана. – Такое совершить обычному человеку не под силу.

-5-

Хотя Савка-бог и закружил голову Кроткова предсказанием ему неслыханного обогащения, его смущало то, что богатство к нему прибудет от государя-императора. А такого и близко не предвиделось: на российском престоле державно восседала императрица Екатерина Алексеевна, её сердечный друг Григорий Орлов, хотя и возносился в мечтах воздеть на свою голову шапку Мономаха, но имел столько врагов, что ему вполне могла грозить судьба императора Петра Фёдоровича, скоропостижно скончавшегося от геморроидальных колик на Ропшинской мызе, где он коротал за картами дни в весёлой компании офицеров гвардии. Откуда мог взяться император в Кротковке, когда его и в Петербурге не было? Этот вопрос долго смущал Кроткова и, не найдя ответа, он заподозрил, что Савка-бог над ним подшутил, и крепко осерчал на кудесника. Кротков решил, выждав время,

тоже над ним подшутить, но не кудесами, а отцовским арапником, с которым покойный Егорий Ильич езживал загонять волков по молодому снегу.

Парамон Ильич, видимо, крепко обиделся на племянника и к нему не ехал. Кротков был этим весьма доволен и, предоставленный самому себе, в сопровождении Сысы вдоволь и поперёк изъездил свои невеликие владения. Близился праздник Покрова, и полевые работы были завершены, на господском гумне к хлебу прежних годов прибавился новый, его начали молотить, и по утрам Кроткова будили удары цепов и голоса работающих крестьян. Бурмистр Корней опасался, что молодой барин начнёт хозяйствовать сам, но тот был занят своими думами и ни во что не вмешивался, предоставив всему идти своим чередом.

Прогуливаясь по своим землям, Кротков примечал, что день ото дня поля и рощи становятся всё пустынной и безвидней, а солнце подолгу, иногда на целую неделю, было закрыто низкими серыми тучами, из них моросил дождь, но уже чаще начинала сыпать снежная крупа. Близилась зима, и Кротков с растущей тревогой подумывал, что завалит снегом округу, скует намертво землю морозом, и тогда ни о каком кладе невозможно будет и помечтать, останется только схорониться в усадьбе и ждать весны, – но принесёт ли она ему счастье, было неведомо.

После обеда Кротков занял любезную своей лени барскую привычку поваляться на кровати, но в этот день ему этого не позволили сделать незваные гости: явился Парамон Ильич, да не один, а с земским исправником Лысковым, главной полицейской властью уезда.

Дядюшка сделал вид, что у него со Степаном не было никакой размолвки, нежно обнял племянника, прижался к его щеке холодным носом и отступил в сторону.

– Это наша дворянская защита, – сказал он, представляя исправника, – Платон Фомич. Наша власть и сила, за ним мы, помещики, как за каменной стеной.

Кротков остро взглянул на Лыскова и ничего в нём выдающегося не заметил, кроме большого носа, на котором присутствовали все цвета радуги: от светло-красного близ переносицы до сизого на крыльях и кончике этого усеянного точками и дырками сооружения.

«Нелегко исправничий хлеб, — с сочувствием подумал Кротков. — Сколько ему приходится по делам службы каждый день опрастывать чарок, и не очищенной, а всяких настоек и наливок, на кои здешние помещики большие придумщики».

Он пригласил гостей в зал к столу, где сметливый Корней распорядился уже выстроить ряд графинов с хмельным домашней выделки и блюда с холодной курятиной, солёными грибами, капустой и хлебом.

— Прошу закусить, — сказал хозяин. — На меня не глядите, я только что отобедал.

— Не беспокойся, Степан, — ответил Парамон Ильич. — Мы только что из-за стола. Платон Фомич имеет к тебе дело, но мы знаем друг друга, и он изволил поначалу заехать ко мне.

Кротков обеспокоился, ему вдруг ударила в голову догадка, что исправник явился взять его под арест за петербургские долги, и он подрагивающей рукой взял графин, а сам стал примеряться, в какую сторону бежать.

«Какой я дурень! — укорил себя Степан. — У меня в кармане пусто, все деньги в железном сундуке, а куда я без них денусь?»

— Извините, господа! — стараясь себя не выдать волнением, произнес он. — По такому случаю, я вспомнил, из родительских запасов остался штоф очищенной. Не угодно ли чуть обождать, я сейчас.

В комнате отца Кротков бросился к сундуку, с трудом открыл замок, распахнул крышку и стал набивать карманы своего кафтана золотыми монетами. Серебро некуда было складывать, и его пришлось оставить. Взяв штоф очищенной водки, он вышел к гостям.

— Видать, мой покойный братец далеко запрятал штоф, — шутиливо произнёс Парамон Ильич. — Узнаю его натуру. А ты что, Степан, бледен?

Кротков промолчал и, встав поближе к двери, открыл штоф и наполнил чарки. Исправник и дядюшка дружно за них взялись и, не дожидаясь хозяина, опустошили.

— Да этой водке лет десять, и никак не меньше! — с восхищением произнёс Платон Фомич. — Сейчас такой не сыщешь, она

своего завода, для себя сделана, а не с кружала, где её с водой мешают почём зря.

У Кроткова отлегло от сердца, исправник сразу взялся не за него, а за водку, значит, дело, с которым он явился сюда, было другого толка, чем сыск беглого должника. Золото в карманах тянуло Степану плечи книзу, и он сел на стул, опасливо поглядывая то на исправника, то на дядюшку. Радоваться было рано. Гости не торопились объявлять хозяину причину своего приезда, и это его беспокоило.

«А что, если этот уездный злодей, похохатывая, сначала выжрет очищенную, а потом объявит о моём аресте? — встревожился Кротков. — Очень может статься, что дядюшка подговорил его так и сделать. А потом кинется к сундуку и начнёт сдирать оклады с икон».

Гости, однако, казалось, не таили злых умыслов. Платон Фомич после второй чарки вспотел, вынул из кармана огромный жёлтый платок и принялся осушать им свою преобширную лысину. А на Парамона Ильича накатил приступ похвальбы, но похвалялся он не собой, а своей дружбой с исправником.

— Наш Платон Фомич, кроме воеводы, первейший человек в уезде. Ему здесь ведомо все. Ты с ним, Степанушка, завяжи дружбу таким узлом, чтобы вовек не расцепился. Скажу по совести, если бы не Платон Фомич, многие бы наши помещики по миру пошли, вот он каков, наш Платон Фомич! И ничего ему не надо от просителей, кроме уважения. Ты уважишь Платона Фомича, и он тебя уважит вдвое. А если нос кто начнет задирать, бахвалиться петербургскими покровителями, то ему будет сделан такой укорот, как Олсуфьеву. Не уважил он Платона Фомича, возомнил о себе невесть что, а сняли с него собачьи кудри, что он на голове таскает, и нет его, и спесь куда подевалась, когда к нему разбойники пожаловали, казну вынули, дом подожгли, а тот самый парик в огонь бросили. Прибежал он к Платону Фомичу с босой головой, стал кланяться, чтобы тот изловил злодея, а кроме него с ними никто не совладеет, разве не так?..

Лысков слушал Парамона Ильича с простодушной улыбкой и был премного доволен, что его хвалят.

– Молодой Олсуфьев сам виноват, – сказал он, промокнув лысину платком. – Я его предупреждал не играть с крестьянскими своим вольнодумством. Он поставил себя с ними на одну ногу, а наш холоп – самая наглая тварь из всех живых! Так и вышло: дворовые заперли барина в доме и высвистали из леса разбойников. Те явились и позабавились над вольнодумцем, добро, хоть не до смерти.

– Вот и рассуди, Степанушка, – сказал Парамон Ильич. – Разве Платон Фомич не самый нужный для всех человек?

«Так вот они зачем явились, – с облегчением понял Кротков. – Дядюшка в своей манере решил поучить меня уму-разуму».

– Я со всей душой почитаю старших, – сказал он, привстав со стула. – Особенно начальство, как был выучен батюшкой и в гвардии.

– Тогда внемли тому, что скажет Платон Фомич, – понизив голос, произнес дядя. – А пока отшугни от двери слуг и плотно её прикрой.

Кротков вышел из зала и велел Корнею собрать всех слуг в сенях и быть там, пока он их не отпустит. Затем зашел в зал, закрыл дверь на крюк и сдвинул над ней портьеры. Посмотрев на гостей, он подивился произошедшим в них переменам: дядюшка сидел, уставившись глазами в стол, а исправник успел застегнуть все пуговицы кафтана и стоял, вытянувшись в струнку. Сердце Степана похолодело от недоброго предчувствия.

– Я обязан по велению воеводы донести до каждого помещика в уезде строго секретное известие, полученное из синбирской канцелярии, – внушительно произнёс Платон Фомич. – Наша Казанская и Оренбургская губернии объявлены на особом положении. Причиной тому стал бунт, учинённый яицкими казаками, во главе которых встал беглый донской казак Емелька Пугачёв, объявивший себя императором Петром Фёдоровичем...

Последние слова ошарашили Кротова крепче дубины.

– Как! – воскликнул он. – Казак объявил себя императором? И ему поверили?

– Эка невидаль, – пренебрежительно сказал Парамон Ильич. – В здешнем лесу обитает Савка-бог, и крестьяншки в это верят.

– Мужики верят, что император Пётр Фёдорович чудесным образом спасся, – подтвердил исправник. – В последние два года уже несколько лжецарей были пойманы, биты кнутом и отправлены в ссылку. Но этот, сдаётся мне, взбаламутит крестьян покруче Стеньки Разина. Он ещё близ Оренбурга, а народишка уже ждёт от него знака, чтобы кинуться на своих господ.

– Мы к тебе, племянник, не с пустыми руками явились, – сказал Парамон Ильич. – Во дворе под доглядом двух сторожей ждёт твоего барского суда беглый раб Фирска Тюгаев. Прикажи его привести, пусть он поведает, куда бежал и зачем.

Сметливость картёжного умельца сразу подсказала Кроткову, что с беглым мужиком торопиться не стоит, чтобы не спугнуть удачу на скорое богатство, которое, как оказалось, совсем не зря насулил ему Савка-бог. Сам Фирска стал интересен барину не тем, что его нужно немедленно забить батогами до полусмерти, чтобы другим было неповадно заглядывать на волю, а вестями о «мужицком анператоре», который оказался не сказкой кудесника, а замутившей уже две громадные губернии грозной явью.

– В армейском артикуле, господа, – строго сказал Кротков, – записано, что командир не должен наказывать подчинённого в день совершения им проступка, а назначить кару, когда охолонет и по здравому размышлению. Посему с Фирской я не потроплюсь и разберусь с ним попозже.

Лысков и Парамон Ильич обменялись недоуменными взглядами, а Кротков вышел в сени, разослал слуг по их местам, Корнею велел взять беглого мужика у сторожей и запереть его в самый крепкий амбар, к которому приставить надёжных караульчиков. Он вернулся к гостям и застал их собирающимися в дорогу. Кротков бросился к штофу, потряс его, и обнаружил, что тот не пуст.

– Платон Фомич! Дядюшка! – радостно воскликнул Кротков. – Без доброго посошка на дорогу я вас не отпущу!

Уговаривать ему не пришлось, гости знали и чтит русский обычай и, опорожнив чарки досуха, взяли свои шапки в руки и стали прощаться.

– Ты, Степан Егорович, поглядывай по сторонам, – сказал исправник. – Живи с великим бережением, мужики лютеют на

глазах, а лучше поезжай на зиму в Синбирск. Тебе надо жениться, а здесь даже с самой высокой сосны в корабельной роще невесту не высмотреть.

Дядюшке слова Лыскова пришлись не по вкусу, он ещё не оставил своей затеи – женить племянника на родственнице уездного воеводы, но после стычки со Степаном из-за иконы он решил повременить и радушно предложил:

– Поезжай, Степан, в Синбирск, остановишься у моей дочери, она сейчас Головина, живёт на Панской улице, в своём доме.

Проводив гостей до крыльца, Кротков не стал глядеть им вслед, а сразу же поспешил в отцовскую комнату, где выгрузил золото из карманов кафтана и наконец-то перевёл дух. Сначала его напугал своим приездом исправник, затем голову Степана затмило известие о мужицком царе, что напаялил на себя личину покойного императора Петра Фёдоровича, тут было над чем поразмыслить, но сначала он решил допросить беглого мужика Фирску Тюгаева.

– Корней! Сысой! – вскричал Кротков, выйдя на крыльцо. – Ведите меня к Фирске, надо глянуть, что за такой страшный злодей выгулялся на моих землях.

Бурмистр обогнал барина и к его приходу успел разомкнуть на двери амбара тяжёлый замок.

– Там темно, – сказал он. – Может, его на свет выволочь?

– Ты с ним осторожней, Корней, как бы он тебя, старого, не зашиб. Возьми с собой Сысою.

– Экий-то махор? – удивился Корней. – Да я его щелчком перешибу!

Бурмистр нырнул в темноту амбара и вскоре вытолкнул на порог тщедушного мужичонку в драном армяке и лыковых отопках на кривых и тонких ногах.

– Это и есть злодей Фирска, – объявил Корней и обхлопал ладони.

– Кто тебя поманил убежать и какой сладью? – строго спросил Кротков. – Куда ты бежал?

Фирска зыркнул на барина воспалёнными глазами, уставился в землю и засопел.

– Встряхни его, Сысой! – велел Кротков. – Только гляди, чтобы у него головёнка не слетела с шеи.

Гайдук ухватил Фирску за ворот армяка и, приподняв над землёй, легонько потряс его, как мешок. Мужик икнул и замал, ища опору, руками и ногами.

– И куда ты побежал от семьи, от детей, от своего барина? – спросил Кротков. – Я ведь тебя вправе забить батогами до смерти.

– Все бегут, и я побежал, – пробормотал Фирска. – Куда народ, туда и я.

– Все побегут топиться или вешаться, так и ты с ними?.. Полно врать, говори, куда имел мысль уйти? Скажешь правду – помилую.

– Сейчас все бегут в одно место, – после некоторого молчания сказал Фирска.

– Что ты замолчал, как пень! – начал сердиться Кротков. – Не то сейчас ляжешь под палки.

– Сейчас все бегут к царю, и я вместе со всеми...

– Какому ещё царю? – заволновался Кротков. – У нас государыня императрица Екатерина Алексеевна!

– Как какому? – вдруг осмелел Фирска. – К царю Петру Фёдоровичу, который объявил всему крестьянству волю на вечные времена. За это его бары решили извести, но он божьей помощью спасся и теперь с большим войском идёт на Москву.

– Всё доложил, тетеря? – Кротков с недоумением оглядел Фирску, затем Сысою и Корнея. – Запомните, если хотите и дальше жевать хлеб, что император Пётр Фёдорович почил в бозе, и я своими глазами видел его гроб. А люди врут, и больше всех Емелька Пугачёв, который выдаёт себя за царя, а сам он битый плетью донской казакишка.

– Но люди говорят, – пробормотал Фирска. – А народ зря не скажет.

– Заладила сорока про Якова! – осерчал Кротков. – А ты, Сысой, что скажешь?

– Слишком много людей толкуют о царе, а это, барин, не шутка. Все соврать не могут, я ещё на Москве слышал толки, что государь жив, и во Владимире, когда мы с тобой его проезжали.

– Почему о сем не донёс?

– А ты, барин, не спрашивал, да и не для твоих ушей эти толки, – сказал Сысой. – Я к ним и не тянулся, что попадало в уши, то и слышал.

Кротков вплотную приблизился к Фирске, замахнулся на него, мужик попятился, запнулся пятками о порог и, упав навзничь, тонкоголосо завыл. Степан не мог терпеть плача и, пнув беглого раба, грозно вскрикнул:

– Молчи, не то заporю!

Фирска перестал поскуливать и затих, а Степан поворотился к бурмистру:

– Гони его на все четыре стороны! Мне такого мужика и даром не надо, от него порча и между добрых мужиков пойдёт, сам убежит и других за собой сманит. Бросьте его на телегу и вместе с Сысоем отвезите отсель вёрст за десять, и там вытолкните. А ты, Фирска, забудь сюда дорогу. Если явишься, то вздерну на воротах!

-6-

Допрос Фирски Тюгаева открыл для Кроткова, почти не знавшего помещичьей жизни, что мужик подобен волку: сколько его ни корми, ни ублажай, он всё равно норовит сделать своему благодетелю дурно, а то и взбесится бунтом против дворянского рода, к которому мужик во все времена пылал незатухающей ненавистью.

Открытие сей горькой истины, однако, не озлило Кроткова, а крепко разобидело: «Не знает наш мужик своего счастья жить за барином. Разве помещик за ним не приглядывает, как за малым дитем, не ограждает от голода и кабацкой напасти? У меня хлеба стоят на гумне улицами, разве я его весь съем? Неделю тому сгорела изба у Спирьки Хомутова – на, Спирька, брёвна из моего леса, на – корову из моего стада, на – три рубля как погорельцу. Хвалят Европу, а в той же Франции редкий мужик свою корову имеет, а если она у него есть, то он считается за богатея. Наш мужик утро начинает с кружки молока и краюхи хлеба, разве ему от этого худо? Наш мужик каждую неделю моется в

бане, а француз лишь иногда поплещется в лохани своей грязью, а его почему-то считают чище нашего. Да и сам мужик всегда готов окрыситься на барина за его попечение над ним. Все проклинают рекрутчину, но и дворянин с рождения на государевой службе. Правда, его сейчас не бьют палками, как мужика, но совсем недавно и это было. Я уже четыре года тяну солдатскую лямку, живу с мужиками в одной избе, хожу в караулы, забиваю сваи под невскую набережную, а ведь я дворянин доброго рода, мой пращур с Иваном Грозным на Казань хаживал... У меня триста мужицких душ, но какая от этого радость? Счастье было бы, если батюшка оставил мне вместо трёх сотен посконных рыл триста золотых кирпичей, они есть-пить не просят, а мне на крыльцо нельзя выйти, кто-нибудь да ткнётся лбом в ноги: дай, барин, то, пожалуй, кормилиц, это...»

Чуть не до слёз разворошил свою душу Кротков, горюя над помещичьей долей, но в зал вошла комнатная девка с огнём и запалила в шандалах оплывшие свечи. За окном было почти темно, ветрено, узкая розовая полоска на закатной стороне неба засветилась прощальным светом угасающего дня и скрылась в хмарных и тяжёлых тучах. Кротков коснулся горячим лбом холодного оконного стекла и с унынием посмотрел в опустошённый осенним листопадом сад, где все говорило о том, что осень миновала и грядёт уже близкая пора, когда усадьбу возьмут в осаду снега и морозы.

Комнатная девка опять зашла в зал, помялась и пропищала:

– Велишь, барин, на стол подавать?

Кротков не ответил, он думал о своём: надо было решать – ехать в Синбирск или остаться на зиму здесь. Ему это было сделать легко. Степан взял с полки замусоленные карты, перетасовал их и выпала загаданная масть, король-пик. Он тупо на него уставился и поразился: король явно смахивал на Фирску Тюгаева, как будто был с него срисован. «У нас в России пруд пруди таких королей, – усмехнулся Кротков. – Но ведь кто-то из них сейчас стал мужицким царём. Надо ехать в Синбирск. Раз мне нагадано от него счастье, то не следует упускать его из виду. Что-то же и я должен делать, чтобы мужицкий царь мимо меня не прошёл».

– Фроська! – велел Степан. – Собери мне в дорогу лучшее, что у меня есть из одежды, и повесь в сенях проветриваться баяшину енотовую шубу.

– Велишь, барин, на стол подавать? – опять пропихала девка.

– Ты что не слышала, что я тебе сказал?

– Как не слышала? Да повар торопит, говорит, что курица готова.

– Подавай, но про шубу не забудь.

В зал вошёл истопник, молодой парень с охапкой берёзовых поленьев в руках и вопрошающе взглянул на барина.

– Топи, да не шибко, – сказал Кротков. – Мне жара невыносима.

С неохотой поедая курицу с гречневой кашей, он поглядывал, как в печи плещется пламя, пошумливая и подвывая в остывших дымоходах и трубе. Отблески огня, просачиваясь через щель неплотно закрытой дверцы, металась по потолку и стенам зала, и от этого он перестал выглядеть, как казённая камора, а стал домашнему обжитым, располагающим к покойному раздумью.

От горячей курятины и выпитых с гостями нескольких чарок очищенной Степан размяк и начал поклёвывать носом, но понежиться ему не дал Корней. Он просунулся в дверь и хрипло кашлянул. За ним выглядывал Сысой.

– Что, отвезли Фирску, куда я велел? – стряхнув с себя сон, спросил Кротков.

– Всё исполнили, барин. Довезли до Волчьего лога и выкинули из телеги. И крепко наказали обходить Кротковку стороной.

– Как там, на дворе, не разведрилось? – Кротков поднялся со стула и подошёл к бурмистру.

– Дождя нет, но холодает, снегом пахнет.

– Объявляю тебе, Корней, что завтра я уезжаю в Синбирск, Сысой поедет со мной. Готовьте самых добрых лошадей и коляску.

– Не худо бы подождать, пока снег ляжет, – сказал Корней. – Тогда бы по санному пути в тёплой кибитке и отправился.

– В городе мне кибитка не нужна. А там недолго поставить коляску на полозья. А ты что нахмурился, Сысой?

– Не привык он ещё к своей гайдуцкой доле, – пояснил Корней. – Теперь ты везде с барином, а о семье забудь.

– Озяб на ветру, – буркнул Сысой, внезапно огорчённый долгой разлукой с родными.

– Налей ему, Корней, большую кружку крепкой наливки, – расщедрился барин. – Но ты, Сысой, не заспи завтрашнее утро, поедем чуть свет.

Озадачив своих «придворных аристократов» завтрашним отъездом, Степан отпустил их, затем подошёл к печи и, открыв дверцу, положил туда несколько берёзовых поленьев. Пламя скоро охватило их, заплесало и зашумело, потрескивая и стреляя искрами. Кротков неплотно прикрыл дверцу и сел на стул, ощущая кожей лица, как выпыхивает из печи жар. «Покойно у огня греться, – думал он. – Но не дай бог оказаться в самом полуме. Фирска Тюгаев – всего лишь первая, но далеко не последняя искра, которая долетела до наших краев из кострища, что возжёт близ Оренбурга мужицкий царь Емелька. Если от таких искр полыхнет все Поволжье, то мне впору будет не о скоропостижном богатстве мечтать, а как остаться живу. В усадьбе оставаться нельзя: пустит тот же Фирска ночью красного петуха, из постели не успею выскочить».

Мимо него, переваливаясь с ноги на ногу, в комнату прошла Фроська, стукнула крышка сундука, послышалось шуршание перекладываемой с места на место одежды. Вдруг девка удивленно вскрикнула.

– Что пищишь? – сказал Степан. – Мышь свалилась за пазуху?

– Я, барин, рубль нашла!

– Держи крепче, я сейчас. – Кротков подхватился со стула и устремился в свою комнату. – Показывай!

Фроська разжала кулак, на ладони лежал державинский рубль. Степан кинулся рукой к потайному карману кафтана, тот был пуст.

– Ты где его нашла?

– Чуток сундук подвинула, а он там, – сказала Фроська, отдавая барину рубль. – Я такие деньги только издали видела.

«Как же я его смог выронить? – удивился Степан, обрадовавшись находке. – С него, можно сказать, началась моя новая жизнь».

Он подошел к столу, взял кошелек и вынул оттуда гривенник.

– Держи, Фроська! Это тебе за находку, а ты востроглазая, как сова: на полу потёмки, а ты мигом узрела рубль.

Горничная зарделась от барской похвалы и стала стелить ему постель. Кротков искоса поглядывал на неё сзади, подавляя в себе желание, более приличное петуху, чем барину. Девка будто нарочно медлила, не спеша взбивала подушки, и Степан на неё притопнул:

– Торопись, копуша!

Фроська выбежала из комнаты, и Степан, раздевшись до исподнего, встал на молитву. Он, хотя и был в одиннадцатом колене дворянином, веровал в бога по-мужицки: или что-нибудь у него просил, или на что-то жаловался. Преклонив колени, он жарко забормотал: «Господи Вседержитель, яви свою Божескую милость: дай мне то, что я желаю, и не помешай исполнению моего чаяния, а я, Господи, воздвигну Тебе, на месте ветхого деревянного, каменный храм о трёх главах, изукрашу дом Твой дивным златописанием и драгоценными дарами. Аминь!»

Повторив моление семь раз, Кротков лёг в постель и закрыл глаза. Бессонницей он не страдал, и чаще всего ему снились сны из прежней петербургской жизни, но не гвардейская солдатчина, а разгульные трактиры, где Степан видел себя за игорным столом неизбежным победителем картёжных баталий, на пару с бесшабашным пиитом Калистратом Борзовым.

На сей раз ему приснилась солдатская изба, в которую он, крадучись, вошёл и направился не к своей кровати, а отодвинул занавесь в углу, где жил каптенармус Михеев, хранитель ротной казны. Тот был в карауле, неподалёку возле печи похрапывал молодой солдатик из новоприбывших дворян. Степан склонился к михеевскому сундуку, отомкнул заранее подобранным ключом замок, взял деньги и на цыпочках, стараясь не скрипнуть сапогами, вышел из комнаты. Его грудь распирало от удачи, ноги сами вынесли его на крыльцо, и Кротков, что есть силы, побежал по осиянному белой северной ночью Петербургу к дому, где

в этот час самые отпетые игроки столицы пытали своё счастье за картежным столом.

Прибежав к дому, Степан неожиданно легко запрыгнул на подоконник второго этажа и прилип к оконному стеклу. В высоком, освещённом многими свечами зале метали банк, вокруг стола сидели гвардейцы и несколько человек штатских, был среди них и Борзов. Калистрат увидел приятеля и приглашающе махнул ему рукой, и Степан просочился через стекло, сразу оказавшись рядом со столом, на котором стояли водка и закуски. Он налил себе полную чарку очищенной, опрокинул её в рот, враз ощутив, как по всему телу стало разливаться возбуждающее тепло, и с досадой подумал, что опять сорвался, не вынес зарок, сегодня уже пил с исправником и дядюшкой, и опять не устоял. Эта мысль вызвала в мозгу Кроткова замешательство, он никак не мог понять, как из своей усадьбы попал в Петербург, но рядом появился Борзов и озабоченно спросил:

– Ты при деньгах?

Степан схватился рукой за карман, деньги были на месте.

– Не повезло в карты? Стало быть, Амур тебе благоволит.

– К чёрту всех пассий! – мрачно заявил пиит. – Пожалуй нищему поэту червонец на решительную талию.

– Изволь! – весело сказал Степан. – Я тоже возьму карту.

Они двинулись к столу, но вдруг ноги Кроткова приросли к полу: он увидел прапорщика Державина, который в расстёгнутом халате сидел на месте банкомета и с треском разрывал обложку новой колоды.

– А это ты, Кротков? – весело произнёс Державин. – Тогда ставь мой рубль и бери карту.

– Я при деньгах, Гаврила Романович, и твой рубль, что ты мне дал на счастье, ставить не буду. У меня есть и другие деньги.

– На краденые деньги я не играю, – рассердился Державин. – Хочешь играть – ставь мой рубль!

– Зачем же мне терять своё счастье, – сказал Степан. – Оно с этого рубля пошло, а сейчас уже совсем близко. Я не хочу его лишаться из-за картёжной неудачи.

– Ступай прочь! – грозно вскричал Державин. – А ты, Саввишна, что медлишь? Хватай его и тащи в долговую тюрьму!

В этот же миг чья-то цепкая рука ухватила Степана за ворот. Он дёрнулся и краем глаза смог заметить, что его держит и шипит змеёй проклятая процентщица. Кротков извернулся и цапнул зубами старуху за руку. Та взвизгнула и ослабила хватку, чем и воспользовался Степан, немедленно ударившись в бегство. Он скатился по лестнице, выскочил на улицу и помчался, не выбирая пути, по освещённым призрачным светом переулкам, пока, наконец, не упёрся руками в каменную стену. Степан метнулся в одну сторону, в другую, и понял, что забежал в тупик, но назад пути не было: размахивая клюкой, к нему приближалась грозная Саввишна. Тогда он отступил от стены, разбежался и прыгнул, как воспарил, и его понесло над крышами храмовых строений в отверстия двери собора и швырнуло рядом с мраморным гробом, стоявшим на гранитной плите.

При приземлении Степан не разбился, только растряс из карманов ротное золото и кинулся его собирать, и вдруг обезножил от ужаса: ему послышались звуки, исходившие из гроба, что-то вроде лёгкого стога и плача. Он забыл про золото и начал осенять себя спасительным крестным знамением, это помогло, звуки смолкли, и тогда Степан стал медленно подниматься, чтобы узреть того, кто обитал в гробу.

Кроткову не приходилось видеть вживую императора Петра Фёдоровича, но несомненно это был он, о чём говорили императорские вензеля и надпись на крышке гроба. Степан начал осторожно приближаться к изголовью, и на третьем шаге оледенел: державный мертвец стал подниматься из своего мраморного ложа, а за ним слышались чей-то сап и кряхтение. Ноги Кроткова подкосились, он рухнул на гранитную плиту и взмолился о своём спасении. Вдруг что-то стукнуло возле его головы, он разлепил глаза и увидел ботфорты, украшенные серебром и золотом.

«Он встал из гроба!» – с ужасом подумал Кротков и притиснулся лицом к граниту. Сквозь пелену страха до него доносились неясные звуки, потом он ощутил болезненный тычок под рёбра, и послышался голос:

– Слышь, барин! А ну, подсоби уместить его обратно, тяжёленьек оказался покойник, еле из-под него выпростался.

В гробу стоял стриженный в скобку мужик, в красной рубахе, и скалил ослепительно белые зубы. Руками он поддерживал мертвеца, чтобы тот не свалился на пол.

– А ну, бери его за ноги! Да не бойся, не пнёт. Ну, как, взяли?..

Степан, зажмурившись, схватился за императорские ботфорты, и на него так резко дохнуло редькой и квасом, что он закашлялся...

– Будись, барин! Уже белый день, коляска у крыльца.

Кротков открыл глаза, перед ним стоял уже собранный в дорогу Сысой. «Вот дурак! – подумал Степан. – Не дал спросить у мужика, где и когда мне ждать от него счастья».

– Поди прочь! И захвати мой походный сундук.

Сысой отпрянул от барина, потоптался и, подхватив походный сундук, вышел из комнаты. Кротков встал с кровати, взял штаны и замер, осененный внезапной догадкой: «А ведь недаром мне мерещится и нагадывается, что я своё счастье получу от царя, больше не от кого его занять: только государь в силах меня обогатить так, как я желаю. Недаром меня и в Синбирск поминало, ведь не дале как шесть лет тому назад государыня Екатерина Алексеевна, будучи там проездом, пожаловала неслыханным по богатству кладом четырём гвардейцев, которые в одночасье стали богатейшими людьми России».

-7-

Укрепившись на шатком троне Российской империи после того, как гвардейцы с него стащили и скорехонько замяли до смерти императора Петра Фёдоровича, государыня Екатерина Алексеевна вздумала обозреть хотя бы малую часть своих необъятных владений, с чем и направилась летом 1767 года в путешествие по Волге на галере «Тверь». Ехала не одна, а со своим сердечным другом графом Григорием Орловым, который и дал

знать по всем понизовым городам, чтобы там изготовились к восходу над ними венценосного солнца Российской империи.

В Синбирске, как прослышали о скором приезде императрицы, все переполошились, такая замятня началась, что пыль столбом. И то правда – выгнали из солдатских изб служивых, дали им в руки лопаты и метлы: кочки соскребать, мусор и шевяки навозные сметать. Всю Соборную площадь чисто вылизали, кардегардию и дом провинциальной канцелярии побелили, а наличники на окнах жёлто выкрасили. Чиновников, которые в присутствия кто в чем хаживал, заставили достать мундиры, проветрить от нафталина, крючки да пуговицы попришивать. Безмундирным велели по домам сидеть и носа не высовывать. Купцам тоже заботу сотворили – собрать, какие сыщутся, штуки красного сукна, чтобы в двести саженой ковровую дорожку выложить под ноги государыне от Волги до вершины Синбирской горы. Соборные диаконы глотки прочищали гулким кашлем и кагором смачивали. Дишкантам и тенорам по сотне яиц отпустили бездежно, пусть пьют от пуза, для голосистости.

Государыня ведать не ведала об учинённом ею своим приездом переполохе в Синбирске, почивала себе на перине из лебяжьего пуха под шёлковым одеялом. В бока галеры, сделанной из корабельных сосен, плескались волны, розовый парус похлопывал, гребцы, сто сажённых солдат-гренадер, вёсла в руках баюкали, да и сами дремали. Тут и солнышко взошло, осветило императорский штандарт на мачте, обласкало тёплыми лучами палубу, вызолотило на носу галеры бородатого и голого мужика с вилами – морского бога Нептуна. Государыня шевельнула ручкой по лебяжьему ложу, место рядом ещё не выстыло, ушёл Гриша, как обычно, до её просыпа. Вздохнула, очи распахнула, в колокольчик брякнула. Появились камеристки-прислужницы, у одной в руках серебряная лохань с тёплой водой для умывания, у другой – гребни из зуба морского зверя для расчёсывания волос, у третьей – шкатулка из чёрного эбенового дерева с притираниями, мазями, помадами, белилами-румянами, всё французской выделки. Граф Григорий Орлов зашёл, ручку чмокнул, справился, как государыня почивала, а о том, где был в ночном, – молчок! «Как погода, ваше сиятельство?» – спросила царица.

«Знойно, матушка! Скоро в Синбирске будем». «Ах, – молвила государыня. – Надеюсь, хозяева приготовленные мне покои охладили да мух повыгоняли. Уж очень они меня в Казани замаяли!»

Галера «Тверь» причалила к пристани под радостные клики горожан. Когда императрица ступила на берег, колокола соборов и церквей заблаговестили, над полуразрушенными стенами старой крепости закурился белый дым – то внятно чихнули четыре единорога времён царя Алексея. По красной дорожке, приветствуемая со всех сторон горожанами и дворянами, государыня поднялась в гору к каменному дому купца-миллионщика Мясникова, в коем были устроены покои. После двух часов отдыха она изволила выйти в залу, где, потев в суконных мундирах, при шпагах и треуголках ожидали аудиенции воевода – коллежский советник Панов и военный комендант полковник Чернышёв с главными чиновниками провинции. Комендант в этом году был назначен в Синбирск, в полковники он скакнул, по милости Екатерины, из камер-лакеев, и она с любопытством на него посмотрела: каково ему на комендантском месте, по Сеньке ли шапка оказалась? Ещё не перетёртый в синбирских жерновах Чернышёв выглядел вполне по-петербургски, камер-лакейская выучка позволяла ему держаться с выверенной почтительностью к царствующей особе. А остальные чиновники были крепко ушиблены сиянием, исходившим от российской самодержицы, глаза у них заслезались, руки затряслись, души затрепыхались от прилива крови и административного ликования. Не чаяли они, что будут находиться в двух шагах от порфиноносной владычицы всея России. А та милостиво улыбнулась, допустила их к своей августейшей руке и сжала лаской над их потной краснотой, отпустила. «Какие медведи!» – промолвила она, адресуясь к Орлову. «Медведи? – задумчиво произнёс граф. – Это волки, матушка!» «Но других у меня нет! Душно, однако, и скучно. Что там на завтра?» «Торжественная служба в соборе, представление народу». «Ладно, займись бумагами. Этот Чернышев, камер-полковник, принёс мне экстракт о состоянии крепости, её, кажется, стоит продать обывателям на дрова».

Государыня не гнушалась входить во все административные

дела. Поднявшись в свои покои, она поторопила своих дам снять с неё тяжёлую, прошитую золотыми нитями и унизанную алмазами робу, выпила холодной воды с брусникой и села за столик к бумагам. Вечером того дня она записала в своём дневнике: «Здесь такой жар, что не знаешь, куда деваться, город же самый скаредный, и все дома, кроме того, где я стою, в конфискации, и так мой город у меня же. Я не очень знаю, схоже ли это с здравым рассуждением и не полезнее ли повернуть людям их дома, нежели сии лучшие и иметь в странной собственности, из которой ни коронные деньги, ни люди не сохранены в целости? Я теперь здесь упражняюсь сыскать способы, чтобы деньги были возвращены, дома по-пустому не сгнили, люди не переведены были вовсе в истребление, а недоимки по вину, по соли только сто семь тысяч рублей, к чему послужили как кражи, так и разные несчастливые приключения». Присыпала написанное песком, сдула, перечитала и взгрустнула. Государыне представилось, что она сидит сейчас в доме на Синбирской горе, кручинится над тем, как известить воровство и взятки, а в это время на всём протяжении огромной России воруют, тащат, вымогают мзду, и нет сил прекратить это беззаконие. Ей стало вдруг зябко, она глянула в окно, в котором догорал закат, и сладко зевнула.

У графа Орлова тем часом из головы не выходила мысль, как развеселить свою царственную подругу. На такие придумки он был не очень горазд, не шут Балакирев, а гвардейский офицер, вот шпагой бы кого проткнуть или в морду кулачищем заехать, на это граф был способен без раздумий. Нрав он имел пылкий, а ум недалёкий, тем и проиграл в будущем Потёмкину, но пока у него с Екатериной Алексеевной отношения были страстными, умел Григорий её так обнять, таким жаром-пылом обжечь, что отказу ему ни в чём не было. Орлов стоял возле окна в коридоре и поглядывал, как одна за другой покидали покои государыни её камеристки. Когда вышла последняя, он двинулся к заветным дверям, но возле лестницы его остановило какое-то шуршание. Он откинул портьеру и увидел прижавшуюся к стене хорошенькую девицу, которая зарделась, как маков цвет. «Ты кто такая?» – спросил Орлов. «Я хозяйская дочь, ваша милость, Екатерина». Граф улыбнулся. Чудно ему показалось – опять Екатерина. «И

сколько ещё таких розанов здесь произрастают?» «У батюшки моего нас четверо». «И все так же прекрасны?» По-гвардейски привычно схватил девицу в охапку и поцеловал в губы: «Ах, сладка ягодка!» Девица убежала вниз по лестнице, а граф задумался, почесал затылок и радостно улыбнулся – его осенила догадка, чем занять государыню. Вошёл в покои, увидел свою Катеньку, убранную ко сну, в прозрачной батистовой рубашке, подхватил на руки, закружил. «Нашёл я тебе заботу, матушка! Всю твою грусть, скуку окаянную как рукой снимет! Нужно заковать четырёх девиц в крепкие оковы!» «Это как же они провинились?» «Ох, и провинились! Представь: молодцы, с лица далеко не дурны, за каждой два завода, двадцать тысяч душ, миллионы рублей серебром да золотом. Немедленно возложи на них узы Гименея!» Государыня рассмеялась: «Ты предлагаешь мне быть свахой?»

Так снизошло на семейство Ивана Семёновича Масленникова царское благоволение. Крепко он маялся, как и жена его, Татьяна Борисовна, одной думой: дочери на выданье, а женихов, соразмерных по своим достоинствам с приданным, не находилось. Дворянство бывшего купца, полученное им за классный чин, выглядело в глазах родовитого барства скороспелым и даже плюгавым. Конечно, были женихи из дворян, но по большей части с червоточиной: беднота, из имения только ботфорты на ногах да шпажонка на боку, да аттестат на чин поручика за пазухой. Такие бы тысячами со всей России набежали, только свистни! Но не о таком счастье мечталось дочерям и самому Масленникову. И он, и Татьяна Борисовна были склонны выдать дочерей за своего брата, купца, за ним надёжнее, и капиталы будут целы, и от балов-машкерадов головы не закружатся, веру отцов крепко блюсти будут. Тревожные думы одолевали Масленниковых, тревожные.

«Завтра ведь у нас куртаг, – сказала государыня. – Озаботься, Гришенька, чтобы наши хозяева были». «Непременно!» – обрадовался Орлов. Ему намеченное на завтра мероприятие было любо по одной весьма важной причине: государыня, несмотря на его недовольство, постоянно держала вокруг себя свиту молодых блестящих офицеров гвардии, жадно взирающих на неё и

готовых при малейшем знаке прыгнуть в царскую постель. Граф прекрасно понимал, что его могущество держится на приязни к нему государыни, и не хотел этого лишаться. Завтрашний куртаг его радовал тем, что он может одним махом избавиться сразу от четырёх вполне возможных соперников.

Дом Масленикова строил московский архитектор, он был в два очень высоких этажа, имел, кроме жилых комнат и спален, просторный зал на втором этаже с наборным из дуба полом, лепным потолком и роскошной люстрой. Окна выходили на берег реки, из них открывался приятственный вид на Заволжье, речные острова и растекшуюся между ними Волгу. К приезду государыни весь дом чистили, мыли и скребли, и зал, ярко освещённый множеством свечей люстры и светильников на стенах, сиял, как сказочный дворец. В дом Масленикова съехались самые родовитые синбирские дворяне, и государыня, встречая гостей, милостливо улыбалась. Ни обеда, ни возлияний на куртаге не предполагалось, это было время общения избранной знати со своей повелительницей, и приглашение на него означало причастность к самому высшему кругу лиц и крайнюю близость к трону. Но сегодня был вечер, где главное внимание уделялось не потомкам Рюрика и Гедимины, а Маслениковым. В карты ни Иван Семёнович, ни Татьяна Борисовна не играли, и на сегодня ломбер был оставлен. Музыканты играли длинный польский или полонез, кавалеры и дамы дефилировали с ритмическими приседаниями по залу, а всё общество, глядя на танцующих, приосанивалось, видя себя таким прекрасным, таким знатным, таким пышным, таким учтивым.

Екатерина была великая мастерица вести всякого рода переговоры. «Я слышала, – сказала она Масленикову, которого не опускала от себя ни на шаг, – у тебя много красного товара имеется, а у меня – добрые молодцы?» Ивана Семёновича окатило жаром, он сразу понял, о чём идёт речь, и не стушевался. «Товар имеется красный, да только по плечу ли он молодцам будет? Мы люди простые, наукам не обученные». «Полно тебе, Иван Семёнович, – улыбнулась государыня. – Не след тебе приbedняться. Всё от твоего слова зависит». «С превеликой благодарностью вручаю судьбу дочерей вам, ваше величество», – сказал Мясни-

ков и прижался губами к милостливо протянутой руке императрицы.

И начались свадьбы: и в Синбирске, и в Москве, и в Санкт-Петербурге. Ирина вышла замуж за Павла Бекетова, родовитого дворянина и капитана гвардии, Дарья – за Александра Пашкова (в его память россиянам остался знаменитый «Пашков дом» в Москве), Аграфена – за Алексея Дурасова, построившего на деньги жены великолепную усадьбу, завязанного театрала, Екатерина – за Григория Козицкого, чей дворец в Москве был впоследствии перестроен в Елисеевский магазин. Мужья получили жён, каждую с таким сказочным приданым, которое иначе как кладом, зарытом на Синбирской горе, не назвать.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

-1-

В столицу провинции, град Синбирск, Кротков въехал через два дня как покинул свою усадьбу. По грязному свияжскому взвозу коляска поднялась на Синбирскую гору, где находилась полуразвалившаяся крепость, к которой с разных концов сходились улицы, застроенные деревянными домами и глухими заборами. Кротков с любопытством поглядывал на необычное для небольшого города многолюдство, причина которому была ему известна: в Синбирск от разбойничьих ватаг, спасая свои жизни, бежали из усадеб дворяне с жёнами и домочадцами. И самому Кроткову пришлось не далее как утром пережить потрясение, когда из Тагайского леса выскочили с десятков вооружённых вилами и дубьём мужиков и кинулись на перехват коляски, но верный Сысой не сплеховал и сумел пустить коней во всю прыть, а Кротков, на своё счастье, не выпал из коляски, когда она начала прыгать на ухабах. Потерей во время этой сумасшедшей скачки стала шапка, которая слетела с головы Кроткова. Он видел, как она, упав с его головы, покатила под ноги здоровенному верзиле, который подхватил её и напаялил на свою

кудлатую и рыжую башку, а после с поносной руганью потряс над собой тяжёлой дубиной. Этот свирепый мужик так напугал Кроткова, что он не переставал вздрагивать и оглядываться, пока не въехал в Синбирск.

Здесьнее многолюдство его успокаивало и развлекало, вокруг было немало прохожих и колясок, на которых отцы семейств, пользуясь хорошей погодой, вывели прогуляться своих незамужних дочерей. То и дело мимо Кроткова проходили нижние чины гарнизонного батальона, и мужики здесь не поглядывали на бар исподлобья, а с готовностью скидывали с головы шапку и, прижав её к груди, склонялись перед господами в поклоне. И ещё одно диво-дивное узрел Кротков, когда выехал на главную улицу города: по тротуару шёл точно такой полицейский, каких он видел только в Петербурге и в Москве. Он велел Сысою его догнать и окликнул полицейского чина:

– Скажи, братец, где мне повернуть на Панскую улицу?

– За тем красным домом, – сказал полицейский. – Направо и будет Панская.

– Ты здешний будешь? – спросил Кротков. – Или проездом в городе? Ужели и в Синбирске заведена полиция?

– Как есть заведена, ваше благородие, – ответил полицейский. – Стоим на часах круглые сутки подле дверей правителя провинциальной канцелярии.

Варвара Парамоновна была тремя годами моложе своего двоюродного брата, но уже смотрелась настоящей дамой из высшего круга. Её муж Фёдор Иванович Головин имел полторы тысячи душ крестьян, и это позволяло ему жить по-барски широко и хлебосольно. Дом на Панской улице стоял на каменной подклети и имел два высоких этажа, рядом с ним находились – флигель для гостей, каретный сарай, конюшня и людская изба. В Синбирск Головины приезжали жить на всю зиму и привозили с собой многочисленную дворню: слуг, горничных, поваров, хлебопека, кондитера, кучеров и сторожа, который и распахнул ворота перед коляской нежданного гостя.

Хозяева были дома, приезд Кроткова их заметно обрадовал и слегка удивил своей неожиданностью, они полагали, что родственник пребывает в столице или отважно сражается с турками.

Фёдор Иванович любезно осведомился о дороге и, услышав, что Кротков чуть не стал добычей разбойников, ничуть этому не удивился:

– Тебе ещё повезло, братец! Дня не проходит, чтобы где-нибудь не убили помещика – такая вот жизнь настала! Но хватит о грустном, слава богу, ты в Синбирске, а здесь мы в безопасности.

– Как там мой папенька? – спросила Варвара Парамоновна. – Я крепко за него боюсь, как бы мужики не отплатили за его доброту ужасным злодейством.

– Не далее как три дня назад, был у меня с исправником. Он и насовещал мне ехать в Синбирск.

Зная увертливость тестя, Фёдор Иванович был за него спокоен:

– Парамон Ильич знает, что ему делать: он держится близ воеводы, а у того под рукой всегда воинская сила.

Заметив, что гость утомлён дорогой и сейчас не расположен к разговорам, Головин проводил Кроткова во флигель, указал ему комнату и сказал, что к ужину у него будут гости, его бывшие сослуживцы по гвардейскому полку Иван Дмитриев и Михаил Карамзин.

– Мы вечера проводим по-старинному, без петербургских новшеств, – сообщил Фёдор Иванович. – За чаем и в дружеской беседе.

Оставшись один, Кротков, сняв сапоги, опробовал кровать и убедился, что постель на ней в меру мягка и удобна. Недолго сна ему хватило на то, чтобы освежить голову, затем он поднялся, сполоснул под рукомойником лицо и стал готовиться к ужину. На исподнее он надел короткие штаны-кюлоты с чулками, затем рубашку, а поверх неё жилет, затем широкий кафтан. Башмаки слегка жали в пальцах, Степан положил под пятки войлочные подкладки, и ногам стало покойно.

Он глянул на себя в зеркало и остался доволен своим видом, что с ним стало случаться всё чаще, поскольку постылая солдатчина была позади, и в последнее время он забыл ругань сержантов, которые, распалившись, не знали словам удержу. Кротков за время жизни в своём родовом гнезде почувствовал себя бари-

ном. Пусть у Головина, Дмитриева, Карамзина в пять раз больше крепостных душ, чем у него, но ему судьба почти каждый день предоставляла знаки, что скоро он будет так неимоверно богат, как никто из этих спесивцев.

По настеленным доскам Кротков перешёл от флигеля к дому, поднялся на крыльцо и через прихожую вступил в большой и светлый зал, где застал всех в сборе: и гостей, и хозяев. Головин представил своего родственника Карамзину и Дмитриеву, а также человеку, в котором нельзя было не признать приказного выжигу по его вкрадчивым ухваткам и переменчивому взгляду: от искательного до надменного и пронзительно-огненного.

— Евграф Спиридонович Баженов, канцелярист синбирской канцелярии, племянник моего троюродного брата, — сказал Фёдор Иванович. — Мой поводырь в дебрях российского кривосудия.

— Изволишь шутить, дядюшка, — улыбочиво возразил Евграф. — У тебя тяжб нет.

— Ни у кого из нас нет тяжб, — проговорил Карамзин, — но скоро тут дворянство увязнет в межевых раздорах: есть задумка произвести генеральное межевание всех земель, и сие коснется каждого помещика, нужно будет доказывать законность своего владения землей.

— То-то пожива будет приказным, — ворчливо промолвил Дмитриев. — У меня, к примеру, есть ставленные грамоты от государей моим предкам, но как они писаны? Те знаки, которые в них указаны, давно без следа сгинули. Как ведь писали: «от Голого бугра до Горелого дуба...» Поди теперь отыщи этот горелый дуб! А бугры в сызранской степи сплошь голые. Добро, если сосед не с придурью, а то попадётся, как мой Бестужев, за таскает по судам, а спор-то о восьми десятинах!

Слуга подал Кроткову чашку чаю, весьма редкого и дорогого в те времена напитка, который только начинал входить в употребление у богатых людей. Редким и дорогим был и сахар, возлежавший горкой кусков желтоватого цвета в большой вазе. В Петербурге Степан успел распробовать не только очищенную водку, но и чай, и он ему пришёлся по вкусу.

— А что слышно, Евграф, о межевании в твоей канцелярии? —

спросил Федор Иванович. — Или до вас вести доходят в последнюю очередь?

— Указов на этот счет к нам не поступало, — почтительно сказал Баженов. — Но буде что явится, то мимо меня не пройдет.

Дмитриев поглядывал на канцеляриста с явной усмешкой, он презирал крапивное семя, которое норовило стать выше родовитых дворян, получая классные чины и богатея от взяток.

— Наших приказных, начиная с шестьдесят восьмого года, беспокоит другое — как брать взятки ассигнациями? — проворчал он, откусывая кусочек сахара. — Учредили ассигнационный банк, а не подумали, что теперь себе же сделали неудобства.

— Это какие же неудобства? — удивился Карамзин. — Не все ли едино, как брать?

— Хитрость в том, Михаил Егорович, — сказал Дмитриев, — что на монетах номеров нет, а на ассигнациях они прописаны, стало быть, можно установить, от кого получена и кем дадена взятка. И ведь ты, Евграф, посулы ассигнациями не берёшь, предпочитаешь золото, так ведь?

Кротков с любопытством смотрел на канцеляриста, как он ответит на острые слова, но тот оглядывался вокруг так бесхитростно и невинно, что его впору было пожалеть.

— Какие посулы в нашей синбирской глухомани, Иван Гаврилович? — удивлённо промолвил Баженов. — А что до ассигнаций, то они близ нас и не ходят, их ещё мало в обращении.

— Не всё ли едино, какие деньги — бумажные или золото? — запив чаем першинку в горле, сказал Кротков. — Я в Петербурге расплавился ассигнациями, как серебром, рубль за рубль.

— Так недолго будет, вот увидите, — веско произнёс Дмитриев. — Ассигнации скоро похудеют, и причины известны: велик соблазн наделать бумажек больше, чем их золотое обеспечение. Война с турками обесценит ассигнации, и те, кто их имеет, обнищают. Наши отцы, слава богу, обходились без них. Раньше ещё проще было: земский собор решал брать с каждого пятую деньгу, а сейчас возьмут через бумажные деньги много больше, но утайкой.

— Это, господа, у нас от французов завелось, — заметил Карамзин. — Они выдумали бумажные деньги и нас ими заразили.

– А я слышал, что от немцев, – удивился Головин. – От французов у нас помады да парики завелись, ужели они и на другие хитрости горазды?

– Немцы много честнее, они служат, – сказал Дмитриев. – А француз норовит уловить нашего брата какой-нибудь безделкой и подмять под себя. Что русским проку в их птичьим наречии, так нет, в Петербурге всё больше берут моду говорить по-французски, без этого дворянину скоро и шагу ступить будет нельзя. А чему учат французы в своих пансионах дворянских недорослей? Разврату! Синбирские дурни нахвалиться не могли здешним учителем Кибритом, как же – француз! А он взял да и обрюхатил свою кухарку, вот вам и француз!

– Вот это новость! – удивился Головин. – Что же теперь будет с пансионом?

Дмитриев насупился и замолчал, его любвеобильный Кибрит обидел лично: в пансионе обучался Ваня, двенадцатилетний недоросль, сын Ивана Гавриловича. Он изъял своего отпрыска из пансиона, который теперь стал называться не иначе, как вертепом и гнездилищем разврата. Дмитриев был богат, но из гвардии вышел рано и чин имел незначительный, не позволявший ему разъезжать на карете, запряжённой четвёркой лошадей. Это было для него огорчительным и пробуждало в Иване Гавриловиче недовольство всем, что он видел вокруг.

– Пансион, разумеется, закрылся, – сказал Карамзин. – Кибрит спешно выехал из города, кажется, в Казань.

– Сдаётся мне, что французы с умыслом насылают на нас своих учителей, – глубокомысленно произнёс Дмитриев. – Вы скажете, с каким умыслом? А с таким, чтобы совращать на свой манер наших недорослей, дабы они, заразившись от них, покупали у французов всякие помады, платья, танцевали под их музыку, транжирили имения и нищали.

После этих пророчески прозвучавших слов за столом воцарилось молчание, которое нарушил тихий голос Баженова:

– А правда ли, господа, что французы делают свои помады на лягушачьем сале?

– Какую мерзость ты сказал, Евграф! – вздрогнул Головин. – Теперь поздно об этом говорить, когда все уже намазались

французскими помадами и будут мазаться дальше. Хотя они и сделаны из лягушек, никого от них не стошнит.

Кротков внимательно прислушивался к разговору за столом и помалкивал, поскольку о французах имел весьма смутное представление. Но после слов Головина он оживился и решился сказать свое слово:

– Вот заговорили о помаде, а у нас в полку, господа, все знают о прискорбном случае с Никитой Бекетовым, который был весьма близок к императрице Елизавете. Он был очень хорош собой, и Шуваловы подсунили ему обманом помаду, после которой у Бекетова всё лицо покрылось язвами. Шуваловы стали уверять государыню, что эти язвы у него от дурной болезни...

В этот миг Кротков почувствовал, как Головин его больно ударил локтем в бок. Он сконфуженно умолк и потянулся к чайной чашке.

– Добро бы только это шло от них, – недобро поглядывая на Кроткова, сказал Иван Гаврилович. – Сдаётся мне, что они и за Пугачёвым стоят. Не может быть, чтобы мужику самому пришло в голову объявить себя императором.

Это мнение, явленное столь откровенно и прямодушно, произвело большое впечатление на всех присутствующих. Никому из сидящих за столом не могло до сей поры и пригрезиться, что Пугачёв является ставленником французов.

– Стало быть, тебя, Иван Гаврилович, надо понимать так, что из-за Пугачёва выглядит французский король? – потрясённо промолвил Головин. – Но какая ему в этом нужда?

– Самая что ни на есть прямая! – заявил Дмитриев. – Всему миру ведомо, что французы подначили султана начать против нас войну по ничтожному поводу: подумаешь, пошалили запорожцы, разве этого раньше не бывало? Сейчас русский положил турка на обе лопатки, а французам, известно, неймётся: стали уповать на смуту в России, подкинули нам лжецаря, чтобы возмутить крестьян против господ.

В зале воцарилось молчание, впервые здесь открыто было сказано о пугачёвщине без утайки, как о смертельной угрозе для каждого из сидящих за столом. Раньше, хотя бунт уже начал растекаться по всем уездам синбирской провинции, дворяне о

нѣм предпочитали не говорить открыто, суеверно надеясь, что не стоит звать лихо, и тогда оно может и обойти Синбирск стороной.

– Я ведь говорил как-то тебе, Фѣдор Иванович, – тихо промолвил Баженов, – что Пугачѣв был у меня в руках, не далее, как на минувшее Рождество.

Это признание канцеляриста повергло всех в изумление, они представить себе не могли, что Пугачѣв, чьѣ имя сейчас повергло дворян в ужас, мог побывать во власти ничтожного чиновника провинциальной канцелярии.

– Как же, как же! – оживился Головин. – Что-то такое припоминаю... Но почему ты его упустил?

– Ты что, Фѣдор Иванович, не знаешь повадки приказных? – съязвил Дмитриев. – Известно, сунул Пугачѣв барашка в бумажке!

– Зря изволите так говорить, Иван Гаврилович, – тихо сказал Баженов. – У Пугачѣва денег не было, он был отправлен в Казань, это тамошние сторожа его упустили. Но дело не в этом. Пугачѣв вышел из Польши, а что он там поделывал, – неведомо, вполне мог и с французами завести шашни.

– Может, он, когда был в Синбирске, и с нашими французами успел поякшаться? – предположил Карамзин. – И те дали знать в Казань тамошним французам, чтобы они устроили Пугачѣву побег.

– Вот и добаловались с этими французами, – многозначительно произнёс Дмитриев, весьма довольный тем, что подозрение на французов, мелькнувшее у него в голове без всякой на то причины, получило подтверждение от Баженова и сочувствие от Карамзина. – Надо Пугачѣва изловить живым и крепко расспросить, кто его подвинул на мысль объявить себя императором. Если французы, то всех до единого их выслать и никогда в Россию впредь не впускать.

– Пугачѣва ещё долго будут ловить, а нам, господа, не худо бы озаботиться о своих семействах, – сказал Головин. – С Оренбургской линии доходят ужасные вести. Злодей свирепствует над дворянами, не щадя даже малых детей. Я, вот только станет санный путь, мыслю отъехать в Москву.

– Нет, господа, я больше не желаю говорить о самозванце, – произнёс Карамзин. – От этих разговоров только голова кругом идёт и бессонница одолевает. Недурно бы перейти к ломберному столу и успокоить себя неспешной беседой за картами.

Три игрока определились сразу – хозяин и почтенные гости. Баженов в душе рвался сесть с ними рядом, но великодушно уступил Кроткову, который вдруг удивил всех, заявив, что не знает ни одной игры, на что Дмитриев добродушно заметил:

– Это, братец, с твоей стороны великое упущение: что ты будешь в своей деревне делать, когда выйдешь из полка?

Картами забавлялись до тех пор, пока оплывшие в шандалах свечи не стали помигивать. Расставались, довольные проведенным вечером, особенно Головин, который выиграл девяносто копеек. Прощаясь с ним, Кротков спросил:

– Почему ты не дал мне договорить о Никите Бекетове?

– Иван Гаврилович женат на его родной сестре. Вот я и остановил тебя, чтобы не огорчить гостя. Синбирское дворянство в родстве с лучшими фамилиями империи, и здесь нужно себя вести сдержанно, чтобы ненароком кого-нибудь не задеть.

-2-

Утром, глядя в окно на обильно заиндеветавшие дворные постройки, Кротков вспомнил, что у него нет шапки, и велел Сысою закладывать коляску, чтобы ехать в торговые ряды. Пока кучер запрягал коней, он успел позавтракать, переодеться и в енотовой нараспашку шубе вышел из флигеля во двор. Было холодно, но день обещал быть тёплым и солнечным. В городе люди жили тесно, впритык друг к другу дворами, и от многих топящихся печей пахло горьковатым дымом, который в безветрие не разлетался по сторонам, а оседал на землю, едва только выйдя из печных труб.

– Ты хоть расспросил, куда нам ехать? – спросил Кротков, усаживаясь в коляску.

– Тут недалеко, – ответил Сысой. – Поедем туда, куда и все люди.

Торговые ряды находились на площади, окружённой избами и амбарами. Торговля велась в основном с возов и прилавков, а также в разнос, всякой галантерейной мелочью. Торговый день только начался, покупателей было немного и, сойдя с коляски, Кротков, не торопясь, пошёл мимо возов с мукой, овсом, сеном, дровами, щепным товаром в меховой ряд, где торговали овчинами и мужицкими шубами, шкурами промыслового зверя, от заячьих до медвежьих. Здесь же находилось несколько лавок, куда заходили по-господски одетые люди.

– Чего, барин, изволите? – повернулся к Степану юркий приказчик.

– Есть у тебя, малый, шапка из недорогих, но такая, чтобы прилично была моему дворянскому званию?

– А как же-с! – воскликнул приказчик и подал Кроткову бобра, в котором он тотчас провалился головой.

– Ты что, подлец, не видишь, что она мне велика! – рассердился Кротков и, сняв шапку, заглянул в неё и понюхал. – Она же ношенная, а ты решил мне подсунуть её за новую!

– Этого не может-с быть, ваша милость! – невозмутимо сказал приказчик и тоже понюхал шапку. – Пахнет мускатом, как и должна: шкурка обработана мускатным снадобьем, чтобы отбить звериный дух.

– А нет ли у тебя енотовой, чтоб под шубу? – потребовал Кротков. – И на мою голову.

– Должен-с вас огорчить, енота нет, они нынче стали редки. Но есть выход: снимем мерку и сошьём, а бобра на шапку положим, сколько пожелаете.

– А что, в соседних лавках нет шапок?

– Мы-с туда не заглядываем, – враз поскущел приказчик и поспешил навстречу приезжему помещику, который ввалился в лавку со всем своим многочисленным семейством.

В двух соседних лавках подходящей для Кроткова шапки не нашлось, он уже намеревался зайти в третью, как его окликнул Сысой.

– Барин! Глянь-ка вон на того мужика, что стоит за возом с капустой! – воскликнул он. – Сдаётся мне, что у него на башке твоя шапка!

Кротков пригляделся. На мужике, которого указал его гайдук, была енотовая шапка, сам он стоял к нему спиной, а вокруг него толпились крестьяне и о чём-то горячо калякали.

– Ступай за мной! – велел Кротков и, обойдя возы, выглянул и обомлел. Это был вчерашний разбойник, что гнался за кротковской коляской возле Тагайского леса, рыжий верзила в енотовой шапке, в которой Кротков без сомнения опознал свою собственность.

– Барин! – жарко зашептал ему в ухо Сысой. – Не думай на него кидаться, мужики нас замнут и затопчут. Надо искать подмогу.

Здравая речь Сысои заставила Кроткова оглядеться по сторонам, и он узрел помощь в нескольких солдатах и унтер-офицере, которые закусывали пирогами и пили сбитень. Рядовые были без оружия, а на поясе унтер-офицера висел палаш.

– Господин сержант, – обратился к нему Кротков, – надо немедленно схватить разбойника, который на меня вчера напал, когда я ехал в Синбирск.

Бывалый унтер-офицер цепко взглянул на Кроткова и, смахнув с усов пирожные крошки, выдохнул:

– Никак не можем, ваше благородие, самовольствовать без приказу своего начальства!

Кротков беспомощно оглянулся. Рыжий мужик, унося на своей голове его шапку, залез на воз, явно намереваясь покинуть торговые ряды.

– Всем дам по гривеннику на водку! Берите вон того рыжего мужика и свяжите его по рукам и ногам.

– Ребята, за мной! – радостно воскликнул сержант, и солдаты, отшвыривая встречающих, кинулись к рыжему верзиле. Тот, поняв, что бегут за ним, схватил вожжи и стал нахлестывать ими своего коня, который прямоком попёр на соседний воз, опрокинул его и, запутавшись в чужой упряжи, упал на бок. Разбойник кинулся бежать, перепрыгивая с телеги на телегу, но оступился, повредил ногу, и тут же на него навалилась погоня.

– Крепче вяжите его, ребята! – велел Кротков. – Кладите его в коляску!

Он сорвал с головы разбойника шапку и что есть силы пнул

его сапогом под душу. Солдаты подняли мужика и кинули ничком к ногам воссевшего на сиденье Кроткова. Он протянул сержанту деньги.

– Благодарю за службу!

– Рад стараться, ваше благородие!

– Поезжай, Сысой, на главную улицу, надо сдать злодея властям, – сказал Кротков и победно оглядел толпу мужиков и баб, которые сбегались смотреть на его подвиг. Люди проводили коляску молчанием, но во многих взглядах светилась готовая выплеснуться наружу ярость. Сысой это углядел раньше своего барина и поторопил коней ударом бича. Толпа раздалась в стороны, и коляска помчалась к дому синбирской канцелярии.

Евграф Баженов с утра был занят допросом горничной девки, которую барыня заподозрила в краже серебряного кольца, но ничего от неё, кроме вытья и слёз, не добился. Отправив девку в холодную, чтоб она там одумалась, он стал вычитывать сообщения, которые шли в Синбирск со всех сторон, о бесчисленных нападениях разбойничьих ватаг на помещичьи усадьбы и убийства их владельцев. Солдатские команды были не в силах их защитить и часто прибывали уже на пепелища, где на воротах висел труп дворянина, а его семью нередко отыскивали под головёшками сожжённого дома. «Вот, говорят, что наш народ добр и жалостлив, – ужаснувшись, подумал Баженов, прочитав о набегах разбойников на Белый Яр. – Дворовые мужики повесили на воротах барина, и при этом его жалели, даже плакали, когда набрасывали ему на шею петлю: «Не обессудь, Василий Прокофьевич, так мир приговорил, а мы ему не перечим».

В комнату вошёл Долгополов и кашлянул, привлекая внимание своего начальника.

– Что там у тебя? – спросил Баженов, оторвав взгляд от секретных бумаг.

– Какой-то барин вора на торге изловил и привёз сюда.

– Давай обоих сюда, и сам будь рядом! – велел канцелярист и, выйдя из-за стола, подошёл к зеркалу и поправил парик.

Долгополов толкнул в комнату разбойника и уронил его на колени. За ними вошёл Кротков.

– Вот так новость! – воскликнул Баженов. – Ты, Степан Ег-

риевич, я погляжу, даром времени не теряешь: поехал на торг и схватил разбойника. Ну, и кто это такой?

– Не ведаю, Евграф Спиридонович. Вчера он выбежал из Тагайского леса и так на меня налетел, что я насилу от него ушёл, даже свою шапку у него в руках оставил. По ней и узнал вора, он среди мужиков шатался на торге, совсем страх потерял!

– Ну, это не беда, – проговорил Баженов. – Страх от него недалеко убежал, мы его сейчас ему вернём. Долгополов! А ну, вытряси всё, что у него за пазухой и в других местах спрятано.

Палач наклонился над разбойником, взял его за связанные за спиной кисти рук и резко рванул их вверх. Раздался короткий и резкий вопль.

– Это чтобы ты крыльями не размахивал, – довольно произнёс Баженов. – Неровен час, чернильницу со стола смахнешь. Ну, что там, Долгополов?

Палач протянул канцеляристу свёрнутый в трубку лист толстой бумаги. Баженов его развернул и велел:

– Возьми его, Долгополов, к себе и всыпь ему сотню палок, чтобы он был готов для допроса. И не спускай с него глаз, это пугачёвский лазутчик!

Палач подхватил разбойника и уволок его за двойные двери к себе. Скоро оттуда стали доноситься крики и стоны, на которые канцелярист не обращал внимания, весь углубившись в чтение подметного письма. Прочитав, он подал его Кроткову.

– До меня доходили вести, что злодей мечет подметные письма, но видеть их не приходилось. Я доведу до сведения воеводы твой поступок, Степан Егорович. Вот так бы все дворяне поступали, а то сбегались в Синбирск и ждут, когда их вернут на свои усадьбы. Нельзя, а надобно бы довести до каждого дворянина, чем их возмечтал пожаловать Пугачёв.

Кротков взял подметное письмо и повернул его к свету.

«Божию милостию мы, Пётр Третий, император и самодержец всероссийский, и протчая, и протчая, и протчая.

Объявляется во всенародное известие.

Жалуем сим имянным указом с монаршим и отеческим нашим милосердием всех, находившихся прежде в крестьянстве и в подданстве помещиков, быть верноподданными рабами собст-

венной нашей короне и награждаем древним крестом и молитвою, головами и бородами, вольностию и свободою и вечно козаками, не требуя рекрутских наборов, подушных и протчих денежных податей, владением землями, лесными, сенокосными угодьями и рыбными ловлями, и соляными озерами без покупки и без аброку и освобождаем всех прежде чинимых от злодеев дворян и градских мздоимцов-судей крестьяном и всему народу налагаемых податей и отягощений. И желаем вам спасения душ и спокойной в свете жизни, для которой мы вкусили и претерпели от прописанных злодеев-дворян странствие и немалые бедствия. А как ныне имя наше властью всевышней десницы в России процветает, того ради повелеваем сим нашим имянным указом: кои прежде были дворяне в своих поместьях и водчинах, оных противников нашей власти и возмутителей империи и разорителей крестьян ловить, казнить и вешать и поступать равным образом так, как они, не имея в себе христианства, чинили с вами, крестьянами. По истреблении которых противников и злодеев-дворян всякой может возчувствовать тишину и спокойную жизнь, коя до века продолжатца будет».

– Каков златоуст! – сказал Баженов. – Не слова рассыпает по нашим уездам, а горящие угли. А мы ещё удивляемся, отчего это крестьяне взбесились. Для них сия грамотка злодея важнее, чем отпускная на волю. С ней всякий мужик чувствует себя вправе вершить суд над своими господами. – Он зорко взглянул на Кроткова. – Я должен доставить сие подметное письмо воеводе. Не изволишь ли пойти со мной?

– Вряд ли я там буду нужен, – смутился Кротков. – Уволь, Евграф Спиридонович, разбойник опять так перетряс мою душу, что хочу о нём поскорее забыть.

– Зря чураться славы, Степан Егорович, – сказал Баженов. – Любои дворянин был бы рад сейчас быть на твоём месте. Не исключено, что воевода известит о поимке разбойника губернатора, твоё имя вполне может стать известно государыне.

– Не надо мне славы, ни доброй, ни худой. – Кротков встал со стула и вздрогнул: в пыточной камере завопил, избиваемый Долгополовым, разбойник.

– Добрый мастер мой Викентий, – довольно вымолвил Баже-

нов. – Вколотил-таки в разбойника страх. Как видишь, Степан Егорович, страх от человека далеко не уходит, он всегда с ним, как его тень...

«Так мне и нужна слава, – подумал Кротков, выходя из канцелярии. – Покойнику она ни к чему, мне лучше держаться в затишье, пока не обрету богатство. А там расплачусь с долгами и воскресну. Но и тогда мне слава не нужна, золото тишину любит».

Свидетелями подвига Кроткова были многие синбирцы, и весть о геройском дворянине распространилась по городу с необыкновенной скоростью. Не успел Кротков выехать на Большую Саратовскую, как его стали первыми, и самым почтительнейшим образом, приветствовать особы, которые в другое время не протянули бы ему для рукопожатия и двух пальцев, а тут начали кланяться, даже сидя в колясках, а их жёны и дочери бросали на Степана столь заинтересованные взгляды, что он стал догадываться, что слава – не пустяк, и в ней есть наисладчайший и тешащий душу хмель, коего не найти даже в штофе очищенной. А когда, завидев Кроткова, перед ним, щёлкнув каблуками, стал во фрунт армейский капитан, то он уже всерьёз пожалел, что оставил воинскую службу, встав на стезю ловца кладоискательского счастья.

Собрав дань почтительного восхищения с прогуливающих дворян, Кротков въехал во двор головинской усадьбы, где его с распростёртыми объятиями встретил Фёдор Иванович.

– Удивил! Удивил ты меня, брат, своим геройством! – воскликнул он, заключая Степана в объятия. – И не только меня удивил, а даже Дмитриева. Вот записочка с приглашением посетить его сегодня вечером. А это, брат, дорогого стоит! Иван Гаврилович строг в выборе гостей, и перед его мнением трепещет даже воевода. Пойдём к жене, она прямо-таки пылает от нетерпения тебя видеть и слышать.

Варвара Парамоновна встретила Кроткова в зале восклицанием:

– Ах, братец! Как же ты не побоялся кинуться на разбойника? Ведь он мог тебя зарезать!

– Я и сам не знаю, Варенька, как это случилось, – просто-душно развёл руками Кротков. – У меня голова мёрзла, а он в

моей шапке разгуливал. Я кинулся отнять у него шапку, а поймал самого вора и отвёз его к Баженову.

– Стало быть, ты не уступил ему своё добро? – спросил Головин.

– Выходит так, – сказал Кротков. – Я обошёл все лавки, и не нашёл енотовой шапки, а другой мне к моей шубе не надо.

– Об этом Дмитриеву не говори, – посоветовал Головин. – Ему не надо знать, по какой причине ты стал героем. Тем более что ты, Степан, сделал то, на что не всякий дворянин решится. Так запугали нашего брата злодеи.

-3-

– Ну-с, что вы на это скажете, господа? – произнёс воевода, откинувшись на точёную спинку дубового кресла. – Каков наглец! Присваивает себе имя в бозе почившего императора и призывает крестьян к избиению помещиков!

Набожный надворный советник Кудрин несколько раз перекрестился, жалобно вздохнул и вопросительно уставился на полковника Чернышева, дескать, в столь щекотливых обстоятельствах самое важное слово должны произнести военные.

– Вы что-нибудь имеете нам сказать, Пётр Матвеевич? – присоединился к молчаливому вопросу своего заместителя воевода Панов.

Полковник Чернышев за шесть лет пребывания в синбирской глуши поразителен придворный лоск камер-лакея, но военных амбиций не лишился. На крестьянский бунт он смотрел как на лёгкую возможность обратить на себя внимание государыни, стать генералом, спасителем дворянства от беспощадного злодея. Свой гарнизонный батальон он нещадно мучил муштрой, а из методов воспитания предпочтение отдавал палкам.

– У меня на руках приказ генерала Кара, – важно приосанившись, сказал Чернышев. – Мне надлежит немедленно выступить против злодея и поразить его, пока он не распростал крылья.

– Как! – ужаснулся надворный советник Кудрин. – Неужто вы оставляете Синбирск беззащитным?

– Это недопустимо! – поддержал своего заместителя Панов. – Мы же здесь, в Синбирске, сидим на тлеющих углях. Ещё несколько дуновений бунтарского ветерка, вроде этого подметного письма, и бунт может вспыхнуть здесь! У нас опасность двойная: крестьянщики ещё помнят Стеньку Разина под стенами града. Прошу вас, Пётр Матвеевич, сообщите генералу Кару, что оставлять провинцию без войск нельзя!

– Приказ подлежит немедленному исполнению! – отрезал полковник Чернышев. – Я человек военный. Вам, гражданским лицам, вольно обсуждать его, а моё дело воевать! Касаемо провинции, то сюда направлены из других губерний войска. За сим разрешите откланяться!

Полковник Чернышев подхватил со стола кожаные с раструбами перчатки и, щёлкнув каблуками, вышел. Панов и Кудрин проводили его взглядами и, не сговариваясь, достали из карманов табакерки, заправили по доброй понюшке в обе ноздри и дружно чихнули.

– Как ты думаешь, Фёдор Григорьевич, – спросил Панов, – наш синбирский Румянцев свернёт себе голову на Пугачёве?

– Свернёт, всенепременно свернёт, – ответил Кудрин. – А нам нужно немедленно бить челом губернатору Бранту, чтобы тот высылал в Синбирск воинскую команду. Наш Аника-воин уйдёт, мы голы останемся.

Известие, что гарнизонный батальон вот-вот выступит в поход против Пугачёва, поразило синбирцев как громом. Наиболее смыслённые сразу догадались, что город оставят без защиты, и не прошло и нескольких часов, как эта догадка стала достоянием всех обывателей, заслонив собой подвиг Кроткова, о котором они ещё не успели наговориться. Скоро стали поступать и верные свидетельства, что уход воинской силы – не вздорный слух: полковник Чернышев стал обнаруживать явные признаки подготовки к походу, и возле провиантских амбаров стало тесно от телег, на которые солдаты погрузили кули с сухарями, толокном, сушёной рыбой, вяленным мясом и несколько бочек водки. Обоз проследовал в крепость, туда же со всех концов города направились и чины батальона, которые жили в своих домах уже по многу лет, сопровождаемые плачущими домочадцами.

Предстоящим походом в Синбирске были недовольны все. Дворяне считали себя обиженными и брошенными на произвол бродячих разбойничьих шаек, которые в большом числе кружили возле Синбирска и только ждали случая захватить город и ограбить его жителей. Того же опасались купцы и мещане. Им уход полутысячи людей сулил немалые убытки в торговле. Но больше всего печалились гарнизонные солдаты. Многие из них обзавелись в Синбирске семьями, и теперь им грозила опасность сгинуть в оренбургской степи от сабли яицкого казака или стрелы, пущенной из лука башкиром. И, пожалуй, единственным человеком, который радовался походу, был полковник Чернышев. Он разъезжал по городу и крепости на раскормленном рыжем мерине, молодецки поглядывая на обывателей, и щедро жаловал своих подчинённых крепкими словами, а, порой, и затрецинами, поторапливая их к скорому выходу на злодея, чьи шайки близ Оренбурга Чернышев надеялся рассеять одним своим появлением.

К несчастью, в Синбирске не нашлось ни одного человека, который бы мог охладить воинский пыл бывшего камер-лакея. Те, кто его окружал, перед ним раболепствовали, а родовитые дворяне сторонились военного коменданта и лишь брюзжали на выскочку, возомнившего себя полководцем. Чернышев о бродившем среди дворян недовольстве своей особой знал и торопился поскорее покинуть город, но на сборы, как полковник ни спешил, ушло два дня.

На третий день утром батальон был построен в крепости, явились воевода, его товарищи и другие важные чины провинциальной канцелярии. Соборный протопоп отслужил молебен, и под частую барабанную дробь роты стали выходить на Большую Саратовскую, где на Чернышева с громким лаем накинута шелудивая дворняга, которую полковник когда-то стеганул бичом. Конь под полководцем шарахнулся в сторону, поскользнулся на замерзшей луже и осел на круп так круто, что всадник едва удержался в седле. В толпах обывателей, сгрудившихся на обочине улицы, это происшествие не осталось незамеченным и произвело на провожающих гнетущее впечатление.

Полковник Чернышев торопился, им, задолго до настоящего сражения, овладело нетерпение и воинственный пыл, которые опытный воин бережёт до часа решительной схватки с неприятелем и не тратит попусту. Он, не зная покоя, скакал на коне то в голову, то в хвост колонны, кричал на отстающих солдат, не давал им положенного отдыха и, делая по тридцать вёрст в сутки, измотанный маршем батальон через неделю прибыл в Ставрополь¹.

Дыхание гражданской войны в Заволжье стало более ощутимым. Это чувствовалось по злым взглядам местных крестьян, ругательствам из толпы, которая неизбежно собиралась вокруг солдат при их вступлении в каждое селение. Поразило полковника то, что, проходя мимо него, крестьяне перестали снимать с голов шапки. По его мнению, это уже был бунт, но он опасался возбудить стихийное возмущение и потому только скрипел зубами и торопил солдат.

В Ставрополе находилась воинская команда и было поспокойнее. Чернышев поспешил к военному коменданту и получил от него приказ генерала Кара усилить батальон сотней волжских казаков и полутысячею калмыков, которые находились здесь. Расположив свою команду на отдых, полковник отправился принимать пополнение. Оно ему сразу не понравилось: казаки вольным с ним обращением, а калмыки поразили Чернышева первобытно-диким видом, это было какое-то воинство времен Чингисхана, одинаково смертельно опасное для своих начальников и противника.

Среди калмыков говорил по-русски только их командир, племённой князь, имя которого Чернышев не понял и не запомнил. Это был молодой поджарый калмык, от которого несло таким ароматом, что полковник чуть не задохнулся.

— Твои люди верны присяге? — спросил он, пристально вглядываясь в расплуснутое лицо князя.

— Так, бачка, так! Государыня Катерин добрая наша матушка!

Известия из - под Оренбурга приходили тревожные: пугачёвцы плотным кольцом окружили крепость, каждый день

¹ Современный Тольятти.

устраивали на неё наскоки, их численность доходила до двадцати тысяч человек. Чернышева это не испугало, он почему-то был уверен, что при его появлении толпы немедленно рассеются, самозванец, после недолгой погони, будет им лично схвачен и доставлен к самой царице. Ум его занимали больше приятные для него последствия, чем предстоящее сражение. Чернышев не видел, что его солдаты вовсе не горят желанием браться в бой, а на казаков и калмыков надежды питать не стоит.

Переход от Ставрополя к Оренбургу оказался труден. Наступил ноябрь, даже днём было студено, из степи дул пронизывающий ветер, по ночам крепко подмораживало. Ночёвки стали мучением. Бывало, что проводили ночь под открытым небом возле костров. Если попадались деревеньки или уметы, то места под крышей всем не хватало, казаки и калмыки спали, согреваясь теплом лошадей, солдатам же почти не было возможности заснуть из-за холода. Не всегда случалось поесть горячей каши с солониной, по утрам грызли сухари и шли дальше в степь, которой, казалось, нет конца и края.

Бердская слобода была надёжно укреплена: на въездах в неё стояли пушки, горели костры, вокруг которых находились караульные. На эти огни и направлял бег своего коня всадник. Конский топот по мёрзлой земле был далеко слышен. Сначала залаяли псы, затем вокруг огней зашатались тени и раздались хриплые голоса:

– Стой, куда несёт?

Коня подхватили под уздцы, верхового стащили с седла и подволокли к костру.

– Кто таков будешь?

– Из Чернореченской. Надо известить анпиратора: полковник Чернышев вошёл в станицу с воинской силой!

Казака обыскали и повели к большой избе, освещённой пламенем костра. К Пугачёву вестник был допущен сразу. Мужичий царь был не один, а со своим фельдмаршалом Белобородовым. Он выслушал казака и отпустил с пожалованием ему большой чарки водки.

– Как думаешь, Наумыч, – обратился Пугачёв к своему соратнику, – осилим Чернышева?

– И думать не моги, что не осилим, – ответил Белобородов, сверкнув хитрыми глазками. – Завтра к вечеру полковник будет болтаться на рели.

Ночь прошла в приготовлениях к сражению. Пугачёв готовился к нему с полной надеждой на победу, на его стороне была сила и небрежность государственной власти. Генерал Кар считал происходящее в Оренбургском крае заурядным мятежом, который можно подавить несколькими сотнями солдат и поэтому, отдав распоряжения воинским командам двинуться к Оренбургу, спокойно ожидал победных реляций.

Полковник Чернышев в успехе завтрашнего боя тоже не сомневался. Выставил вокруг Чернореченской караулы, рано лёг спать, проснулся ни свет ни заря и вызвал к себе офицеров батальона, командира сотни и калмыцкого князька.

Рекогносцировку будущего сражения проводили на местности, когда батальон, казаки и калмыки вышли из Чернореченской по направлению к Маячной горе. Чернышев долго не мудрствовал, приказал калмыкам быть слева, казакам – справа, впереди батальона поставил пушки. На них он сильно надеялся, артподготовка должна была посеять панику в толпе мятежников. Под равниной и вокруг горы стоял туман. Когда он рассеялся, Чернышев обнаружил, что пугачёвцы находятся совсем близко и приближаются к нему огромной ватагой без всякого строя. Полковник двинулся им навстречу, и оба войска сошлись у Маячной горы. Пушкари выкатили вперед орудия и приготовились стрелять. Чернышев был готов сделать отмашку на залп, но его внимание привлекло движение в передовых рядах противника. Они разомкнулись и вперёд вышли с десятков солдат в форме русской армии.

– Не стреляйте, старинушки! – закричали они, размахивая руками. – Анпиратор всех вас прощает! Бросайте ружья! Встречайте анпиратора!

Движение батальона прекратилось, офицеры бросились по рядам, раздавая зуботычины, но это не помогло сохранить дисциплину. Солдаты в смятенном состоянии чувств смотрели на всадника в красном кафтане, который с обнажённой саблей в руке галопом мчался вдоль строя своих войск на ослепительно

белом коне. В этот момент с Маячной горы, захваченной пугачёвцами, выстрелила пушка, и ядро попало в батальонный снарядный ящик. Раздался оглушительный взрыв. Солдаты стали бросать ружья и брататься с мятежниками. Их примеру последовала сотня волжских казаков. Пронзительно крикнул что-то командир калмыков, и его отряд, выпустив град стрел в сторону приближавшихся к нему мятежных казаков, стал уходить в сторону Чернореченской. Это был разгром. Офицеры батальона отчаянно отбивались штыками и саблями, но их скоро обезоружили и повязали. Схватили и полковника Чернышева, который в полусознательном состоянии, обхватив голову руками, сидел на большом батальонном барабане. Его потащили к Пугачёву, но тот от пленника отмахнулся.

– Всех офицеров ведите в Бердскую! – закричал он, приподнявшись на стременах. – Жалую победителей двойной чаркой вина!

До Бердской слободы было четыре версты, и ликующие толпы вооружённых людей устремились к ней. Там их ждало царское угощение. Следом тащили захваченные пушки и волокли нанизанных на верёвку, как бусы, пленных офицеров. Последним в связке, мотаясь из стороны в сторону, брёл полковник Чернышев.

Пугачёв успел переодеться, собрать своих приближённых и встречал их на крыльце «царской избы», застланном красным сукном, сидя в кресле с высокой спинкой и резными подлокотниками. Одевание на нём было нарядное и пышное: парчовый кафтан, кармазинный зипун, полосатые с голубым кантом шаровары, козловые сапоги с жёлтой оторочкой, шапка кунья с бархатным малиновым верхом и золотой кистью. Рядом с ним, опоясанные дорогами саблями, в бархатных зипунах и халатах бухарской выделки стояли соратники. Офицеров выволокли под крыльцо и поставили на колени.

– Для чего осмелились вооружиться против меня? – важно спросил Пугачёв. – Ведь вы знаете, что я ваш государь. Ин на солдат нельзя пенять, они простые люди, а вы офицеры, артикул знаете. Впрочем, кто желает мне служить, я прощаю.

Пугачёв выжидательно воззрился на офицеров. Те, опустив

головы, обречённо молчали. Молчала толпа, ожидая решения их участи.

– Что ж, – сказал посуровевший Пугачёв, – Овчинников, начинай!

Четырёх офицеров схватили и потащили к виселицам-релям. Остальные перед своей казнью обречены были видеть смерть товарищей.

Полковника Чернышева, по знаку Пугачёва, подвели к крыльцу вплотную.

– Чернышев! – язвительно сказал самозванец. – Какой ты воин? Ты камер-лакей, тебе шандалы зажигать, тарелки подносить надо, а ты махать сабелькой вздумал!

Полковник молчал. Пугачёв махнул рукой, и Чернышева потащили к виселице.

– Твоё императорское величество! – сказал фельдмаршал Белобородов. – Таво казака, что о Чернышеве донёс, наградить надо. Верный казак!

Из толпы, окружавшей крыльцо, вышел парень, который сообщил о прибытии солдат в Чернореченскую. К Пугачёву поднесли серебряное блюдо. Он взял с него голубую ленту, к которой был прикреплён рубль с изображением Петра Великого.

– Получи, казак, награду за верность!

Толпа вокруг радостно зашумела. Пугачёв возложил на шею казака орденскую ленту и затем протянул чарку вина.

– Благодарствуем! – вымолвил потрясённый свалившимся на него счастьем парень. Его подхватили товарищи, и они отправились к столам с вином и закуской.

Бердская слобода гуляла, крестьянская вольница праздновала победу.

В Синбирске конец осени 1773 года выдался сухим и морозным, и суеверные люди стали поговаривать, что если снега не будет ещё неделю, то будущим летом случится неурожай, и к одной беде, бунту, добавится другая – голод. Но как будто эти толки подслушал кто-то наверху: в конце ноября на город на-

ползла тяжёлая, битком набитая блеклой синевой туча и стал валить снег, за несколько часов накрывший собою все ухабы и бугры синбирских улиц. Снег продолжал идти, стало ветрено, и к полуночи разразился буран. Дежурный канцелярист Баженов подошёл к окну своей комнаты, взгляделся в беснующуюся белую тьму, зевнул и решил, что ему пора продолжить своё дежурство на лавке, покрытой овчиной, но к крыльцу на свет горевшего под железным навесом костра высунулся человек, сидевший на еле бредущем коне. «Курьер!» — понял Баженов и, подойдя к печи, поставил на огонь горшок с борщом и сковородку с жареными грибами.

Курьер в сенях сбросил шубу и шапку, обстучал сапоги, и о том, что на дворе буран, можно было судить по снегу в его усах и бороде и морковно-красным щекам. Он уже не раз привозил из Казани губернаторскую почту, и Баженов был с ним порядочно знаком.

— Тебе раньше бы надо было приехать, — сказал Евграф, — глядишь, и снег раньше пошёл бы.

— На моей собачей службе я того и гляди сгину. — Курьер полез в кожаную сумку и вынул оттуда несколько запечатанных и облитых сургучом пакетов. — Спасибо ямскому старосте, надумил меня бросить возок и добираться последние пятнадцать вёрст верхом. У тебя в комнате сквозняки гуляют, а в поле так метёт, что рукавицу на вытянутой руке не видать.

Баженов расписался в курьерской книжке и мельком оглядел пакеты: целы ли печати?

— Бери борщ, грибы, грейся.

— Что-то я тебя, Евграф, не признаю. А где чарка?

— Так у тебя же новостей, поди, нет, а что буран, так про то я ведаю.

— За эту новость ты одной чаркой не обойдёшься, — сказал курьер, принимаясь к запаху закипевшего борща. — У меня есть новость, от которой весь Синбирск покачнётся.

— Врёшь, поди, — недоверчиво произнёс Баженов, но под стол нагнулся и достал оттуда штоф. — Говори, пока борщ не остыл.

— Пугачёв захватил команду полковника Чернышева в плен и всех офицеров повесил.

— Не может того быть! — воскликнул Баженов.

— Раскрой пакет да прочти, — сказал курьер и, завладев штофом, налил себе чарку водки, затем достал свою ложку, вытащил из горшка кусок мяса. — Налей и себе чарку, Евграф, такую новость без водки не осилить.

— Выпей за меня, я на службе. А весть действительно важная, завтра здесь такая суматоха начнётся...

Опрокинув вторую чарку водки, курьер отправился отдыхать. Баженов, похаживая по комнате, запер почту в железный сундук и возлёг на лавку, где долго, прислушиваясь к вою ветра в печной трубе, ворочался с боку на бок, пока смог забыться тревожным и чутким сном.

Когда в солдатских избах крепости сыграли побудку, Баженов оделся и вышел на крыльцо. Буран уgomонился, было тепло, снег осел, набух влагой, и с крыш сильно капало. Мимо крыльца проехал новый военный комендант полковник Рычков, и в ответ на поклон приказного чина приложил ладонь к шапке. Евграф мог довести до него новость, но не стал: за худые новости не хвалят и не жалуют. Воевода Панов с утра в канцелярию никогда не спешил, и Баженов по нетронутomu снегу пошёл в сторону Панской улицы.

Ему долго пришлось брякать воротной колотушкой и кричать, пока собаки своим хриплым лаем не подняли сторожа, спавшего на печи в людской поварне. Он явился, недовольный ранним гостем, и начал было ворчать, на что Евграф крепко осерчал и так ловко треснул воротника в ухо, что тот плюхнулся в снег, а уstraшенные этим собаки попрытались по своим конурам.

Шумное вторжение Баженова не осталось незамеченным хозяином. Фёдор Иванович, позёвывав, вышел в зал и недовольно взглянул на гостя.

— Ты что, Евграф, всех нас востормошил с ранья?

— Прошло время синбирским дворянам разлёживаться. Чернышевская команда разбита и пленена, сам полковник и офицеры повешены!

У Головина враз ослабели колени, и он опустился на стул.

— Известие верное? — спросил он, всё ещё надеясь, что приход канцеляриста ему приснился.

– Прибежал курьер из Казани, от него и весть. Я, Фёдор Иванович, сразу поспешил к тебе. О гибели команды губернатор ещё не знает.

– Что же мне делать, Евграф? – Головин заходил по комнате, не находя себе места. – В Синбирске сейчас полсотни инвалидов да полковник Рычков. – Достаточно разбойникам об этом проведать – и они набегут на город со всех сторон.

– Это вы решайте между собой, – сказал Баженов. – От губернатора ждать помощи нечего, он, поди, запёрся в крепости и сам ждёт подмогу от государыни.

После ухода канцеляриста Головин долго ходил по комнате, иногда остужая разгорячённую самыми противоречивыми мыслями голову прикосновениями лба к холодному оконному стеклу, наконец крикнул слугу и велел принести ему бумагу, перо и чернильницу. Написав две коротенькие записки, он послал их с расторопным малым к своим приятелям, Карамзину и Дмитриеву.

Варвару Парамоновну разбирало любопытство, вполне извинительное для молодой женщины: зачем это Евграф припёрся в их дом ни свет ни заря и востормошил Фёдора Ивановича, который не является к ней с новостями. Она встала с кровати, подошла к двери зала и слегка её приоткрыла. Муж стоял возле окна, упёршись лбом в стекло.

– Не случилась ли, Фёдор Иванович, какая беда?

Головин резко обернулся, быстро подошёл к жене и крепко её обнял.

– Пока беда случилась не с нами. Полковник Чернышев и офицеры злодеем повешены, солдаты взяты в плен.

– Ахти! – выдохнула Варвара Парамоновна и заплакала. – Это ж сколько детей остались сиротами. Живёшь и не ведаешь, когда до тебя дойдёт черед. Кто же нас теперь защитит?

– Успокойся, Варенька! Ступай к детям. Я позвал Дмитриева и Карамзина, будем думать, что предпринять, – говорил Фёдор Иванович, потихоньку выпроваживая жену из зала. – Негоже, чтобы твои слёзы видели слуги, сейчас даже на самых верных из них нет никакой надежды.

Оставшись один, Головин спохватился: скоро должны явить-

ся его приятели, а он был не одет. В своей комнате он освободился от спальной рубахи, надел штаны, рубашку, лёгкий кафтан и сунул ноги в башмаки. Тронул себя ладонью за подбородок, и в ум занозой впилась догадка, а не легкомысленно ли он поступает, позволяя слуге Матвейке каждое утро себя брить? Он вроде добрый малый, но раб, что ему стоит полоснуть хозяина бритвой по намыленной шее? Представив себе такое, Фёдор Иванович от макушки до пят покрылся ознобными пупырышками. «Надо бриться самому, чтобы не вводить холопа в соблазн», – решил он.

– Матвейка! – крикнул Фёдор Иванович и пристально взгляделся в слугу, тотчас явившегося на его зов. Матвейка стоял, не шелохнувшись, и лупал глазищами, недоумевая, почему барин так на него воззрился.

– Сбегай во флигель и скажи Степану Егоровичу, что я его жду.

– Вы же ещё, господин, не бриты, – напомнил Матвейка.

– Не твоего ума дело! – воскликнул Головин. – Делай, что тебе велено!

Дмитриев и Карамзин жили на соседней улице, не далее как в ста саженьях от дома Головина, но ходить пешими считали зазорным для своего родовитого барства, даже через дорогу в гости друг к другу они ездили на коляске. Получив приглашение, они велели закладывать лошадей и стали одеваться со всем тщанием, что обличало в них особ, знающих толк в правилах общения между людьми порядочными и знатными.

Кротков уже успел приглядеться к здешним порядкам и тоже оделся в полном соответствии с правилами приличия. Это потребовало времени, и к крыльцу дома он подошёл вместе с гостями, которые выбрались из колясок и чинно здоровались друг друга. Кротков не стал мешать их дружеским излияниям и первым вошёл в сени. За ним, тяжело топая, двинулись Карамзин и Дмитриев.

Весть, доложенная Головиным о гибели Чернышева и офицеров его команды, была встречена ими по-разному: Карамзин удрученно поник, а Дмитриев тяжело задышал и раскраснелся:

– А что другое можно было ждать от войска, которое повёл

камер-лакей, выскочивший в одночасье в полковники? Он знал, как тарелки да ложки разложить на столе, а война – не парадный обед на тысячу с лишком персон, которых он имел в своей команде. Вот и свернул себе шею на виселице и других офицеров за собой утянул. А что до солдат, то они, как и мужики, в рот злодею заглядывают. Сейчас ни одному мужику веры нет, все они разом возмечтали о дворянской смерти.

– А ведь в городе солдат нет! – поборов оцепенение, воскликнул Карамзин. – Нас же разбойники могут взять всех разом, вместе с женами и детьми. Надо из Синбирска бежать!

Дмитриев удивленно взглянул на него и покачал головой:

– Не о бегстве нам надо думать, а как составить из дворян ополчение, дабы отразить злодеев, буде они сунутся в Синбирск. Я в своём Богородицком имении привык обращаться с ними каждое лето. Чуть деревья залиствеют, и разбойники являются, а у меня всегда им готова встреча: дворовые люди с ружьями и саблями, крестьяне с дротиками и пиками. Как-то наехали, но дале околицы не пошли, знали, чем я их привечу. Послал моего же мужика с такими словами: «Скажи Ивану Гавриловичу, что мы не испугались его набату, да лошади у нас приустиали». После поехали на виду всей деревни, но задами, а на сызранской степи пограбили и сожгли мельницу.

– Такое и со мной бывало, – сказал Головин. – Однако сейчас на нас ополчились не лесные разбойники, коим достаточно грабежа, а пугачёвские злодеи войдут в город по наши жизни.

Кроткова разгром команды Чернышева крепко взволновал, но по-своему. Он почувствовал, что в случившемся кроется какой-то смысл лично для него, но что именно, было ему еще не совсем понятно.

– А сколько, если прикинуть, можно дворян поставить под ружьё? – спросил Степан.

– Больше сотни вряд ли наберётся, – знающе доложил Головин. – Да и те в годах, как мы, или недоросли. Такое войско не устоит против мужицких дубин.

– Тогда надо вам, господа, из Синбирска уходить, – вдруг решительно заявил Кротков. – Пугачёв непременно пойдёт на Синбирск.

Причина его убеждённости была неведома другим, но сам Степан уже твёрдо верил, что судьба должна свести его с «мужицким анпиратором», ибо много было подано ему знаков, что их пути пересекутся, и на этом распутье он обретёт неслыханное богатство.

– Откуда тебе ведомо, что самозванец явится к нам? – удивился Карамзин.

– Оттуда, – промолвил Кротков и, встав со стула, указал пальцем в потолок.

Дмитриев, глядя на него, покачал головой и вздохнул. Ему показалось, что Кротков блажит, и он подумал, что надо спросить Фёдора Ивановича, из-за какой хвори его шурина отпустили из полка: может, временами на него накатывает?

– Нам не надо дожидаться, пока явятся Пугачёв или окрестные мужики, – сказал Головин. – Пусть каждый решает за себя, а я уже решил: завтра меня в Синбирске не будет.

– Я так скоро не смогу, – покачал головой Дмитрий. – Надо дожидаться своих ближних из Богородицкого, коляски на полозья поставить, а это одним днём не делается.

– А я, как в воду глядел, – заявил Фёдор Иванович. – Ещё неделю назад велел переделать коляски на сани. Так что это меня не держит. А ты как, Михаил Егорович?

– Завтра отъехать я не смогу, – ответил Карамзин. – Мои так скоро не соберутся. Пока все свои одежки не перешуруют, не перемеряют, не тронутся с места, и тут хоть на них кричи, хоть ногами топай, им – что об стенку горохом. Намучаюсь я с ними, пока до Москвы доберусь.

Тем временем поспел небольшой самовар, хозяин и ранние гости выпили по чашке чаю, посетовали на бессилие властей, повздыхали о том, что Рождество им придётся встречать не дома в привычном кругу родных и друзей. Головину, который будет в Москве первым, Карамзин и Дмитрий поручили известить их родственников, что они скоро приедут. Проводив друзей, Фёдор Иванович спросил:

– А ты как решил, Степан?

– Меня Москва не прельщает, – ответил Кротков, опасавшийся ехать в Москву из-за того, что это отдалит его от самозванца. – Если ты не против, то я зазимую у тебя.

— Какие могут быть сомнения! — обрадовался Головин. — Живи, сколь похочешь. Я велю приказчику быть под твоим началом и во всём тебя слушаться.

Фёдор Иванович тут же призвал домоправителя и внушил ему, кто отныне Кротков для него, и пригрозил своей немилостью, если он проявит непокорство.

— Что с колясками?

— Скоро будут готовы, — доложил приказчик, сгибаясь в поклоне. — А трое саней для поклажи готовы, кони кованы, кучера здоровы.

Все стали готовиться в дорогу в столь великой спешке, что в этот день был отменён обязательный, как утренняя молитва, послеобеденный сон, которому предавались все без исключения в головинском доме, вдруг ставшем похожим на растревоженный улей. Варвара Парамоновна стала заниматься разборкой одежды и обнаружила, что многое из того, что нужно было взять с собой, нуждается в мелкой починке: то там, то сям выявились распоротые швы, оторванные пуговицы, но самое большое огорчение ей доставил почти новый лисий салоп, который был съеден молью и осыпался трухой, когда она взяла его в руки. Горничная получила звонкую пощёчину, а все другие девки были усажены за штопку, шитьё и укладку белья, платьев, рубах, халатов, поясов, платков, шалей и кафтанов в три больших, сплетённых из ивовых прутьев и подбитых изнутри холстом дорожных сундука.

Приглядывая одним глазом за всем, что делается в комнатах, Варвара Парамоновна другим держала под неусыпным вниманием кухню, на которой поваром и поварами заготавливалась путевая провизия: в одном котле варились куры, в другом — большие куски говядины и коровьи бабки для студня; хлебопек вымесил хлебы и булочки, и они выстаивались, дожидаясь своей очереди рассестись на раскалённом поду печи, который был чисто выметен от золы гусиным крылышком. Ключник вынес из погреба два ведёрных бочонка, один — с солёными огурцами, другой — с груздями, и поставил их рядом со столом, на котором старший из поварят нарезал балык и буженину на порционные куски и заворачивал их в чисто вымытые капустные листья.

Головин закрылся в своей комнате, снял со стены два пистолета немецкой работы, продул дула от пыли и паутины, достал пули и порох, снарядил оружие и отложил в сторону. Дорога, по нынешним временам, предстояла опасная, и велик был риск встречи с разбойниками, от которых Фёдор Иванович решил обороняться пистолетным боем. Задвинув на окне занавеску, он отомкнул окованный железом сундук и выложил на стол свою казну: пятьсот рублей ассигнациями и тысячу двести рублей золотом. Всё это надлежало разместить на себе, и для этого у него имелся прадедовский кожаный пояс с потайными карманами, в которые Фёдор Иванович бережно уложил золотые монеты и бумажные деньги. Примерил пояс на себя и остался доволен, своё золото никогда тяжёлым не кажется.

Спрятав пояс и пистолеты в железный сундук, Фёдор Иванович покинул свою комнату, дабы озаботиться снаряжением походного погребца, который он завёл по примеру старшего брата, московского барина, заразившего его чаепитием. Погребец был сделан на заказ и подбит жёстью и тюленьей кожей; в нём размещались чайник, молочник, жестяная коробка для комкового сахара, такая же коробка для чаю, стаканы в серебряных подставках и позолоченные ложечки. Он находился на сохранении у буфетчика и был в полном порядке. Фёдор Иванович велел снарядить погребец чаем, сахаром и пошёл осматривать хозяйским глазом, как приказчик справляется с погрузкой поклажи.

В этот день во многих домах синбирских дворян шли сборы в дорогу. За гибелью полковника Чернышева и его воинской команды многим синбирцам стало мерещиться, что над городом занёс дубину сам Пугачёв, и они всполошились и кинулись бежать по московской и казанской дорогам прочь от проклятого места, где век назад лютовал Стенька Разин и куда вот-вот должен был нагрянуть злодей и самозванец.

Отъезжающие чаяли одного: чтобы не растаял нанесённый бураном снег. Этого не случилось, к утру крепко подморозило и начала завивать лёгкая позёмка. Головин встал ото сна задолго до света, спохватились со своих лежанок кучера и слуги, и скоро двор наполнился ржанием коней, скрипом полозьев и мельтешением спешащих людей. Кротков вышел из флигеля, когда сан-

ный поезд был готов тронуться в путь. Он подошёл к хозяевам, обнял Фёдора Ивановича, поцеловал в щеку Варвару Парамоновну и отошёл в сторону крыльца, на котором в глиняных площадках горели большие светильники. Головин крепко ткнул кучера кулаком в спину, и барский поезд тронулся к воротам. За ним побежали мальчишки и собаки, а слуги, проводив взглядами хозяев, стали озираться на Кроткова. Они теперь были в его власти, и гадали, что это им сулит.

– Затухите огни, – сказал Степан. – Никому без моего разрешения со двора не сходить!

-5-

Двух недель хватило на то, чтобы помещики, думавшие скоротать лихолетье в Синбирске, из него разбежались в разные стороны: кто в Москву, кто в Казань, кто от готового вспыхнуть бунтом Среднего Поволжья в далёкие западные губернии. Оставшиеся в городе обыватели и те дворяне, коих удерживала от бегства служба, с душевным трепетанием ждали, что вот-вот к ним явится сам Пугачёв в окружении несметных мужицких толп. Это не было пустым страхом: из ближнего Заволжья пришли верные вести, что там, разгромив помещичьи усадьбы, к Мелекессу подступил посланный самозванцем атаман Илья Арапов, вокруг которого тотчас сгрудилась громадная мужицкая вольница, готовая обрушиться на Синбирск.

Но не всё для синбирцев было так уж и худо. Взамен загубленной Чернышевым воинской команды под начало нового военного коменданта полковника Рычкова прибыли четыре сотни солдат из Московской губернии, и это немного ободрило обывателей. Они успокоились и даже благожелательно стали поглядывать в сторону трактира, где шумели и куражились приезжие офицеры.

Все эти дни Кротков со двора не сходил, а за новостями посылал Сысоя, который, пошатавшись между людей по улицам и на торге, извещал своего господина обо всём, что творится вокруг. Когда Сысой доложил ему о появлении Арапова, это Сте-

пана встревожило. От разбойничьего атамана он не мог ждать для себя добра, ему нужен был «мужицкий анпиратор», но по известиям, полученным от Сысоя, выходило, что Пугачёв всё ещё не смог взять Оренбург и топчется вокруг него уже два месяца. «Что он там застрял? – недоумевал Степан. – Шёл бы на Казань, там есть, что пограбить, а потом на Нижний, там-то можно и разжиться казной, и клад устроить, как это делал Разин, на волжском утёсе или в каком другом месте. Тут бы я не стал зевать и взял всё, что мне нагадано».

Сысой тупо взирал на задумавшегося барина, ожидая, когда придёт пора и ему завалиться на лавку в людской избе.

– А что, правда, в трактире шумно? – спросил Степан. – Может, там и играют?

– Сказывают, офицеры сыплют несчётно золотом, краем глаза усмотрел, как по столу шарики палкой катают, а на деньги или так, не ведаю.

– И много сейчас в городе офицеров? – поинтересовался Кротков, подумывая, а не сделать ли ему вылазку в трактир, глядишь, подвернётся кто-нибудь, кого можно будет растряссти за фараоном.

– Полный трактир, а сколько, не ведаю, – ответил Сысой и поглядел в окно, за которым уже начали клубиться морозные сумерки. – Не худо бы, Степан Егорович, на Рождество побывать дома.

– Про это забудь, – строго сказал Кротков. – Ступай, и с дворовыми людьми помалкивай.

Он сел на кровать и ощутил, как его душу обуяло предчувствие игрового азарта, которое он, отказавшись от карт, не испытывал уже около полугода. В голове хмельно и весело стало пошумливать, кончики пальцев рук покалывало, и Кротков потянулся к сундуку, взял оттуда колоду, привычным движением стал её тасовать, затем вынул карту: это был король пик. Степан вгляделся в него и усмехнулся: «А ведь это явный самозванец, какой он король? Рожа красная, как у мужика с мороза. Но хоть он и не король, может неслыханно обогатить, если выпадет в игре как надо». Он опять перетасовал колоду, взял карту: это опять был король пик. «А ведь то, чем я живу последние меся-

цы, тоже игра, – возбуждаясь, подумал он. – Я поставил на Пугачёва, и эта игра будет поазартней всякой другой». Степан в третий раз перетасовал карты, и опять ему выпал король пик. Он уверовал, что это не было случайностью, так может везти только тому, у кого на роду написано быть счастливее всех других людей.

Случайное гадание взбодрило Кроткова, он вышел из своей комнаты, кликнул слугу, велел подавать ужин и позвать ключника. Хранитель чуланов и подвалов головинского дома предстал перед ним и, покряхтивая, поклонился.

– Доложи, старый, чем ты владеешь? – спросил Кротков. – Какие водки истомились ждать в твоих захоронках, чтобы их испробовали?

– Барин Фёдор Иванович велел не держать ничего другого, как только очищенную от своего завода.

В коридоре послышался чей-то повелительный голос, затем в комнату просунулся слуга и донёс:

– Господин канцелярист Баженов к вашей милости!

– Проси! – распорядился Кротков и, повернувшись к буфетчику, велел принести штоф очищенной.

«Зачем это явился ко мне приказной выжига? – озабоченно подумал он. – Такие прохиндеи просто так не разгуливают».

– Я тебе, Степан Егорович, не помешал? – сказал, резво войдя в комнату, Баженов. – А я, признаться, обеспокоился. Думаю, куда подевался гость Фёдора Ивановича, не заболел ли? Морозы-то стали заворачивать, не приведи господи!

– Ты явился как раз к ужину, Евграф Спиридонович. – Кротков едва смог выдержать устремлённый на него огненный взгляд канцеляриста. – Я велю подать прибор и для тебя.

– Не откажусь, сегодня был так занят, что не удосужился пообедать. А я ведь к тебе с новостью.

– Это потерпит. Для начала прикоснёмся к очищенной.

– Прекрасные слова! – воскликнул Баженов, опускаясь на стул. – Прогони раба своего, Степан Егорович, моя новость не для его ушей.

Кротков отослал слугу, наполнил чарки и выжидательно посмотрел на Баженова.

– За эту новость, Степан Егорович, здравствоваться не будем: злодеи захватили Самару, и что там сейчас делается, в здоровом уме вообразить нельзя.

Кротков оторопел от неожиданности, будто на него выплеснули ушат ледяной воды, и растерянно пробормотал:

– Ведь от Самары до нас всего полтора верста. Значит, через два дня они будут здесь?

– Вполне возможно. – Баженов зябко пожал плечами. – Вот разграбят Самару, натешатся убийствами и пойдут на нас или на Пензу.

Кротков взял со стола чарку, его примеру последовал Баженов. Они переглянулись и выпили. Евграф закусил солёным рыжиком, наполнил чарки.

– А за эту новость, Степан Егорович, можно почокаться. Имеем право: только что в Синбирск прибыла воинская команда подполковника Гринёва.

– Стало быть, мы спасены! – с готовностью поднял чарку Кротков. – Или не так?

Баженов сдвинул свою чарку с чаркой Степана, с причмоком её опорожнил и как-то странно и весело взглянул:

– Знать бы, где счастье, так не сходил с того места. Иной ведь полагает, что над ним дубовая крыша, а не ведаёт, что столбы гнилые, в любой миг могут рухнуть и этой крышей его до смерти придавит. Завтра утром Гринёв идёт на Самару, будем ждать, что ему повезёт.

– Что ж ты закуски стороной обходишь, Евграф Спиридонович! – вдруг спохватился Кротков, весьма озадаченный замысловатой речью незваного гостя, который был далеко не так прост, каким хотел выглядеть. «Что-то он против меня припас!» – тревожно звякнуло в его голове, хотя после второй чарки очищенной Баженов, казалось, размяк и вовсе не походил на того кнутовойца, каким его Степан увидел, когда доставил в канцелярию рыжего разбойника.

– Мы ведь с тобой в свойстве, Степан Егорович, – расслабленно стал говорить Баженов. – Головины и мне, и тебе родственники, и мы должны друг друга держаться. Не солгу, что ты мне сразу пришёлся по нраву достойным молчанием, с каким

слушал болтовню Дмитриева о французах. Это же смеху подобно, что Пугачёва нам подкинул французский король! Но этим бредит не один Иван Гаврилович, — он почти зашептал, — в Петербурге тоже витают такие догадки, но им виднее, а мы, Степан, должны думать о себе, не так ли?

Баженов пренебрёг назвать его по отчеству, это Кроткова удивило, но не смутило, он вдруг понял, что канцелярист точно против него что-то имеет, и насторожился.

— Хватит тебе жить затворником, Степан! Мой дом для тебя открыт, правда, у меня не такие хоромы, как у Головина, но и мы живём достойно, а хлеб-соль оцени сам.

— Почту за честь воспользоваться твоим приглашением, — сказал Кротков, гадая, с чего это Баженов так к нему прицепился. — Но я, как ты, верно, заметил, не умею складно говорить, да и по гостям ещё не живал. В гвардии у меня не было времени, солдатская служба не позволяла этого делать.

— Ну, что ты скромничаешь! — Баженов игриво толкнул Степана в бок. — Гвардейцы — известные кутилы, здесь про ваши подвиги мы слышаны: кабацкие попойки, пассии, в конце концов, картёжная игра ночами напролёт. Разве ты этого не изведаль, хотя бы отчасти?

Кротков обомлел от догадки: канцеляристу стало известно о причинах его выхода из полка в отпуск. И узнал он об этом от какого-нибудь проезжего офицера, а может, магистратский суд Петербурга учинил над ним розыск, и во все провинциальные канцелярии разослал приказ схватить беглого должника и в око-вах переправить в столицу империи.

— Что помалкиваешь, Степан? — пытался расшевелить впавшего в страх Кроткова разгулявшийся гость. — Как там пассии из французенок, говорят, они горазды на любовные хитрости? Признавайся, сладки заморские приманки?

Кротков промычал нечто невнятное, метнулся рукой к штофу и, проливая водку, наполнил чарки. Баженов с пьяной улыбкой на него поглядывал и вдруг протрезвел.

— Я к тому тебе это говорю, что хочу по-родственному остеречь: слушки стали погуливать в Синбирске насчёт твоей особы.

— Какие слушки? — испуганно встрепенулся Кротков.

Баженов откинулся на спинку стула и с удовольствием оглядывал Степана: «Жидковат оказался на проверку, вон ведь как напугался, стало быть, что-то за ним есть. Будет время, займусь им поплотнее: он дурак, а деньги у него есть, чем не добыча?»

— Все дворяне серчают на тебя за твоё затворничество. Старики, что нет слушателя их мудрых речей, отцы семейств, что ты завидный жених и обходишь их стороной, молодые, что не имеют ещё одного партнера для картёжных баталий. И понемногу все начинают поговаривать, что ты не их поля ягода.

— Как так? — подавленно произнёс Кротков. — Я дворянин во многих поколениях, а в отпуске из полка по болезни, что же мне всем свой отпускной паспорт предъявлять?

Чутьём опытного сыскаго умельца Баженов угадал, что Кротков многое скрывает, и за ним водятся не только грешки, но и, возможно, преступления. Он опрокинул чарку, облизал губы и намеривался запустить поглубже в Кроткова свои когти, но в зал просунулся приказчик:

— Господин канцелярист, за тобой явился солдат.

— Вот беда, надо идти на службу, воеводе что-то от меня понадобилось. Так я жду тебя, Степан Егорович, в гости, хоть завтра.

После ухода Баженова Степан опорожнил стоявшую перед ним полную чарку очищенной и выругался крепким солдатским словом. Мысль, что делать дальше, была у него одна: немедленно бежать из Синбирска этой же ночью. Если его схватят, то клада ему не видать. В Москву уходить было нельзя, там Степана могли случайно опознать — оставалась Казань, где его не знают, да и Пугачёв будет у него на виду и не пройдёт мимо.

— Запрягай лошадей! — велел он явившемуся на его зов заспанному Сысою. — Мы уезжаем.

— Это ты правильно решил, барин! — обрадовался гайдук и побежал в конюшню.

«Пусть думает, что мы едем в деревню, оповестит дворню, а та собьёт погоню со следа», — подумал Кротков и стал собираться в дорогу.

Была поздняя ночь, когда сани выехали из ворот головинского дома. Сысой хотел свернуть к Свияге, откуда они приехали из деревни, но Кротков указал другой путь — на казанскую дорогу.

Сысой этому крепко огорчился и стал немилосердно настёгивать коней, которые вскачь миновали окраину города и вынесли сани на разъезженную ухабистую дорогу.

В поле Сысой сжалился над конями и пустил их мелкой рысью. Барин опять потащил его за собой неведомо куда, но он на него не сердился, ибо сызмала был приучен не прекословить господской воле и никогда не помышлять о протесте. «Не нами это заведено, – размышлял Сысой, тупо поглядывая на мелькавшие перед его глазами конские хвосты. – Так было, так есть и так пребудет во веки веков».

Кротков, укутанный в енотовую шубу и овчинный тулуп, покоился в санях, поглядывая сквозь обметанные инеем веки на ярко сияющие звёзды. Страх, охвативший его от острых намёков канцеляриста, мало-помалу выветрился, к нему на ум пришла мысль, что с лета он начал жить не как все люди: «Погнавшись за счастьем, я отдал себя на волю судьбы, и всё, что со мной происходит, далеко не случайности, а указующий перст провидения, будь то державинский рубль, карга Саввишна, которая гонялась за мной в моих снах, Савка-бог, объявивший, что меня обогатит государь, теперь вот канцелярист, спугнувший меня из Синбирска в Казань. Но, может, там я и обрету своё счастье?»

К вечеру барин и его гайдук прибыли в большое чувашское село и остановились в ямской избе. Там было сумеречно и тесно. Кротков было потребовал себе ужин, но его не слышали, какой-то слугитель указал ему на лавку, с которой согнал мужика:

– Почивай, барин, пока кто-нибудь не наехал и не захватил это место.

Измученный дорогой, Кротков послушно лёг на лавку и, не раздеваясь, уснул. Сысой, управившись с конями, нашёл его и примостился на пол, рядом со своим господином. Скоро все уgomонились, послышались похрапывания, стоны, почти все чесались, изба была изобильно населена клопами, и они пировали всю ночь, не брезгуя ни мужиком, ни барином.

Первым, кого увидел Кротков, опаматовшись от беспокойного спанья, оказался стоявший к нему боком гвардейский офицер. Он надевал на свой мундир овчинный тулуп. Степан проморгался и обомлел – это был Державин...

– Кротков? Вот так встреча! А ты здесь какими судьбами?

– В Казань направляюсь, господин прапорщик, – вставая с лавки, пробормотал Степан.

– Я с недавних пор подпоручик гвардии! – самодовольно сказал Державин. – Состою для особых поручений при генерал-аншефе Бибикове.

– Я всегда вас почитал за лучшего полкового офицера, – бестрепетно соврал Кротков.

Так Державину ещё никто не льстил, и от этих слов он слегка раскраснелся и протянул руку, чтобы дружески потрепать однополчанина за плечо, но вдруг замер:

– Постой! Так ты жив? А я ведь тебя в гробу видел. Ты что, ожил?

– Такой загадочный случай, – проямил Кротков. – Помню, шёл по улице, а потом затмение, очнулся в гробу, уже за петербургской заставой.

Державин столь оглушительно захохотал, что чуть было не задул хлипкий фитилёк лампы перед засиженным мухами образом Николы Угодника.

– Не заливай, брат. У меня давно темечко окрепло! Ты ведь в гробу от долговой тюрьмы бежал?

– А что, Гаврила Романович, – искательно промолвил Кротков, – немец Зигерс и карга Саввишна меня по сию пору в полку ищут?

– Да нет, не слышать, чтоб искали, – хохотнул Державин. – Да и как тебя сыскать, когда ты на том свете в карты с чертями режешься.

– А ведь я, Гаврила Романович, рубль, что вы мне пожаловали, до сей поры храню и в карты не играю. Я так думаю, что от этого рубля мне богатство стало прибывать.

– Ужели так? – удивился Державин. – И много ли казны было?

– Наследство от батюшки получил, триста душ и сколько-то деньгами.

– Да, триста душ, это тебе не баран чихнул, – сказал с завистью Державин, которого болезненно угнетала его бедность. – Но тебе, Кротков, сейчас надо не наследство считать, а послу-

жить своей дворянской службой матушке-государыне. В Казани явился к генерал-аншефу Бибикову и проси определить тебя в воинскую команду. Просись к подполковнику Михельсону, сей русский немец – славный командир!

– Какая мне служба! – жалко воскликнул Кротков. – Я отпущен из полка по болезни, и о том вам ведомо. Кто меня с такой нескромной болезнью к себе возьмёт?

Державин на него с изумлением взглянул, и было видно, что он готов разразиться смехом, но вдруг лицо подпоручика стало серьёзным.

– Экий ты, Кротков, прохвост! – прорычал сквозь зубы Державин. – Тебе полк помог выпутаться из долговой тюрьмы, а ты службой манкируешь! Прочь с дороги!

Возмущённый наглостью Кроткова, Державин оттолкнул его в сторону и вышел из ямской избы.

Степан сел на лавку, нервно зевнул и перекрестил рот. «Вот и ещё одна нечаянная встреча, – подумал он. – А к чему она? К удаче или к несчастью – ума не приложу».

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

-1-

В губернском городе Кротков не имел ни родни, ни знакомых и, подъезжая к Казани, не мог даже предположить, где будет жить, но уверенно надеялся, что удача как не оставляла его до сей поры, так не оставит и впредь, и всегда явится случай, чтобы прийти ему на выручку.

На городской заставе на пути саней встал солдат, а к Кроткову подошёл прапорщик и протянул руку за паспортом.

– Откуда изволили прибыть? – осведомился он, оценивающе оглядывая Степана. – Где намерены остановиться?

– Из Синбирска. А остановиться не имею где, наверно, в гостинице.

Прапорщик с паспортом ушёл в будку, записал приезжего и, подойдя к саням, сказал:

– Ежели, господин Кротков, вы желаете жить весело и шумно, то поезжайте в гостиницу.

– Разве есть другое место, где можно остановиться? – заинтересовался Кротков.

– Как не быть? От моей сестры, вдовы подпоручика Мидонова, на днях съехал постоялец. У нее свой дом близ крепости, она может предоставить вашему благородию две комнаты. Сейчас всё в Казани стало дорого: и продукты, и квартиры из-за пугачёвского безурядья возросли в цене, но она держит прежнюю цену, лишь бы жилец был нешумный и не водил к себе пассий.

– Я как раз такой и есть жилец! – ухватился за предложение Кротков. – Говори, как туда ехать?

Дом подпоручицы Мидоновой и впрямь находился подле крепостной стены. Это была одноэтажная изба на подклети, с тесовой крышей и обшитыми дранью стенами, окружённая дощатым забором, в коих выделялись выкрашенные свежей охрой ворота. Кротков вылез из саней, скинул с плеч тулуп и заглянул в прорезь воротной створы. Толстая баба, стоя на крыльце, встрясила лисий салоп, рядом с ней тщедушный мужик держал на руках раздетого ребёнка, который верещал изо всех сил и сучил ножонками. Баба швырнула салоп на перила крыльца и заорала:

– Я тебя отучу уросить! Взял себе норов чуть что орать благим матом! Сунь его, Прошка, в снег, он живо умолкнет!

Кротков подивился тому, как родители воспитывают своё чадо, и застучал кулаками по воротам.

– Кого надо? – крикнула баба, а мужик с ребёнком забежал в сени.

– Я к подпоручице Мидоновой! – громко произнёс Кротков. – Послан к ней её братом, что на городской заставе прапорщик.

– Дерни за верёвочку и заходи, – сказала баба и, прихватив салоп, ушла в дом.

Хозяйка дома встретила Кроткова благосклонно. Это была дама в предосеннем возрасте, весьма округлых форм, очень живая и неугомонная. Она осыпала Степана градом вопросов и осталась довольна его ответами. Без долгих слов сошлись на том,

что жилец будет иметь полный пансион с оплатой пяти рублей в месяц. Мидонова показала комнаты: одна являлась спальней, в другой можно было проводить часы досуга, сидя в кресле и взирая на обветшавший угол крепостной стены. Сысоя поместили в людской, с семьёй крепостных, единственным говорящим имуществом бойкой подпоручицы.

Скоро Кроткову в его гостиную комнату был подан обед из трёх блюд: наваристые щи с большим куском мяса на мозговой косточке, каша (опять же с мясом) и яблочный компот. Степан не торопясь отобедал, затем решил испытать мягкость постели, лёг на кровать и, утомлённый дорогой, крепко уснул.

Вечером госпожа Мидонова пригласила Кроткова к себе на чашку чая.

«Эге! – смекнул Степан. – Знать, она не так уж и бедна, раз завела у себя обычай баловаться редким и дорогим питьём». Его догадка была верной: бойкая подпоручица среди немалой части казанцев, состоявшей из мелких чиновников и дворян, выслужившихся из солдат, пользовалась большим успехом как прозорливая ворожея и удачливая сваха, а её дом был столицей мирка служивых людей, с которого Мидонова собирала необременительную дань, как пчела с медоносного поля.

В гостиной, изобильно украшенной занавесочками и вышивками, кроме хозяйки, за столом сидел капитан Порфирий Игнатьевич Лаптев в пехотном мундире, явный вздыхатель госпожи Мидоновой, ветеран Семилетней войны, ещё не оставивший надежд обрести своё семейное счастье в объятиях весёлой вдовы. Кротков и Лаптев были представлены друг другу, хозяйка разлила по чашкам чай. Некоторое время в комнате слышались только лёгкие постукивания чашек о блюдца, вкусное прихлебывание и довольные вздохи, затем Порфирий Игнатьевич осведомился у Кроткова, где тот изволит служить.

– В гвардии Преображенского полку, – ответил Степан, сразу угадав в капитане свирепого и беспощадного служаку. – Сейчас в отпуску по болезни.

– Так, понятно, – промолвил Порфирий Игнатьевич. – А в Казань, стало быть, прибыли схорониться от злодейского самозванца?

– Сейчас всем помещикам неуютно стало жить в своих усадьбах, – сказал Степан.

– Зря вы сюда приехали, – покачал головой Лаптев. – Ехали бы лучше в Москву. У нас из Казани не только помещики разбежались. Сам губернатор невесть куда сгинул, говорят, он в Кокшайск убежал. Вот сколько страху нагнал на генерала Бранта казак Пугачёв!

– В Синбирске то же самое было, – отвечивал Кротков, весьма удручённый известием, что попал из огня да в полымя. – Дворяне почти поголовно бежали в Москву, а я – сюда, посчитав, что раз здесь губернатор, то и власть крепка и надёжна.

– Губернатор, к несчастью, болен, – вздохнула Мидонова. – Очень милый старичок, я была ему представлена, так он, неловко сказать, столь крепко чмокнул мне ручку, что синяк проявился...

– Что же теперь делать? – заволновался Кротков. – Раз нет губернатора, значит, город некому защитить?

– Господа, не изволите выкушать ещё по чашке чаю? – предложила Мидонова, слегка раздосадованная тем, что Степан её перебил.

– Выкушаю, со сладчайшим удовольствием! – провозгласил Лаптев и оборотился к Кроткову: – Забудьте, Степан Егорович, о губернаторе, забудьте и не вспоминайте! В Казань, слава богу, явился её спаситель, генерал-аншеф Бибииков, назначенный главнокомандующим войск, действующих против бунтовщиков.

– Я в Казани большой воинской силы не увидел, – сказал Кротков.

– А её и нет. Бибииков приехал с несколькими офицерами, но слышно, за ним идёт несметная сила: гренадёры и гусары. Эти солдаты войну знают, против них и пруссаки не устояли, а мужицкие толпы они разгонят одним криком.

– Порфирий Игнатьевич командовал гренадёрской ротой, – нежно проворковала Мидонова, пододвигая к Лаптеву вазочку с ежевичным вареньем.

– Мне за службу приходилось побывать во всяких переделках, – приосанившись, доложил капитан. – Если те, что придут за Бибииковым, такие же молодцы, какие у меня были, то никому мало не покажется: ни мужикам, ни помещикам.

– Что это ты такое говоришь, Порфирий Игнатьевич? – удивилась подпоручица. – Они что, на дворян кинутся?

– Солдат на уме всегда имеет три задумки: выжить в бою, убить врага и разжиться: вестимо, золотом. В чистом поле солдат воюет с прохладцей, а если за врагом виднеется городок, где можно будет пустить на ветер пух-перо из перин и подушек, то у солдата сразу прибавляется и удали, и силы.

– Ужели гренадёры такие озорники? – спросила Мидонова. – Зачем им пух-перо?

Глаза старого пехотинца сверкнули молодым задором, он мигнул усом и усмехнулся:

– Немцы надеялись сберечь свои талеры в подушках да перинах, но наш солдат догадлив, мигом раскусил, где надо искать золото.

– Вот, значит, как! – оживился Кротков. – Не думал, что немцы такие дурни! Но от гренадёров и нашим помещикам не поздоровится, солдаты мимо денег не пройдут. Да и злодеи за тем же громят усадьбы.

– В бунте пойдут прахом многие имения, – задумчиво произнёс Лаптев. – Кто-то потеряет всё, а кто-то обогатится. Только одна есть этому помеха.

– Какая же помеха? – встрепнулся Кротков.

– В Пруссии у каждого мужика в избе можно найти серебро и даже золото, а у нас в большом ходу лишь медные деньги. Сколько может солдат носить на себе меди? Не больше десяти фунтов – а это всего четыре рубля.

– Наш солдат и пуд легко будет носить, – сказал Кротков, по-немногу начиная догадываться, что Лаптев случайно открыл ему опасность, которая может угрожать его намерению завладеть богатством.

– С пудом меди он долго не проживёт, – резонно заметил капитан. – Любой мужик его так дубинкой зашибёт, что он не успеет вернуться. И цена медному пуду – всего шестнадцать рублей.

– Да, это не клад, – согласился Кротков. – Даже если этой меди рогожный куль.

– Медные деньги, Степан Егорович, наша казна хранит в бочках, по шесть пудов в каждом бочонке.

– А я такого и не ведала! – простодушно удивилась подпоручица.

– И бочки те дубовые, – продолжил капитан. – Каждый солдат для того и воюет, что у него перед глазами всегда бочонок, но не с медью, а с золотом.

– Зачем солдату столько богатства? – возразил Степан. – Сегодня он жив, а завтра его нет. Ему и рубля хватит, чтобы обожраться в кружале винищем.

– Солдат, как и всякий человек, живёт надеждой на счастье, – сказал капитан. – А бедняк счастлив не бывает. Картёжник ищет своё счастье в игре, а солдат – в бою. Это может понять только тот, кто побывал в штыковой атаке.

Он снисходительно посмотрел на Кроткова, и в этом взгляде прочитывалось: не знаешь ты, гвардейский выкормыш, войны, потёрся близ царских хором в караулах, а я четверть века тянул лямку армейской службы, от солдата до капитана. Презрение бывалого воина царапнуло Степана за душу, он смутился и насупился.

Перемену в настроении гостей заметила хозяйка, и у неё сразу же нашлось то, чем можно было их развеселить. На столе появилась колода карт, и Мидонова обратилась к капитану:

– На что погадать, Порфирий Игнатьевич?

– Поздно мне искать своё счастье, а вот молодому человеку узнать про это как раз. Я, если позволите, выкурю свою трубочку.

– Будьте любезны, Порфирий Игнатьевич, курите... Ну-с, Степан Егорович, вы, конечно, желаете узнать, верна ли вам ваша пассия?

– Пока я не мечтаю найти своё счастье в женщинах, – ответил Кротков. – Они ветрены, ненадежны и не могут представлять собой опору в жизни.

– Вот как! – слегка обиделась Мидонова. – И в чем вы видите себе опору?

– Известно в чём. В богатстве, – снисходительно промолвил Кротков. – Разве не так?

– А вы, Степан Егорович, умны не по летам, – хозяйка перетасовала карты. – Что ж, поглядим, какое счастье присудится к трефовому королю.

Кротков с волнением глядел, как она разложила карты на три столбца и, мучаясь нетерпением, сказал:

– Прошлого и настоящего мне не надо, давайте раскроем, что будет.

– Это против правил! – удивилась Мидонова. – Но будь по-вашему.

Она открыла карту, и Степан вздрогнул: это был король пик.

– Судьба приготовила вам встречу с властным человеком, – произнесла подпоручица. – И сия встреча круто изменит вашу жизнь...

– И это всё? – поторопил Степан гадалку.

– Бубновый туз уверяет, что на вас свалятся большие деньги. Но ими нужно распорядиться с умом, поскольку сразу объявятся охотники завладеть богатством.

– А что ещё за карта рядом? – разгорячённо спросил Степан. – Я хочу знать всё.

– Это дама трэф. К вам, Степан Егорович, она определённо теснится, – жеманно вымолвила подпоручица, указывая мизинцем на трефовую красотку, которая пухленькими губами и сдвинутыми к переносице бровями весьма смахивала на хозяйку дома.

– Пушай теснится, моего богатства ей не видать, – неосторожно буркнул Кротков, на что Мидонова опять слегка обиделась и, смешивая карты, сказала:

– Разве, Степан Егорович, вы не пожалуете того, кто нагадал вам богатство, хотя бы какой-то его малостью?

– Долго ждать придётся. Ужели я начну трясти своим кладом по сторонам, как только его обрету?

Мидонова удивлённо на него взглянула и заливисто расхохоталась.

– Экий вы, однако, забавник, Степан Егорович! Карты много чего обещают, да мало что делают. И всему виной сами люди: они начинают торопить своё счастье, а оно, как перепелка, из-под ног – фпр! И нет его!

– Я своё счастье торопить не буду, но и мимо не пропущу! – проговорил Кротков с такой мрачной серьёзностью, что подпоручица поторопилась собрать карты со стола и спрятала их в шкафчик.

Лаптев покурил свою трубочку, прислушивался к разговору и усмехался. Мидонова тем временем обнаружила, что чайник остыл, и кликнула горничную девку, чтобы та подала свежего кипятку.

– Куда это вы, Степан Егорович? – забеспокоилась она, когда Кротков поднялся со стула. – Испейте чашечку на сон грядущий.

– Извините покорно, – пробормотал он и вышел из зала в коридор, где, притулившись к стенке, его поджидал Сысой.

– У тебя всё ладно? – спросил Кротков.

– Когда, барин, домой явлюсь? – хрипло проговорил гайдук. – Все добрые люди живут по своим домам, а мы блукаем то здесь, то там, и не найдём себе места.

– Ты что, дурак, смерти моей ищешь? – вскинулся Кротков. – Захотел увидеть своего господина повешенным на воротах? Не думал я, Сысой, что ты мой ненавистник!

Из глаз Сысои брызнули слёзы, он бухнулся на колени и, обхватив господина за ноги, заскулил:

– Как я могу желать, тебе, господин, худа? У меня и в мыслях такого не было, а в усадьбу мне надо на свадьбу дочери!

Кротков схватил Сысою за воротник и приподнял с пола.

– Утри рожу и не хнычь! Добро, поезжай и скажи Корнею, что я жалую молодых коровой, двумя ярками, вином и закусками на свадебный пир. Здесь, в Казани, ты мне не нужен. А теперь ступай за мной.

В комнате Кротков открыл сундук и вынул кошель с медными деньгами. Взвесил его на руке.

«А ведь капитан прав: медные деньги тяжелы, как камни, с ними только топиться».

Он сложил в две стопки двенадцать пятаков.

– Это подарить от меня молодым. Приглядывай, чтобы они тебе карман не прорвали.

– Я найду им место! – обрадовался Сысой и живо сгрёб пятаки в полу армяка. – Я их так увяжу, что не звякнут!

Заперев за Сысоем дверь, Кротков подошёл к столу и высыпал на него из кошель оставшиеся пятаки. Сел на стул и уставился немигающим взглядом на красноватые кругляши меди.

«Каждым из них человека убить можно, – подумал Степан. – Вот будет беда, если мне достанется медный клад! На рубль идёт два с половиной фунта меди, а сколько её пойдёт на тысячу рублей? А на сто тысяч? А на миллион? Это невозможно даже себе представить! Пугачёв не дурак: если он побежит, то вперёд всего бросит медные деньги, а золото, бриллианты прихватит с собой. Мне надо от анпиратора не меньше ста тысяч рублей, а это тысяча бочек медных денег! Найду я их, а где спрятать такую прорву бочек? Не успею звякнуть у себя в усадьбе пятаком о пятак, как Парамон Ильич услышит и набежит на меня, прихватив своего приятеля исправника Платона Фомича, а за ними следом и воевода примчится и свою племянницу в тороках привезёт, мне в жёны».

Кротков мысленно представил, как на него со всех сторон навалятся охотники до его клада, и ему стало трудно дышать. Наконец-то до него стало доходить, что истинная погоня за кладом гораздо более опасное занятие, чем прогулка по летнему лесу за цветком папоротника. Чего только стоят возы медных денег, которые Пугачёв притащит за собой к месту, где задумает устроить захоронку! Их надо будет взять, а одна бочка пятаков потянет не меньше, чем на шесть пудов!

Обессиленный тревожными думами, Степан снял сапоги, задул свечу и лёг на кровать. Последнее, что ему привиделось перед тем, как погрузиться в сон, был король пик, красномордый мужик, хитро поблескивающий из-под короны блестящими чёрными глазами.

-2-

Капитан Лаптев бывал в доме подпоручицы не менее двух раз в неделю, и от него Кротков узнавал обо всём, что происходит в городе. С приездом Бибикова Казань ожила, в неё стали возвращаться дворяне, явился и губернатор Брант, отсиживавшийся, вопреки слухам, не в Кокшайске, а в Козьмодемьянске. Казань стала оживленным местом, дворяне разъезжали и расхаживали по главной улице и много шумели, призывая друг друга опол-

читься против самозванца. Отчасти эти шумства возникали не по благородному порыву, а по наущению Бибикова, который устраивал молебны, звонил в колокола и произносил зажигательные речи против Пугачёва, чьи разъезды уже стали появляться в нескольких десятках вёрст от Казани. Довольно скоро воодушевление дворян вскипело до того, что они решили составить ополчение, выставив одного ратника на каждые двести ревизских душ. Бибикову эта затейка показалась соблазнительной, он за неё ухватился и, с помощью Державина составив помпезное обращение к государыне, отправил его в столицу. Казань зашумела с новой силой, все ждали, каков будет ответ, и очень гордились своим великодушием и самоотверженностью.

Кротков от этих безумств держался в стороне, но ко всему присматривался и прислушивался, когда выходил из дома в церковь или на прогулку. На улицах стало много людей с оружием. Кроме солдат и гусар, по городу браво расхаживали дворяне, многие уже в почтенном возрасте, в мундирах времён Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, опоясанные саблями и палашами. Кротков опасался их воинственного вида и обходил стороной места, где они собирались и устраивали шумства с великой похвальбой истребить злодея самозванца не позже начала весны.

Однажды Кротков зазевался посредине улицы, и на него чуть не наехали сани, в которых сидел генерал-аншеф Бибиков, сопровождаемый несколькими гвардейскими офицерами на конях. Среди них был вернувшийся из поездки Державин. Кучер, привстав с козел, попридержал коней и так страшно гаркнул на Кроткова, что тот, обретя вдруг резвость, скакнул в сугроб и в нём спрятался от Гаврилы Романовича, которого стал с последней встречи сильно опасаться. Уж очень был прям Державин и мог Кроткова перед Бибиковым, который был крут на расправу, выдать одним словом.

С этого случая он засел в своей комнате, но после Крещения к нему явился Лаптев. Капитан был облачен в армейский мундир, поскрипывал ботфортами, и на его лице была написана важная строгость.

– Вы ещё не собрались? – удивлённо спросил Лаптев.

– Куда же мне торопиться?

– Как куда? Все дворяне сегодня должны быть в благородном собрании, – сказал Лаптев. – Слышно, пришёл рескрипт императрицы, и его нам огласят.

– Я же не казанский дворянин, а синбирский, и мне в вашем собрании делать нечего.

– Будет вилять, Степан Егорович, – надвинулся на Степана капитан. – Вы российский дворянин, а где усадьба – значения не имеет.

Лаптев ушёл на половину Мидоновой, и Кротков, почесав затылок, стал одеваться. «Надо мне спрятаться за спинами, – думал он. – Державин будет впереди, возле начальства, и меня не увидит».

На улице сгущались вечерние сумерки, сырыми хлопьями шёл снег, возле большого каменного дома благородного собрания было светло: горели костры, а крыльцо освещали немалой величины сальные плошки. Улица была заставлена санями собравшихся со всего города дворян, которые толпились возле крыльца, ожидая своей очереди войти в дом.

Кротков и Лаптев выбрались из саней и, отрясая с шуб снег, пошли к крыльцу, к которому подъехали сани, запряжённые шестернёй. Из них появился встреченный громкими криками радости генерал-аншеф Бибииков. Кротков схоронился за широкоплечего и громоздкого в своей шубе капитана и высмотрел, что Державина среди офицеров свиты командующего не было. «У Гаврилы Романовича вечно ноги зудятся, – с облегчением подумал Кротков. – Умчался, поди, в какую-нибудь провинцию, учить мужиков уму-разуму».

Толпа с улицы мало-помалу стала втягиваться в дом, вошли в него и Лаптев с Кротковым, а затем через обширные сени попали в просторный зал, где в шубах, выдыхая клубы пара, перетapтывались и пошумливали более двух сотен дворян, а перед ними на возвышении стоял их предводитель, баснословно богатый помещик Макаров. Вдруг по собранию прошелестело: «Идёт!» Дворяне, раздвинувшись в сторону, образовали неширокий промежуток, и по нему бойко прокатился Бибииков, следом широко шагал генерал, которого, судя по вопрошающим шепоткам, в Казани не знали. Поднявшись на возвышение, они встали рядом с предводителем, и Бибииков громогласно произнёс:

– Представляю казанскому дворянству назначенного повелением государыни Екатерины Алексеевны начальником Казанской и Оренбургской следственных комиссий генерал-майора Павла Сергеевича Потёмкина.

В зале запереглядывались и заперешёптывались: всех заинтересовало, из тех ли он Потёмкиных, что и согреватель государыниной постели одноглазый Григорий. Вскоре до Кроткова донеслось, что из тех, троюродный брат фаворита.

Затем Бибииков взял поданный ему офицером свиты большой лист бумаги и потряс им перед собравшимися в зале:

– Се рескрипт всемилостивейшей нашей государыни императрицы Екатерины Алексеевны казанскому дворянству!

Собрание благоговейно затихло, готовясь с трепетом вслушиваться в каждое слово, истекшее из уст богоподобной Фелицы, но впереди Кроткова вдруг кто-то явственно произнёс:

– Сейчас достанется на орехи нашему немцу...

Губернатора Бранта в Казани не любили, посему нарушителя тишины не одёрнули и зашептались:

– Наш губернатор не генерал, а баба, Пугачёв был у него в руках, а он его упустил...

– Бросил город и шмыгнул в Козьмодемьянск, там запил горькую...

В зале зашкали, и Бибииков приступил к оглашению рескрипта. Его содержательная часть оказалась невелика, но была опутана такими непроходимыми зарослями цветистого пустословия, сопряжёнными с архаичной сложностью грамматических конструкций, что читать послание явилось делом трудным. Понять же его было вообще невозможно, за исключением той фразы, которую Бибииков выделил криком, затем сделал паузу, достал платок, отёр мокрое от слёз лицо и прокричал вновь:

– Государыня объявляет, что считает себя казанской помещицей и просит причислить к благородному собранию!

Когда до казанских помещиков наконец-то дошло, что государыня возжелала стать им ровней, ликованию не было пределов. Дворяне, казалось, от радости потеряли рассудок: стали обниматься, слюнявить друг друга поцелуями, источать слёзы восторга. Стоявшие близ возвышения приступили к Бибиикову и

вздумали его качать, но офицеры свиты отстояли генерала. Бранта при этом весьма крепко толкнули, и его увели, поддерживая под руки, губернаторские адъютанты.

Кротков с недоумением оглядывался вокруг, не понимая причины столь бурного веселья, когда его облапил грузный помещик и прижался к его лицу жёсткой бородой:

– Воссияло над Казанью державное солнце!

– Какое ещё, чёрт побери, солнце? – вскричал Кротков, пытаясь освободиться от крепких объятий.

– Государыня восхотела стать казанской помещицей!

– А мне какое до этого дела! – взмолился Кротков. – Отпусти меня, я синбирский помещик.

Лаптев с усмешкой наблюдал за Кротковым, но на выручку ему не спешил. Наконец помещик освободил Степана из своих объятий, напоследок расцеловав его в обе щеки.

– Это была дурная с вашей стороны выдумка, Порфирий Игнатьевич, позвать меня в этот сумасшедший дом, – сказал он, стирая поцелуйную мокроту с лица енотовой шапкой.

– Вы пережили только начало события, – хладнокровно ответил капитан. – За сим последует продолжение.

Бибиков снисходительно поглядывал на расхोлившихся от радости дворян, он был доволен, что его затея возбудить в них рвение к защите от шаек самозванца увенчалась успехом. Со всех сторон до него доносились выкрики наиболее ретивых в усердии помещиков:

– Даю двадцать рекрутов!

– Я жертвую деньгами, тысячу рублей!

– Отдаю тридцать коней!

– Даю пятнадцать рекрутов!

Однако мало-помалу все выкричались, переобнимались и перещеловались, и предводитель Макаров смог объявить:

– Составлено верноподданейшее письмо казанских дворян к нашей всемилостливейшей государыне! – Он потряс над головой листом бумаги. Это утихомирило помещиков, и они обратились в слух.

– Всеавгустейшая государыня, премудрая и непобедимая императрица!

Дрожайшее нам и потомкам нашим драгоценное слово, сей приятный и для позднейшего рода казанского дворянства фими-ам, сей глас радости, вечной славы нашей и вечного нашего веселья, в высочайшем вашего императорского величества к нам благоволения слыша, кто бы не получил из нас восторга в душу свою? А потому, если бы теперь кто из нас не радовался, тот бы поистине худо изъяснил усердие своё отечеству и вашему императорскому величеству, даянием некоторой части имени своего на составление корпуса нашего...

После столь возвышенного вступления, произнесённого Макаровым прерывающимся от волнения голосом, в зале воцарилось гробовое молчание. Дворяне были ошарашены велеречивым красноречием своего предводителя, который до сего случая ни разу не блистал перед ними в роли Цицерона, и всегда бывал немногословен и сдержан. И только Кротков, живший среди петербургских пиитов, сразу увидел в речи Макарова руку уже начавшего погромыхивать грозowymi ямбами Державина.

– ... Кроме неописанные вашего императорского величества к нам милости, достойны ли и дворяне похвалы особливой, что они хотят защищать своё отечество? Они суть его, они подпора престола царского. Пепел предков наших вопиет к нам и зовёт на поражение самозванца. Глас потомства уже укоряет нас, что в век преславной и великой Екатерины могло возникнуть зло сие; кровь братьев наших, ещё дымящаяся, устремляет нас на истребление злодея. Что же мы медлили? Чего давно недоставало нам, дабы совокупно поставить грудь свою противу хищника? Ежели душа у дворянина есть, то всё у него есть к ополчению. Чего же недоставало? Не усердия ли нашего? Нет! Мы давно горели им, мы давно собирались и хотели пренебречь жизнь свою; а теперь по милости вашего императорского величества есть у нас согласитель мыслей наших. Руководством его составил у нас корпус... Ведь сколь ни жарко рвение сердец наших, однако слабы бы были силы наши на истребление гнусного врага нашего, если б ваше императорское величество не ускорили войсками своими в защищение наше, а паче всего присылкою к нам его высокопревосходительства Александра Ильича Бибикова...

Услышав своё имя, Бибиков развернул плечи, как крылья для полёта, встопорщился, а казанское дворянство уставилось на генерала, прозревая в нём своего героя. В какой-то миг показалось, что все кинутся к нему и примутся его качать и славословить, но предводитель Макаров не дал этому совершиться. Его голос, до этого подрагивавший от волнения, окреп и приобрёл звонкую силу.

— ... Что ты с нами делаешь? В трёх частях света владычества имеющая, славимая в концах земных, честь царей, украшение корон, из благолепия величества своего, из сияния славы своей, снисходишь и именуешься казанскою помещицей!.. Признаем тебя своею помещицей, принимаем тебя в своё сотоварищество! Когда угодно тебе, равняем тебя с собою. Но за сие ходатайствуй и ты у престола твоего. Мы более на тебя, нежели на себя, надеемся!

После оглашения письма государыне желающими принять участие в ополчении стали все. Единодушие в ненависти к взбунтовавшимся рабам сплотило дворянство, и в России, пожалуй, не нашлось ни одного дворянина, кто бы не возмутился тем, что крепостные, то есть его говорящее имущество, восхотели воли и равных прав с хозяином. Помещикам было невдомёк, что народное правосознание считало их захватчиками, а крепостное право — игом и никогда не признавало справедливым крепостное рабство, особенно после того, как дворяне получили освобождение от обязательной службы. Вот и явился Пугачёв и взял под себя мужицкую силу, и разгулялась крестьянская вольница, и дрогнула мать сыра земля и застонала вся Россия!

-3-

Весной в Казань пришло известие, что Пугачёв разгромлен под Татищевой слободой, Оренбург освобождён от осады, и самозванец с кучкой своих самых отпетых приверженцев пустился в бегство, и по пятам за ним следует подполковник Михельсон. В городе начались торжества и ликования, звонили колокола, служили молебны, дворяне уже считали себя победителями, но огонь пугачёвщины не был потушен. Стоило только «мужицко-

му анпиратору» где-нибудь появиться, как пламя бунта вспыхивало до небес и бушевало с невиданной мощью. Довольно скоро Пугачёв набрал ещё большую, чем прежде, силу, и 10 июля 1774 года, окружённый толпами крестьян, горнозаводских рабочих, казаков и башкир, подошёл к Казани. У дурной новости быстрые ноги, и на следующее утро всем казанцам стало известно, что ополченцы полковника Толстого разгромлены, сам он убит, а Пугачёв встал со своим войском за Сибирской заставой на Арском поле.

Кротков вполне мог бы и продремать это событие, но уже на рассвете в доме Мидоновой качалась суматоха. Услышав доносившийся в его комнату шум, Степан вышел в коридор и едва не столкнулся с хозяйкой, которая несла, прижимая к груди, стопу посеребрённых медных тарелок.

— Беда, Степан Егорович! Посмеивались над Пугачёвым, а он со своими разбойниками явился в Казань. А мы, после смерти Бибикова, остались без защиты. Губернатор на ладан дышит, и войск в городе нет.

— А как же ополчение? — воскликнул Кротков. — В него же подписались все дворяне, мещане Суконной слободы, что они?

— Об этом ли мне сейчас надо думать? — Хозяйка всхлипнула. — Ведь разбойники сожгут город, надо хоть что-нибудь попрятать в землю. Помогите мне, Степан Егорович!

— Как не помочь! — Кротков взял у хозяйки тарелки. — Куда идти?

Захоронку подпоручица решила сделать в дощатом сарае, где хранились телега, сани, хомуты, пустые бочки и лубяные короба. Кротков поставил тарелки рядом с кучей другого добра, которое хозяйка успела сюда натаскать, и смахнул прилепившуюся к щеке паутину. Хозяйка указала ему на лопату.

— Копайте, Степан Егорович, яму, а я погляжу, не забыла ли чего в доме.

Земля в сарае была сухой и мягкой, и скоро он углубился в неё по колено. Бездельная жизнь разнежила Кроткова, он вспотел и остановился передохнуть. «А ведь сейчас, — осенило его, — вся Казань роет в своих домах захоронки, здесь живёт много людей достаточных, им есть что прятать. А если Пугачёв разо-

рит город и тем паче его спалит, то сколько кладов останется без хозяев? Десятки, а может, сотни. Будет чем разжиться удачливым людям, и Пугачёв всему причина: от него клады плодятся везде, где он только ни побывает».

Когда в сарай вернулась хозяйка, он уже углубился в землю по пояс. Кротков заглянул в принесённый ею короб, там были два чугунных шандала, ножи, ложки, большая бронзовая солонка и другая посудная мелочь.

— Что-то Порфирий Игнатьевич куда-то запропал, — сказала Мидонова. — Он горяч, как бы не увязался за полковником Толстым. На улице только и говорят о его смерти. За графом пошли самые горячие дворяне и попусту погибли.

Кротков, не отвечая, продолжал копать. Яма углублялась и ширилась, он ушёл в нее почти по плечи и навалил вокруг большую кучу земли.

— Подавайте своё добро, — произнёс он, положив лопату на край ямы.

«Какая незадача, — подумал Степан, принимая из рук хозяйки медный чайник. — Хороню клад вместо того, чтобы его обрести. Но это, может быть, тоже знак: прежде, чем найти клад, надо его закопать».

Поверх добра, сложенного в яму, Кротков постелил рогожу и засыпал её землей.

— Надо бы прикрыть чем-то свежую землю, — сказала Мидонова. — Сразу видно, что здесь только что копали.

Кротков взял в углу сарая охапку старой соломы и растряс её над захоронкой. Этого ему показалось мало, он подволок сани и поставил их над кладом хозяйки. Степан оглядел свою работу и насторожился: где-то вдалеке послышался глухой удар, потом другой, третий...

— Что это? — забеспокоилась Мидонова. — Гремит, как Волга в ледоход.

— Это не Волга, — ответил Кротков, догадавшись, что происходит. — Это бьют пушки. Стало быть, Пугачёв пошёл на приступ Казани.

— Ахти! — вскричала Мидонова и стала метаться по сараю. — Что теперь будет!

Кротков, забыв о хозяйке, выскочил на улицу. Мимо него с ружьями наперевес бежали солдаты, из соседнего двора выехала коляска, за ней две телеги, на которых горой были увязаны пожитки. Кучера стоя погоняли коней, и обоз, набирая скорость, помчался в сторону Волги. Пушечные выстрелы слышались всё чаще и сильнее и, перекрывая их, раздался тысячеголосый вопль людей, кинувшихся истреблять друг друга. Это Пугачёв, пославший утром три именных указа: губернатору Бранту с требованием сдаться, русскому населению, и татарам Новой и Старой слобод с отеческим увещанием не чинить ему сопротивления, не дождался ответов и двинул свои толпы на приступ.

Грохот пушек и приближающийся шум сражения заставили Кроткова поторопиться. Он забежал в свою комнату, открыл походный сундук и, вынув оттуда кошелёк с золотом, привязал его к поясу. «Вот и пришёл мой час, — возбуждённо подумал он. — Мужичий анпиратор рядом, теперь мне надо его не упустить!» Внезапно сквозь окно до него просочились дикие вопли и бешеный топот конницы. «Башкирцы! — догадался Степан. — Как бы мне не попасть под их пики и сабли». Он выбежал из дома, высунулся в ворота и едва успел уклониться от дротика, брошенного промчавшимся мимо всадником. Кротков, петляя, как заяц, пробежал по двору, примерился к забору, одним махом взлетел на него и оказался в узком проулке. Поднявшись с земли, он без оглядки помчался в сторону крепости.

Проулок упирался в стену амбара, цепляясь за выступы венцов, Степан забрался на крышу, дополз до конька, выглянул и тотчас отпрянул, потому что рядом с его головой ударила в доску пуля. Немного выждав, он высунулся снова и увидел, что перед въездом в крепость гарцует, размахивая пиками и саблями, небольшая толпа башкир, ворота распахнуты настежь, и в них, возле пушки, суетятся солдаты. Ударил выстрел, несколько башкир упали с коней, остальные, завизжав, усаkali прочь. Путь к спасению был открыт, и Кротков, скатившись с амбара, побежал к крепости, перепрыгивая через убитых на дороге людей.

Солдаты, откатив назад пушку, облепили створы ворот и пытались их закрыть, но они никак не поддавались их усилиям, по-

тому что уже много лет всегда стояли нараспашку, осели и заржавели в петлях.

– Навались, ребята, навались! – кричал красным от натуги солдатам их прапорщик.

Из крепости на коне на них наехал генерал Потёмкин. Он был бледен и устрашающе сердит.

– Если в сей момент ворота не будут закрыты, – заорал он на прапорщика, – ты заплатишься головой!

Худой и жилистый прапорщик, подстёгнутый генеральским криком, прыгнул к воротам, упёрся, и они, будто ждали этого, подались. Раздались скрежет, скрип, и ворота, сначала одна створа, затем другая, были закрыты.

В крепость сбежались все, кто должен был в это время биться с пугачёвцами: четыре батальона солдат, дворяне-ополченцы и все офицеры, а их было в Казани немало. Успели прибежать сюда и самые резвые обыватели. Губернатора Бранта, который лежал уже при смерти, принесли в крепость на руках. По состоянию своего здоровья он был уже не командир, оставался Потёмкин, но и тот не спешил объявить себя комендантом. Сами собой командиры батальонов взяли каждый по одной стороне крепости и расставили своих солдат по стенам, нашли канониров, приставили их к пушкам, возле которых сложили порох и ядра для отражения приступа.

Ворвавшиеся в город башкиры были передовой разведкой, и они донесли Пугачёву, что в городе царит безначалие, и ободрённый этой вестью самозванец принялся спешно готовиться войти в Казань.

Вбежав в крепость, Кротков остановился, чтобы перевести дух, и огляделся. Вокруг было сутолочно и шумно, люди искали своих знакомых и родных, чтобы с ними соединиться и затем обрести какой-нибудь кров. Требуя лекаря, вопили несколько раненых, которых принесли с улиц и бросили прямо на землю. Крепостные коровы, которых не выгнали сегодня в поле на пастьбу, бродили между людей и возмущённо мычали.

Мимо Кроткова прошли несколько солдат с ружьями, и он поспешил за ними следом к крепостной башне, поднялся по лестнице с яруса на ярус на самый верх. Степан знал, зачем он это

делает: ему нужно было видеть Пугачёва и его войско. На стене тесно стояли солдаты и обеспокоенно глядели в сторону Арского поля, где загрохотали, плескаясь чёрным дымом, пушки, и пугачёвцы, двигая перед собою возы с сеном и орудия, тремя громадными оравами пошли на штурм города.

Кротков пристально, до рези в глазах, вглядывался, чтобы увидеть «мужицкого анпиратора», но в клубах порохового дыма, заставших окраину города, разглядеть его было невозможно. «Наверное, он держится позади своих толп, – подумал Кротков. – И правильно делает. Для меня будет беда, если он раньше времени сгинет».

– Беда, братцы! – раздался чей-то крик. – Гляньте, кажись, ополченцов погнали дубинами!

– А вот и губернаторский загородный дом зажгли!

Кротков посмотрел в сторону пожара и увидел, что защитники предместья, недоросли-дворяне, бегут, прячась по кустам и заборам, а за ними гонятся мужики и гвоздят их дубинами.

Сопrotивление суконщиков, которые обороняли свою слободу, тоже было недолгим. Башкиры с горы осыпали их стрелами и, убедившись, что пушку ремесленников разорвало выстрелом, с дикими воплями ринулись в улицы, убивая всех встречных, не щадя ни стариков, ни детей. В дома полетели горящие головни, и скоро вся Суконная слобода была объята пламенем.

Сам Пугачёв с Шарной горы начал обстреливать город из десятка пушек ядрами и картечью. Толпы мятежников заполонили город, начался грабеж домов и купеческих лавок, сразу загорелось несколько зданий, пугачёвцы без пощады резали до смерти всех, кто им попадался одетым в немецкое платье.

– А вот и сам Пугач! – вскрикнул самый востроглазый из солдат, указывая рукой на всадника в малиновом кафтане и жёлтых штанах, который сидел на белом коне в окружении своих приспешников.

Кротков поглядел в сторону «анпиратора» и ничего толком не узрел: перед Пугачёвым выкатили пушку, она выстрелила, и всё вокруг заволокло чёрным дымом. Степан увидел офицера, который приблизил к глазам зрительную трубку, и кинулся к нему:

– Господин поручик, дозвоьте глянуть на злодея.

– Хочешь на анпиратора Петра Фёдоровича посмотреть? – усмехнувшись, сказал офицер, протягивая ему зрительную трубку. – Вполне каторжная морда!

Дым от пушки рассеялся, и Кротков ухватил усиленным трубкой взглядом сначала пугачевские сапоги, потом жёлтые штаны и малиновое сукно кафтана, затем лицо и вздрогнул от изумления: как одна копейка на другую, Пугачёв был похож на приснившегося Степану мужика, который вытолкнул из гроба покойного государя Петра Фёдоровича. Пугачёв смотрел мимо Кроткова, но вот он отёр пятернёй бороду и, взглянув Степану в глаза, подмигнул, как приятелю, по-свойски и с каким-то понятным только им, двоим, тайным значением.

«Он знает, что я здесь! – вздрогнул Кротков. – Но мне-то нужен совсем не он, а его золото!»

Степан опять навёл на Пугачёва зрительную трубку, но тот про него забыл. Размахивая руками, стал указывать своим приспешникам, куда стрелять из пушек и катить возы с навитой на них соломой, чтобы поджечь стены крепости. Отдав трубку, Кротков подошёл к башне и встал возле неё, отрешённо наблюдая за всем, что происходит вокруг.

Солдаты на стенах заряжали ружья, канониры в башнях забивали заряды в пушки, офицеры требовательно оглядывали солдат и ободряли их словами. Все ждали штурма, но случилось неожиданное: Пугачёв внезапно передумал идти на крепость, его канониры подцепили пушки к упряжи и, настёгивая коней, бросились следом за своим «анпиратором», за ними толпой повалила мужицкая пехота, по пути поджигая дома.

Солдаты на стенах не знали, радоваться такому повороту событий или огорчаться, однако Пугачёв ушёл, а служивые люди всегда довольны передышкой. Они отложили в сторону ружья и стали шарить в своих карманах, ища в них, кто сухарные крошки, кто табак, чтобы набить трубку и побаловаться колючим и духмяным дымком.

Кротков вспомнил, что сегодня не ел, и у него засосало под ложечкой. Он поторопился сойти со стены и поискать, где бы ему покормиться, но попал не на раздачу хлебов, а на крестный

ход, который после молебна о спасении христиан от богомерзкого злодея проводил архиепископ Вениамин. В шедшей за священнослужителем толпе Кротков увидел Мидонову и поспешил к ней. Понемногу он вывел её в сторону и сказал:

– Я так поспешно убежал, что не взял с собой даже корки хлеба.

Мидонова заслонила от посторонних глаз корзину, которую держала в руке, и достала из неё кусок рыбного пирога.

– Не покидайте меня, Степан Егорович, – жалко пролепетала подпоручица. – У многих здесь такие разбойничьи лица, что я боюсь.

Они отошли в угол крепости к Спасскому монастырю и сели на бревно. Кротков дожевал пирог, потянул воздух ноздрями и насторожился. В дыру, пробитую пушечным ядром в стене, из города несло дымной гарью. Казань горела, и Степану впервые, с того часа, как он кинулся в погоню за кладом, стало по-настоящему страшно. «Может, анпиратор и подмигнул мне, чтобы надсмехнуться, – с ужасом подумал Кротков. – Он уже знал, что спалит Казань, и я сгорю заживо!»

О пожаре, который забушевал в Казани, скоро узнали все, кто находился в крепости. Она стала наполняться едким сизым дымом, из-за стен в крепость пчелиными роями полетели искры, которые осыпались на крыши домов и церковных зданий, люди стали вопить и метаться по крепости, ища спасения, но его не было. Уже казалось, что всем им уготована гибель, поэтому командиры батальонов, сами по себе, велели своим солдатам образумливать толпу и поливать крыши водой. Некоторых отъявленных смутьянов солдаты успокоили кулаками, а остальной народ попритих от бессилия и согласия с тем, что смерти не избежать, и стал слёзно молиться и ждать чуда.

Глядя на хныкающую Мидонову, Кротков ощутил гнетущее душу беспокойство и понял, что если останется сидеть рядом с ней, то расплечется и затоскует. Усилием воли он поднялся на ноги и побежал к башне. В крепости было смрадно и душно и, взобравшись на стену, он сразу почувствовал, что его обдуло горячим ветром. Уже наступил поздний вечер, но в Казани было светло, как днем – горели не десятки, а многие сотни домов. Со

стены город казался огненным морем, где крепость оставалась единственным, ещё не сметённым волнами пламени островом, над которым вздрагивало, готовое пролиться кипятком, красное небо.

Жителей Казани терзало лихо, а Пугачёв пировал. К нему башкиры, подкалывая пиками, согнали обывателей и поставили их перед «анпиратором» на карачки.

– Что, детушки, признаете меня своим государем? – сказал Пугачёв, красуясь перед людьми на приплясывающем белом коне, одетый в красный, цвета свежей крови, кафтан. – Я-ить ваш анпиратор Пётр Фёдорович!

– Признаем! Признаем, батюшка! – вскричали, обливаясь слезами, казанцы. – Царствуй над нами, как похочешь своей милостью!

Пугачёв объявил всем прощение и велел выкатить пятнадцать громадных бочек вина. Вокруг каждой из них тотчас же образовались многолюдные шайки из победителей и побеждённых.

Пили все: кто с радости, кто с горя; Пугачёв разъезжал от одной бочки к другой и тешился любованием и обожанием своей персоны пьяным народом.

Шум гульбы едва достигал крепости. Там близко к утру стало легче дышать. Буря затихла, люди почувствовали, что беда их миновала, и смогли предаться беспамятным, с тревожными видениями, сну. Кротков всю ночь провёл в полудрёме, перед рассветом заснул, но скоро пробудился от солдатских криков. Он протёр глаза и увидел, что к крепости спешат всадники. В них он сразу узнал гусар, которых подполковник Михельсон, опрокинув в жаркой схватке пугачёвские толпы, послал с вестью о победе к губернатору Бранту.

Солдаты навалились на ворота изнутри и распахнули их настежь. Люди кинулись к гусарам, сняли своих избавителей с коней и начали с радостными криками их качать. Кротков тоже стал возбуждённо вопить вместе со всеми, но скоро опамятовался и задумался: «А ведь анпиратор неслыханно обогатился в Казани, и сейчас с золотой казной бежит к Волге. Как бы мне от него не отстать».

Кто-то потянул его за рукав. Кротков оглянулся – это была Мидонова.

– Степан Егорович, надо спешить!

– Спешить и мне надо, – сказал он. – Но мне с вами не по пути.

– Сейчас всем по пути! – жарко задышала Кроткову в ухо подпоручица. – Михельсон отобрал у злодея всё, что тот награбил в Казани, владельцев зовут узнавать свои вещи.

От огорчения Кроткова чуть не перекосило: пошла прахом его мечта завладеть кладом, ведь Пугачёв потерял всё, что имел. Оглушённый упавшим на него несчастьем, он двинулся за Мидоновой, которая его подталкивала и поторапливала.

– Берите, Степан Егорович, всё, что попадёт в руки.

– Там моего ничего нет.

– Вы что, угорели на пожаре? А где ваши енотовая шуба и шапка? Где мой дом и всё, что в нём было? У меня даже карт не осталось, чтобы наворожить вам удачу!

– Была у меня удача, – мрачно сказал Кротков. – Да вся вышла.

Они заторопились и первыми вбежали на площадь, где под охраной солдат стояли три десятка телег с наваленным на них имуществом ограбленных пугачёвцами казанских жителей. Востроглазая Мидонова сразу углядела, к чему нужно кинуться в первую очередь, и устремила к жарко вспыхивающей золотыми бликами посуде, где выхватила из кучи большой кувшин.

– Хватайте, Степан Егорович, в обе руки, что подороже!

Кротков знал в золоте толк и, приглядываясь к блюдам, чашам, братинам, кувшинам, тазам, определил, что все они, хоть и не дешёвы, но отнюдь не золотые, а медные, в лучшем случае, позолоченные и посеребрённые. Владеть грудой меди не входило в его намерения, и он спросил:

– Укажите на то, что вам по нраву?

Мидонова, которую уже теснили от воза набежавшие отовсюду погорельцы, указала на лохань и братину. Степан их быстро схватил и, держа над головой, вынес сквозь насеившую на пугачёвскую добычу толпу.

С других возов люди растаскивали одежду и, порой, за одну

шубу хватались двое или трое и тянули её всяк на себя. Кротков оставил Мидонову сторожить добычу, а сам обошёл вокруг всех возов и убедился: золотыми деньгами здесь и не пахивало. «Или анпиратор успел унести свою золотую казну, – подумал он, – или её присвоили Михельсон и его солдаты».

Пока он бродил, Мидонова исхитрилась обменять кувшин на куний мех и теперь им любовалась, разложив на своих плечах.

– Что же вы пришли пустым? – сказала она. – Быть возле беспризорного богатства и не попользоваться им, это, я вам скажу, грешно.

– Меня затолкали праведники, – усмехнулся Кротков. – Вон их сколько сюда набежало! Идёмте на погорелище, пока и там то, что может быть, сохранилось ещё, не растащили казанские бессребреники.

Улица, где находился дом подпоручицы, выгорела подчистую. На ней остались стоять лишь кирпичные печи и масляно поблескивающие сажей остатки срубов. На дороге лежал толстый слой золы и пепла, а по сторонам торчали обгорелые колья заборов. Мидонова заплакала, ещё издали увидев, что её дом сгорел, но слёзы не помешали ей усмотреть на родном пепелище мужика, который расшвыривал головёшки как раз на том месте, где стоял сарай над зарытым день назад кладом.

– Грабят! – завопила подпоручица и кинулась изо всех сил спасать своё имущество. Мужик, застигнутый врасплох бабьим криком, обернулся, и Кротков узнал в нём Сысой.

– Ты где, стервец, потерялся? – грозно спросил он. – Я тебя возвысил подле себя из кучеров в гайдуки, а ты меня бросил и прокачался на печи возле своей бабы всю зиму и весну!

Беглый раб упал перед своим господином в золу на колени.

– Не по своей охоте я тебя, барин, оставил! – запричитал Сысой. – В твоей усадьбе с осени господином злодей Фирска Тюгаев, он всех мужиков под себя подмял, живёт себе барином в твоих хоромах.

– А что бурмистр Корней? Куда он глядит?

– Дядька Корней на ночь с Фирски сапоги разувает, а твоя горничная девка ему пятки почёсывает, чтобы он слаще заснул. Меня, как я приехал, злодей велел своим товарищам по разбоям

посадить на цепь, как пса, в холодный амбар, где я просидел всю зиму, пока моя женка не выплакала меня у Фирски, но я всю весну провалялся в горячке, и только что ожил.

– Ты что, в Казань пешком явился? – удивился Кротков. – Где кони? Где коляска? Мне что, в деревню на своих ногах идти?

– Неделю тому ушёл я от Фирски убегом, – сказал Сысой. – Выпросил у Парамона Ильича лошадь и телегу, чтобы за тобой ехать.

– И где же ты их потерял? – рассердился Кротков.

– Прослышал, что Пугачёв в Казани бушует, испугался, что отберут его ребята лошадь, – преданно глядя на барина, ответил Сысой. – И оставил её и телегу на той стороне Волги, а сам пришёл к тебе пешком.

– Стало быть, ты решил меня на мужицкой телеге везти? – помрачнел Кротков.

– А на чём же ещё? – простодушно развел руками Сысой. – Не пожаловал меня Парамон Ильич своей каретой.

Появление Сысои было весьма кстати, и в Кроткове недолго вызревала решимость пуститься следом за «мужицким анпиратором», чтобы не проворонить своё счастье. Он посмотрел на Мидонову, которая бродила вокруг сгоревшего сарая и выглядывала, цел ли клад.

– Сколько я задолжал, сударыня, за этот месяц?

– Вы что от меня съезжаете, Степан Егорович? – прослезилась погорелица. – С кем же я останусь? Сначала Порфирий Игнатьевич куда-то запропал, а теперь вот и вы меня покидаете.

Чтобы не отягчать себя долгим прощанием, Кротков, вопреки своему обыкновению во всём искать выгоду, торопливо сунул в руку хозяйки плату за целый месяц и, не оглядываясь, поспешил прочь.

Волга была пуста: Пугачёв навел на жителей прибрежных селений своими бесчинствами в Казани такую жуть, что они сидели по домам и не помышляли пускаться в путь даже по самой

крайней нужде. Завозни и лодки стояли причаленными к берегу, перевозчики сидели в кабаках или харчевнях. Возле воды под дощатым навесом, где были свалены вёсла, на охапке соломы дремал старик, сторож переправы. Услышав шаги, он поднял голову, протёр глаза и выжидающе уставился на Кроткова. Поняв, что перед ним барин, старик поднялся на ноги и поклонился.

– Как, дед, нам на ту сторону перейти? – спросил Степан, щурясь от сияющей солнечными пятнами речной воды. – Или переправщики разбежались?

– Куда им бежать? Они живут с перевоза. Подожди, барин, чуток, я своих молодцов турну, они тебя живо на тот берег доставят. Но платить будет надо не за двоих, а за всю лодку.

– И сколько? – Кротков поморщился от непредвиденного расхода.

– Мы берём по гривеннику с души, стало быть, за лодку рубль.

– Ступай, тормоши перевозчиков, – сказал Кротков и подошёл к кромке воды, где сел на выкинутую волной корягу, вдыхая запах свежей сырости от большой воды, который, казалось, насквозь пропитал пологий берег со следами волн, оставившими на песке следы и узоры из сора и грязной пены во время недавней бури. С другого берега в глаза Степана светило клонившееся к краю земли ослепительно блиставшее солнце, которое понудило его зажмуриться и опустить голову. «Вон как ярится, – лениво подумал он. – Может, и правду говорят, что оно всё насквозь из расплавленного золота».

За его спиной кашлянул Сысой.

– Как там? – спросил Кротков.

– Машут руками, нас кличут.

В лодке за вёслами сидели четверо гребцов и кормщик. Сысой поддержал барина, затем сам влез в лодку.

– Что, Пугачёва вчера перевезли на ту сторону? – спросил Кротков, усаживаясь на скамью.

– Чёрт бы его перевозил! – сердито сказал кормщик. – Он в другом месте Волгу перелез с большой пакостью: село Сундырь сжёг.

– Чем же его мужики там озлили?

– Им велели из сваяжской канцелярии свои лодки порубить, они так и сделали. За это своими избами поплатились.

Гребцы ударили в весла, и лодка резво пошла поперёк стремительно несущейся воды. Кротков пересекал Волгу впервые, и возле берега был спокоен, но когда лодка удалилась саженой на двести, у него под ложечкой начало ощутимо посасывать от беспокойства, и он заозирался по сторонам. Степан вдруг вспомнил, что не умеет плавать, и побледнел, увидев, как Волга, спокойная у берега, на стрекне стала раскачивать и вскидывать лодку на размашистых волнах, и в ней, неведомо откуда, вдруг прибыло вершка на два воды. Кротков, сглотнув першивший в горле комок, только хотел сказать кормщику про воду, как сидевший впереди него парень закричал:

– Дядька Иван, оборотись! Мы, кажись, вовремя унесли со своего берега ноги! Не Пугачёв ли там объявился?

Кротков посмотрел за корму и увидел на берегу больше сотни всадников.

– На мужиков вроде не похожи, – сказал кормщик. – Наверное, казаки.

– Нет, это гусары! – радостно выкрикнул Кротков. – Они идут вдогон за Пугачёвым.

«Надо будет к ним пристать, – подумал он. – И вместе идти за анпиратором. Гусары знают, где он есть, и от него не отстанут».

Скоро лодка достигла правого берега. Кротков отдал кормщику деньги за перевоз и взглянул на Сысою.

– Ну, и где лошадь с телегой?

– Недалеко. Вон в тех избах.

Это был большой рыбацкий стан с множеством развешанных на кольях сетей и лодками возле воды. Сысой зашел в избу и скоро вернулся с мужиком. Они скрылись в большом сарае, немного там пробыли, и Сысой вывел за уздцы лошадь, запряжённую в телегу. Кротков посмотрел на неё и поморщился.

– Как же я на берёзовых ребрах поеду! – сказал он. – Ты бы хоть соломы наложил.

– Вот въедем, барин, на берег, и будет тебе соломенная перина! Здесь только одна рыба чешуя да тина. А солому на первом же поле возьмём.

Кротков устроился на телеге, и они по долгому взвозу поднялись на береговую гору, где находилась большая деревня, на краю которой стоял господский дом. Степан велел повернуть к нему, и они въехали на большой двор, где их встретил старик, сказавший, что он здешний бурмистр, а барин уехал от пугачёвщины жить в Москву.

– Нет ли у тебя места, где бы заночевать? – спросил Кротков.

– Как нет, – ответил бурмистр. – Хоромы пустуют, ночуйте, только для тебя, барин, разносолов у меня нет.

Кротков проголодался, кроме того, он не забыл про гусар, которые, переправившись через Волгу, скоро будут здесь, а их командир был нужен Степану для его задумки.

– Вели кому-нибудь, старый, изловить парочку молодых хохлаток и попотчуй меня курятиной.

Просьба гостя обещала бурмистру не меньше двугривенного, и он оживился, подозвал проходившего мимо парня и пустил его в шумную погоню за курами. Скоро в углу двора полетели пух и перо, задымила летняя, сложенная из кирпичей под открытым небом печка, и повар водрузил на неё котёл с водой.

К Степану подошла девка и поставила на скамейку большую чашку с малиной.

– Угощайтесь, барин, – сказала она, краснея от своей смелости. – Не подать ли чего ещё?

Кротков с ней ласково заговорил, но когда он взял её за руку, Сысой так и замер с большой охапкой соломы в руках, которую принёс, чтобы положить в телегу. Ему были памятны валдайские шалости своего господина, когда того обобрали бесстыжие ямские девки, и он встревожился, как бы с барином не случилось такой же беды, но Кроткова, который и впрямь почувствовал, как у него начались головокружение и сердцебиение, спасли гусары. Их конная толпа с топотом ворвалась во двор, а к Кроткову подъехал офицер.

– Секунд-майор граф Меллин, – отрекомендовался он.

– Синбирский дворянин Кротков. Если вам, граф, нужен здешний хозяин, то он в бегах, как, впрочем, и ваш покорный слуга. Я только что выбрался из Казани и следую в свою деревню.

Запах варившейся курятины привлёк внимание проголодавшегося майора, и Кротков не замедлил пригласить его разделить с ним ужин.

– Не откажусь, – сказал Меллин. – Отдам распоряжения и буду к вашим услугам.

Он повернул коня к бурмистру, который стоял на коленях под присмотром двух гусар.

– Распорядись, старик, забить для моих удалцов бычка или нетель. Да вели истопить баню, а то я в Казани продымился насквозь.

– Нет у меня власти тратить барское добро, – ответил бурмистр. – Господин с меня спросит, а чем я отвечу?

– Ответишь моей распиской, – важно заявил граф. – Она потянет наравне с золотом. Обменяешь её в казначействе на деньги. Или ты не веришь моему слову?

– Верь или не верь, да твоя власть теперь, – сказал бурмистр. – Скажи, барин, своим ребятам, чтобы огня не жгли, а то, неровен час, спалят двор.

– Хватит болтать, старик! – рассердился Меллин. – Казань сгорела, а ты об этих гнилушках печёшься. Ступай и делай, что тебе велено.

Граф сошёл с коня, кинул поводья денщику и сел на скамейку рядом с Кротковым, который искоса на него взглянул:

– О Пугачёве что слышно?

– Бежит сломя голову и всё вокруг крушит. Вон что с Казанью сотворил! Скоро вернутся мои гусары, коих я послал в разведку, и донесут, куда он направился. Мне велено идти за ним следом, а будет удача, то и схватить злодея.

К ним подошёл повар и доложил, что ужин готов.

– Что у тебя ещё, кроме кур? – спросил Меллин.

– Есть ветчина с хреном, копчёный сом.

– Подавай! – велел граф. – И водку носи, самую очищенную!

Посовещавшись, они решили в дом не идти и ужинать во дворе. Сысой и денщик графа принесли стол, два стула и скатерть. Скоро поспела водка и закуска. Граф ел по-солдатски: много и жадно. После третьей чарки он расслабил пояс, достал трубку, раскурил её и сказал:

– Признаться, я удивлён, что вы так спешите в свою усадьбу. Это опасно: разбойники здесь встречаются на каждом шагу.

Ответ у Кроткова был уже готов, и он поведал майору о злодее Фирске, который воцарился в его доме и тиранствует по всей округе.

– Уходя из Казани, – пояснил Степан, – я крепко надеялся пристать к воинской команде, которая пойдёт за Пугачёвым. И мне повезло: я встретил вас.

– Я не против, если вы пойдёте со мной, – согласился Меллин. – Только будет ли вам со мной по пути? Пугачёв идёт куда ему вздумается, и в Казани его никто не ждал, а он взял и нагрязнул, как снег на голову.

– Казань разорена, но и многие помещики потеряли свои имения, – сказал Кротков. – Пугачёв неслыханно обогатился грабежами и, отягощённый добычей, он, наверное, не так уж скор на ногу, как прежде.

– Мне уже доводилось видеть обозы, брошенные злодеем во время бегства. Никаких сокровищ в них не было, двадцать – тридцать телег с тряпьем и мехами да бочки с медной казной, а на неё мои гусары не падки.

– Но того не может быть, граф, чтобы у Пугачёва не было золота, – дрогнувшим голосом произнёс Кротков. – Он его, верно, держит при себе.

– На это и надеются мои гусары, – кивнул Меллин. – Поэтому мне не приходится их подгонять. Каждому обещана награда за поимку злодея.

Ночь была тёплой, и Кротков её провел в телеге на соломе. В утренних сумерках к нему подошёл Меллин и потряс за плечо:

– Мы выступаем, Пугачёв бежит к Цивильску, если вам с нами по пути, то поторопитесь.

Цивильск был далеко в стороне от его усадьбы, но Пугачёв никогда не ходил прямо. «Кружит, перед тем, как сделать захоронку клада!» – догадался Кротков, спохватился и стал поторапливать Сысю, чтобы тот поскорее запряг лошадь. Вокруг них царила суматоха воинского сбора, гусары седлали коней, наиболее бойкие обшарили кухню, погреба и чулан, и тащили из них всё, что можно было съесть. Бурмистр, глядя на

такой разор, сначала хотел встать на пути расхитителей, но гусары его оттолкнули, и он от них отступился. Однако граф Меллин не забыл своего обещания, подъехал к бурмистру и бросил к его ногам бумажный лист.

– Не хнычь, старик! Вот тебе расписка на пять рублей, отдашь её своему барину. А гусарам кланяйся, что они у тебя ничего не сожгли и не перепортили девок.

По знаку майора унтер-офицеры начали строить гусар в ряды, горнист вынул заблестевшую на солнце сигнальную трубу и протрубил поход. Когда команда тронулась в путь, Сысой завывал на упряжи последний ремешок, и Кротков успел пристроиться к гусарскому обозу.

Пугачёв из Цивильска, где он разграбил провинциальную казну и обогатился на пятьдесят бочек медных денег, половину которых раздал народу, направился к Курмышу, где совершил то же самое: грабёж казны, убийства офицеров и раздачу части казны людям.

Появление Пугачёва в чувашских и мордовских землях было подобно свежему ветру, мгновенно раздувшему подземный огонь всегда тлевшей ненависти рабов к своим господам до истребляющего пожара крестьянской войны. Где бы ни ступал Пугачёв, он мгновенно обрастал мужицкими толпами, которые после его ухода разбивались на многочисленные ватаги, продолжавшие вершить суд и расправу над всем дворянским родом. Поэтому команде майора Меллина то и дело приходилось вступать в схватки с мужицкими шайками, а затем ловить разбойников и на месте их вешать и расстреливать. Эти стычки и казни задерживали гусар от сближения с самозванцем, и к Курмышу они подошли через день после его ухода из города.

От Курмыша до усадьбы Кроткова было всего вёрст двадцать, и он напомнил графу об его обещании погостить в его имении. У них на пути была деревня Парамона Ильича, и версты за две до неё разведчики донесли Меллину, что она захвачена большой шайкой злодеев.

Майор разделил свою команду на два отряда, и гусары, незаметно подобравшись к деревне по оврагу, атаковали её с околиц, так что разбойникам пришлось худо: многие из них насмерть

были порубаны и растоптаны конями, а уцелевшие огородами бежали в лес.

Кротков знал, что в усадьбе Парамона Ильича для него Пугачёв ничего не оставил, и въехал в неё вместе с гусарским обозом. Возле дома стоял Меллин и, задрав голову, смотрел на громадный осокорь, что рос возле крыльца. Стоявшие рядом с графом унтер-офицеры, сняв, как и он, шапки, глядели туда же. Заметив Кроткова, майор жестом руки велел ему поторопиться.

– Это не твой дядюшка? – спросил Меллин, указывая на дерево.

Кротков обомлел. На толстой ветке, раздетый до исподнего белья, в петле висел Парамон Ильич. Он, видимо, не давался в руки злодеям, и его лицо было сильно разбито.

– Это он, – слабым голосом произнёс Кротков и бессильно опустился на ступеньку крыльца. Он никак не мог поверить, что такая беда могла случиться с осторожным Пармоном Ильичем, всегда знавшим, как избежать опасности.

– Снимите его, – распорядился граф.

Унтер-офицеры на конях подъехали к ветке, обрезали верёвку и опустили тело на землю.

– Ещё не остыл, – сказал унтер-офицер. – Едва успели повесить до нашего прихода.

– Где же дворовые люди? – спросил Кротков. – Надо бы его отсюда унести.

Майор велел унтер-офицерам взять гусар и обшарить усадьбу. Нашли только ветхую старуху, которая была от старости слепа, глуха и едва взмывкала, но Кротков не убоился приступить к ней с допросом.

– Отвечай, старая, где дворовые люди?

Старуха пошамкала беззубым ртом и взвизгнула:

– Нюрка!

Под крыльцом зашуршало, и скоро оттуда выползла рябая и худенькая девчонка, которую Кротков тут же схватил за руку.

– Где люди? Кто моего дядюшку казнил?

– Мы здесь остались одни, – пропищала девчонка.

– Его дворовые люди убили? – поразился Кротков.

– Ну да! – подтвердила Нюрка. – Мы жалели барина и ревмя

ревели, но Федотка, кучер, схватил его и повесил. А потом все закричали, что царь мимо деревни идёт, и кинулись бежать. А меня бабка за подол удержала, ей страшно оставаться одной.

– Как! Здесь только что побывал Пугачёв? – воскликнул Меллин. – Вот так удача! Где разведчики?.. Гусары, на конь!

– Он, граф, наверняка ушёл в моё поместье, – торопливо сказал Кротков. – Я покажу дорогу.

– Сверчков! – велел Меллин унтеру. – Дай ему коня!

На выезде из деревни они встретили трёх гусар, ходивших в разведку, и те подтвердили, что злодей не далее как час назад ушёл по дороге на Кротковку.

– Недавно здесь был: конские шевяки на дороге не успели остыть, ваше высокоблагородие!

До Кротковки было всего несколько вёрст, и когда стала видна колокольня, майор Меллин велел команде остановиться и спешиться.

– Следуйте за мной, – сказал он Кроткову и, достав из сумы зрительную трубку, полез в гору. Обычно хладнокровный немец явно взволновался, и Степана обожгло подозрением: граф потому так рьяно гонится за Пугачёвым, что тоже мечтает покуситься на его клад. И он взглянул в спину соперника с такой яростью, будто хотел прожечь его взглядом насквозь.

Долгоногий граф опередил Степана, и когда тот, запыхавшись, встал с ним рядом, майор, приставив трубку к глазу, оглядывал окрестности. Кроткову стеклянное око было не нужно, он и своими глазами отчётливо видел деревню и всё, что в ней происходит. Обычно пустая, она была заполнена вооружёнными людьми. У ворот усадьбы стояли телеги и пушка, возле которой пылал костёр.

– Он явно решил встать здесь на ночлег, – пробормотал Меллин и затем воскликнул: – А вот и он сам!

К дому, окружённый толпой приспешников, подъехал Пугачёв, ловко сошёл с коня, поднялся на крыльцо, пооглядывался и завернул в ретирадное место. Подтягивая на ходу штаны, появился оттуда и, повелительно взмахнув рукой, что-то приказал своему окружению. Казаки охраны сняли с телеги чёрный сундук, несколько больших кулей и занесли в дом. «Вот он, мой

клад! — едва сдерживая крик, подумал Кротков. — Анпиратор решил зарыть его у меня в погребе!» Он покосился на майора, но того уже рядом с ним не было. Размахивая руками, граф торопился по склону горы к своей команде, отдавая на бегу приказы: гусарам садиться на коней, обозу стоять на месте.

Гусары, сдерживая коней, стали спускаться с горы, на ходу перестраиваясь для лихой кавалерийской атаки, а в это время из усадьбы донёсся пронзительный визг: разбойники выволокли из хлева громадную свинью и повалили её на спину, чтобы зарезать. Кротков не возмутился утратой хавроньи, которая была гордостью его покойного батюшки Егория Ильича, потому что всегда приносила по пятнадцать поросят приплода, он во всё глаза глядел на свой дом, чтобы не пропустить бегства «анпиратора». «Только бы он успел запрятать клад, — с тревогой думал Степан. — А то налетят гусары и мигом растребушат и сундук, и кули».

На этот раз граф Меллин не отсиживался за спинами, а впереди своих гусар влетел на околицу деревни и стал махать саблей, беспощадно рубя не успевших взять в руки свои дубины мужиков. Навстречу большой толпе, что вывалилась из проулка, гусары ударили из пистолетов, и эти выстрелы докатились до усадьбы, оповестив Пугачёва о беде. На ходу засовывая руки в рукава красного кафтана, он прыгнул на коня и устремился к воротам. За ним стали убегать его приспешники, а по двору с леденящим душу визгом бегала недорезанная свинья, волоча торчащий в её боку огромный нож.

-5-

Кротков, сбежав с горы, прыгнул в телегу и толкнул Сысой кулаком в бок.

— Трогай! — вскричал он. — Да шибко не гони, не хватало ещё перед домом свернуть себе шею.

— Не первый раз здесь еду, — сказал Сысой. — Уж и не надеялся, что вернусь, да ты, барин, везучий.

Деревня встретила их мёртвой тишиной. На улице и вдоль за-

боров лежали убитые люди, ни одного гусара среди них не было, только мужики, в большинстве своём молодые парни, ещё недавно свято верившие в обещанную им мужицким царём волю и погибшие, не успев даже к ней прикоснуться.

Одна створа была сорвана с ворот усадьбы и валялась на земле, перегораживая дорогу. Кротков слез с телеги и торопливо пошёл к крыльцу, обойдя стороной лужу крови, в которой лежала свинья. С крыльца он оглядел двор и не увидел никого живого. Гусары, не заглянув в дом, устремились в погоню за Пугачёвым. Это было ему на руку, его ждал клад, и увидиться с ним Кротков надеялся без свидетелей.

Пройдя через сени к залу, он остановился, опасаясь, что за дверью кто-нибудь затаился и ожидает его с ножом в руке, прислушался, но ничего, кроме своего горячего и прерывистого дыхания, не услышал. Тогда Степан осторожно шагнул в зал и увидел, что всё в нём осталось по-прежнему, только возле окна лежали друг на друга сваленные кули. Он на цыпочках прошёл к своей комнате и толкнул дверь, которая резко скрипнула, и это заставило его шарахнуться в сторону и прижаться к простенку. Вокруг стояла тишина, и было слышно лишь позуживание большой мухи, которая закружилась вокруг его головы. Степан заглянул в комнату и зажмурился от ослепляющего блеска, который ударил ему в глаза. На стуле лежал тяжёлый перстень с алмазом величиной с небольшой боб. Он примерил его на средний палец, и перстень оказался впору.

Пугачёв успел наследить в комнате: на кровати лежали грязные исподние штаны и рубаха, с подушки свесились шерстяные носки, от которых разлило пёсьей вонью, на сундуке лежала соболья шапка. Но Степана привлекла не она, а замок, на который был заперт заветный чёрный сундук. Он торопливо вышел из комнаты, и в дверях зала его встретил Сысой.

— Что за напасть такая, — сказал гайдук. — Где Пугачёв ни пройдёт, все люди куда-то деваются. Остался один Корней.

— Быстро найди мне топор! — крикнул Кротков. — А людишки мне не нужны, разбежались — значит, туда им и дорога!

— На что тебе, барин, топор?

— Неси, болван, скорее! — взвизгнул и затопал ногами Кротков.

Сысой своего господина в таком гневе ещё не видел и кинулся на кухню за топором.

– Стой на крыльце и никого в дом не пускай! – приказал Кротков и, войдя в зал, запер дверь на крюк.

Несколькими ударами он сшиб с сундука замок, распахнул крышку и, не в силах устоять на враз ослабевших ногах, опустился на пол. Сундук был битком набит золотыми монетами, полуимпериалами, империалами, пятирублёвками и десятирублёвками, золотыми цепями, пряжками, чарками, блюдами и чашами. От золотого блеска у Степана закружилась голова и пересохло в горле. Он достал початый штоф очищенной, промочил себе глотку и освежил память. Его взгляд упал на стоявший в углу сундука берестяной туес. Степан открыл его и прослезился от радости: он был до краев наполнен драгоценными камнями, алмазами, рубинами и яхонтами.

– Если это не счастье, то его нет и вовсе! – прошептал, задышавшись от нахлынувших на него чувств Степан. – Анпиратор дурак, с таким сундуком можно иметь всё, чего только не возжелаешь, даже в Турции. Далась ему мужицкая воля, жил бы в своё удовольствие и горя не ведал.

Вспомнив о кулях, валявшихся в зале, Кротков кинулся к ним. Во всех были соболя, и только один оказался твёрдым на ощупь. Он торопливо его развязал и вынул туго увязанный верёвкой бумажный свёрток, в котором оказались ассигнации. Степан ещё не привык доверять бумажным деньгам, эта находка его не так обрадовала, как золото, но и не огорчила. «Пуд ассигнаций тоже для меня не помеха», – решил он, возвращаясь к сундуку.

От жадного созерцания золота у него опять закружилась голова, но громкий стук в дверь отрезвил. Он вскочил на ноги и, мягко ступая, вышел в зал. Стук повторился с новой силой. «Беда! – мелькнуло в голове Степана. – А если это Пугачёв вернулся за своим сундуком?..» Он подкрался к двери и прислушался. Кто-то за ней часто посапывал. Дверь снова затряслась от ударов, уже, кажется, ногами. Кротков онемел от страха и стал беспомощно оглядываться, ища себе путь к спасению.

– Барин! – раздался голос Сысой. – Ты живой?

– Чего тебе надо? – обрел силу говорить Кротков. – Что ломишься?

– Тут такое диво, барин, что ума не приложу, как сказать.

– Говори просто, как своей бабе! – озлился Кротков. – Говори и проваливай!

– Барин! Корней на гумне нашёл в хлебе больше десятка вожов...

– Эка невидаль! – возмутился Кротков. – А ты меня с постели, болван, поднял ради такой глупой вести?

– Возы-то не пустые! – радостно завопил Сысой. – На них дубовые бочки, и Корней говорит, что те бочки полны денег!

Кротков похолодел.

«Чёртов анпиратор! – ругнулся он. – Так-таки пожаловал меня медью. Что мне теперь с ней делать?»

– Беги к Корнею, укройте возы снопами и никому ни слова, даже своей бабе, если не хочешь потерять башку!

Сысой затопал сапогами, убегая из дома, а Кротков ладонью вытер со лба холодный пот и побрёл в свою комнату. На золото он взглянул без первоначального восторга, известие Сысой подтолкнуло его к мысли, что обрести клад – не только великая радость, но и большая обуза: золото надо пересчитать, во что-то сложить, куда-то спрятать и сторожить его день и ночь, подвергая жизнь ежеминутной опасности. На клад всегда найдётся тьма-тьмущая охотников им завладеть. Внезапно ему в голову пришла страшная мысль, что «анпиратор» может вернуться за своим золотом. И что он со Степаном сотворит, если найдёт его возле своего сундука? Не легче ему будет, если за тем же явятся граф Меллин со своими гусарами.

Кротков заметался по дому, но не нашёл ни одной щели, куда можно было спрятать золото. В комнате отца ему на глаза попались кожаные, с пряжками на каблуках, огромные ботфорты, в которых Егорий Ильич ходил под водительством фельдмаршала Миниха в поход на турок. Степану они приглянулись своей вместительностью. Он их подхватил и, прибежав в свою комнату, стал сыпать в них пригоршнями золотые монеты. Когда ботфорты были наполнены, Степан их подтащил к стене за дверью, поставил стоймя и накрыл исподними штанами Пугачёва.

Часть золота была устроена, но из сундука его ubyло всего на треть, и Кротков стал нагружать монетами медную посуду: кувшины, братину, чаши, однако скоро спохватился, и его взгляд упал на померанцевое дерево, которое росло в широкой кадке. Мелькнула мысль спрятать в неё остатки золота, но сразу же и погасла: не было времени убирать с пола землю, а она его выдаст. И тут же Степан нашёл место для захоронки – печь. Он подошёл к ней, открыл дверцу и заглянул в зев – там было пусто. В печь ушли и бумажные деньги, и золотые, и туес с дорогими камнями. Меха он рассовал под кровати в своей и отцовской комнатах.

Весьма довольный содеянным. Кротков сел на свою кровать, намереваясь на ней раскинуться, и тут его взгляд наткнулся на чёрный сундук, стоявший посреди комнаты неопровержимой уликой. «Куда его девать!» – всполошился он и взялся за топор, однако сразу понял, что железный сундук этим оружием не сокрушить и, схватившись за ручку, через зал выволок его в коридор, дотащил до кухни и через заднюю дверь вытолкал наружу в лопухи и конопляные заросли, где закидал наломанными с клёна ветками. Свидетелем его суеты была только сорока, которая поглядывала на Степана с крыши дровяного сарая и вскоре, помахая тряпичными крыльями, полетела докладывать обо всём, что увидела, своим болтливым подружкам.

Теперь клад был, как ему казалось, надёжно устроен, но оставались навязанные Кроткову «анпиратором» медные деньги и, вытерев запыленные ладони листом лопуха, он направился на гумно, где стояли возы с казёнными бочками. Корней и Сысой закладывали снопами последнюю телегу и, как Кротков ни приглядывался, остальные возы не увидел. Всё было надёжно укрыто от чужих и завистливых глаз.

– Раскрытых бочек не было? – спросил он, подойдя к возу.

– Все нераспечатанные, – сказал Сысой. – Но тяжёлые и для одного неподъемны.

– Ну-ка, колотни одну чем-нибудь по днищу, – велел Кротков. – Может, там не деньги, а песок.

Сысой, поднатужась, вынул из передка телеги шкворень и несколькими размашистыми ударами железного стержня разломал верх бочки.

– Что нашли? – спросил Кротков.

– Вестимо, пятаки, – ответил Сысой и подал барину красноватый кругляш, блеснувший подобно золотому.

– Вот что, мужики, – сказал Кротков, нянча на ладони пятак. – Отсыпьте себе по сотне штук, подальше спрячьте и помалкивайте.

Корней и Сысой, поглядывая друг на друга, задумались. «Ужели я мало им даю? – обеспокоился Кротков. – Или они от счастья языка лишились?»

– Мне, господин, денег не надо, – заявил Корней. – Неровен час, проведает о них моя старуха, замучает расспросами, а о них надо помалкивать.

– А ты, Сысой, как? Берёшь?

– Я бы взял, да боюсь, вдруг они мне впрок не пойдут. Неведомо мне, как люди живут с деньгами. Ты, барин, бери их себе, у тебя они надёжнее сберегутся. А я за твоей спиной, как жил, так и стану жить, и не к чему мне искать от добра лиха.

Кротков с удивлением воззрился на своих крепостных. Не ожидал он от них бессребреничества, но они, не моргнув, отказались от дармового богатства.

– Может, я мало даю? – спросил он, решив, что перед большими деньгами они уступят. – Берите себе каждый по бочке или по две.

– Не неволь, господин, – отказался Корней. – Мне и денег-то всего надо две копейки, чтобы глаза закрыть.

А Сысой, молча, взял два снопа и положил их на вскрытую бочку.

– Надо спешить, скоро стемнеет, да гляжу, мои идут из деревни, видно, отсиживались от пугачёвских ребят у родни.

– Тогда поторапливайтесь, – сказал Кротков. – И до конца своих дней забудьте, что видели эти деньги.

Он отошёл в сторону, и с бугорка ему стала видна вся деревня. Кое-где уже были видны люди, нашлись и попрятавшиеся на время воинского набега собаки, и временами слышался пёсий брех.

– Корней! – подозвал он бурмистра. – Возьми мужиков и подберите мёртвых с улицы.

– Куда их девать? Ведь там десятка два.

– Дровяной сарай пуст? Сложите их там, друг подле друга, чтобы можно было опознать, когда явятся их родичи. Сыся с собой не бери, пусть он у меня под рукой будет.

Кротков дошёл вместе с бурмистром до крыльца дома и там остался, а Корней начал скликать дворовых мужиков, и скоро от усадьбы к деревне направились три телеги, чтобы подобрать погибших. Степан смотрел им вслед с понятной всякому человеку жалостью к себе, которая возникает при виде чужой смерти, но скоро спохватился. Клад, рассованный им кое-как в доме, властно позвал его к себе, и он кинулся в сени, ругая себя, что оставил золото без надзора в комнатах, которые нельзя было запереть снаружи, а только изнутри.

В печи всё было цело, а в комнате он замер и схватился за сердце: один ботфорт лежал на боку и рядом с ним – рассыпанные монеты. «Он сам не мог свалиться, – лихорадочно сообразил Степан, подбирая с пола золото. – Но кто же здесь побывал? Или всё же сам? Сколько, однако, мороки с золотом! Год я за ним бегал, теперь всю жизнь буду его стеречь».

Кроткову было кого опасаться: к нему мог заявиться Пугачёв, Меллин, разбойник Фирска, какая-нибудь воинская команда или другие неведомые злодеи, коих во время бунта шаталось по Поволжью несчётное множество с целью поживиться тем, что упадёт им под руки. Они-то как раз и могли лишить Степана его богатства, сами того не ожидая, по воле случая.

Он понял, что ему нужно предпринять и, выбежав в коридор, громко кликнул ключника, который ещё не показывался ему на глаза. Тот был цел, но прихрамывал и одну руку держал на перевязи.

– Где это, Митька, тебя так угораздило разбиться? – спросил Степан седобородого слугу.

– Эх, барин! Разбойники сразу кинулись на водку и наливки, я их к ним не пускал, вот и помяли меня кулачищами.

– Покажи мне чулан, где держишь оружие! – велел Кротков.

За кухней располагалось несколько комнат, возле одной из них ключник остановился, открыл дверь и подал барину горящий свечной огарок. Кротков осветил им помещение и оглядел-

ся, удивляясь тому, что здесь имелось. На крючьях вдоль стены висели два ружья, сработанные почти век назад, сумки для пулевых зарядов, пороховницы и даже колчан с десятком стрел. В одном углу находились пики и копьё, в другом – боевые топоры разных размеров, изрядно порченые ржавчиной.

– Твой батюшка редко сюда заходил, – сказал ключник.

Этим оружием можно было снарядить всю деревню, но Степан не имел на людей никакой надежды и взял, даже не для обороны, а чтобы чувствовать себя уверенным, саблю, которая привлекла его дорогими ножнами и золочёной рукоятью клинка. Кротков велел ключнику отнести её в его покои, а сам через чёрный выход направился в сторону огорода.

В дощатой будке он выбрал самую крепкую лопату и припрятал её в приметном месте, чтобы без хлопот найти в темноте. По натопанной тропе Кротков сбежал с невысокого берега к озеру и, осмотрев лодки, выбрал ту, в которой было меньше воды, влез в нее и оттолкнулся веслом от берега. Островок, к которому он направился, Степан знал как свою ладонь, и ему пришла в голову спасительная мысль перепрятать на нём клад, потому что в доме оставлять его было опасно.

Хватаясь руками за ветки нависших над водой деревьев, он добрался до берега и стал оглядываться, высматривая, где ему будет удобнее вырыть яму, как вдруг послышались голоса и плач. Прячась за кустами, Степан пошёл на шум и скоро увидел детей, которые стояли вокруг дерева, к которому был привязан мальчик лет семи. Рядом с ним был его сверстник с плёткой в руке.

– Чем это вы тут занялись! – грозно вскричал Кротков и кинулся на ребятню, но успел ухватить за рубашку одного. Остальные попрыгали в воду и, плескаясь, поплыли к недалёкому берегу.

Кротков освободил мальчика от пут и спросил у того, которого держал за рубашку:

– За что вы ему порку устроили?

– Он разбойник, а мы гусары, а гусары разбойников казнят.

Степан растерялся: оказывается, пугачёвщина своей бесчеловечной жестокостью, которую выказывали друг к другу дворяне

и мужики, отравила души не только взрослых, но и детей. Они, видя творимые взрослыми бесчинства, заразились ими и пытались повторить в своих играх.

– Ты чей? – спросил он.

– Сысоев. – «Гусар» заревел в два ручья. – Не выдавай меня, барин, тятке, а то он меня пороть станет!

«Разбойника» Кротков взял за руку и повёл к своей лодке, где, сев на корму, сказал:

– Гребите к берегу!

Ребята взялись за вёсла, а Степан, глядя на остров, подумал, что ему повезло встретить мальчишек, для которых это место было своим, и они могли очень скоро наткнуться на его захоронку, если бы он там её устроил, но, на его счастье, удача его не покинула. Теперь ему требовалось снова решать, куда устроить сокровища.

Над этим, запёршись в своей комнате, он думал целый вечер, но всё, что приходило ему на ум, Степан после недолгих размышлений отвергал. Опасность его кладу была всюду: и в доме, и во дворе, и на острове, и в лесу – везде, когда он будет копаться в земле, за ним кто-нибудь мог подглядеть, дожидаться, пока он уйдёт, затем взять сокровище и жить в своё удовольствие всю жизнь, похихатывая над растяпой.

Гоняясь за кладом, Кротков никогда не сомневался, что его обретёт. Но сейчас, достигнув желанной цели, он стал подумывать, что судьба, наградив счастливец, может от него отвернуться и без промедления обрушить на его голову внезапную беду. Кроткову стали приходиться на ум страшные рассказы о тех, кто, найдя клад, вдруг обезноживал или лишался глаз, речи, а то и сходил с ума. Не случится ли такое и с ним? Может, к нему беда нагрянет с другой стороны, и покинувшая его удача кружит над головой лютого злодея, и тот сейчас спешит к кротковскому дому с кистенем в руке?

«До сей поры моей удачей был Пугачёв, – думал Кротков. – Ужели он навсегда оставил меня под своим присмотром, ведь он ещё жив?» В этот же миг его осенила догадка: на крыльце, перед тем как зайти в дом, Пугачёв побывал в ретирадном месте. Это и есть знак, где надо спрятать клад!

Кротков подхватился с кровати и, убедившись, что дворня спит, взял пустые кули и вернулся в свою комнату. Пересчитывать все деньги не было времени, и он решил оставить себе на первое время половину ботфорта с золотыми, а остальные монеты стал сыпать в куль. Нагрузил в него деньги из другого ботфорта, из чаш, братины, другой посуды, попробовал куль на вес и с трудом оторвал его от пола. Пришлось треть денег отсыпать во второй куль, туда же он опустил и туес с драгоценными камнями. В третий куль поместилось золото из печи. Над ассигнациями Кротков задумался – они могли промокнуть. Он сбегал на кухню, взял там жбан с крышкой и сложил в него бумажные деньги.

В ретирадном месте было темно, но Кротков, не гнушаясь вонью и скользкой мокротой, нащупал дыру и столкнул в неё куль, который, чавкнув, исчез в темноте. За ним Кротков отправил остальные кули, взял в зале с божницы лампаду и, просунув её в дыру, убедился, что его клад, наконец, обрёл надёжное место.

«А ведь не только мужицкий анпиратор, но и Савка-бог указал мне сие место, – засыпая, подумал Кротков. – Кудесник заморочил мне голову. Я выпил золотой, а после нашёл его в сапоге, и он припахивал ретирадным местом».

-6-

Едва забрезжила ранняя заря, как Степан проснулся и кинулся считать деньги. Это занятие отняло у него много времени, два раза он сбивался со счёта, пока не сообразил на каждую сотню посчитанных империалов один откладывать, для памяти, в сторону. Дело пошло быстрее, и настроение у него стало почти как у жениха на свадьбе: сравнительно небольшая кучка золотых монет содержала в себе более тридцати тысяч рублей.

Сняв со стола полотняную скатёрку, он порвал её на несколько платков, в которые завязал деньги и рассовал их по разным местам. Про большую часть клада, спрятанного в нескромном

месте, Кротков старался не думать, но его всё же тянуло выйти и хотя бы постоять рядом с захоронкой. Вскоре к опасливым соображениям рассудка присоединились позывы тела, и он вышел на крыльцо, где его ждал старый Корней, попытавшийся согнуть спину в поклоне.

– погоди! – бросил ему Степан и закрылся в ретирадном месте, где, справляя малую нужду, зорко высмотрел, что кули с богатством утонули полностью в жиже, и остался доволен.

– Что, Корней, захворал? – спросил он. – Говори, как ты тут без меня хозяйничал?

– Износился я, барин. Вечор покидал снопы, а с утра прострел в поясницу ударил. А хозяйствовал на твоём имении не я, а злодей Фирска Тюгаев, с него и спрос учиняй. А меня, господин, отпусти на покой, исхворался я, износился, и то сказать, служил твоему деду Илье Алферычу приказчиком десять годков, твоему батюшке Егорию Ильичу четверть века служил бурмистром, тебе вот хотел послужить, да не смогу, прости, барин, раба своего.

– Отпустил бы я тебя, Корней, да на твоё место поставить некого, – сказал Кротков. – Насоветуй, кому быть моим бурмистром, и отойдёшь на покой.

– Есть дельный мужик, да ты и сам его знаешь, – промолвил Корней, отвечая на поклон приблизившегося к крыльцу Сысой.

– Не моего ли гайдука ты мне сватаешь? – усмехнулся Кротков.

– А чем он плох, чтобы не стать бурмистром? Крестьянскую работу знает и в сметливости ему господь не отказал: один в Петербург за твоей милостью ездил, да и сам ты его к себе приблизил, нарёк своим гайдуком.

– А ты что скажешь, Сысой? – спросил Кротков.

– Если нет для меня другой кары, то снесу и эту, – сказал Сысой, мрачно поглядывая на Корнея. – Но не совладать мне с нашими мужиками, они кого хошь заездят своим воровством, ленью и жалобами. Их в страхе и покорности удержать можно только битьём, но у меня к нему душа не лежит.

– Значит, мало тебя Фирска в холодном амбаре держал, раз ты такой жалостливый! – осерчал Кротков. – Но и я сплеховал,

отпустил Фирску, а его надо было забить до смерти, и другим бы наука была. Не хочешь бурмистром стать – не неволю, но тогда и гайдуком тебе не быть. Ступай, снаряжай коляску, поеду, гляну на покойного Парамона Ильича.

– Фирска на твоей, барин, коляске, за Пугачёвым убежал, – доложил Корней. – Бери, Сысой, мою телегу, она на ход легка и нетряска.

Сысой, разжалованный из гайдуков в кучера, ушёл запрягать лошадей, а Корней, помявшись, тихо промолвил:

– Надо бы те деньги, что в бочках, этой ночью упрятать понадежнее. Не место им в скирдах.

Напоминание бурмистра было дельным, медная казна, навязанная Кроткову «мужицким анпиратором», не давала ему покоя, но что с ней делать, он так и не придумал. На казённые бочки мог накинуться любой, кто полез бы за снопами, и эта вест мигом облетела бы всю округу.

– Надо вернуть деньги казне, – сказал Кротков.

– Не делай этого, барин! – вскричал старый бурмистр. – И себя погубишь, и нас!

– Это почему же погублю? – растерялся Кротков.

– На эти деньги, как на голого комары, накинута приказные крючки, начнут розыск, а, главное, не поверят, что, ты, барин, не утаил большей части казны. Следователи из мужиков выбьют на тебя улики, и век тебе быть в подозрении у властей.

– Что ты за страсти такие говоришь, Корней! – испугался Степан. – Тогда что с этой медью делать?

– Я сейчас пойду к знахарке Ефросинье, пусть она мне спину скалкой намнёт и прокатает, глядишь, к вечеру и оздоровею. Возьму лопату и выкопаю яму, в неё скачу с телег бочки, зарую, а сверху поставим скирду снопов.

Прятать все бочки не входило в расчёты Кроткова, он имел себе на уме, что если кто будет наседать на него с возвратом клада, то отдать ему часть меди.

– Делай, как знаешь, – сказал он. – Но два воза с бочками не тронь.

Бурмистрова телега точно оказалась лёгкой на ходу и, миновав увал и лес, скоро Кротков был в дядюшкиной деревне. Сле-

дов вчерашнего боя в ней заметно не было: убитых и тяжелораненых подобрали и увезли, мужики отлживались от побоев по своим избам, в громадной прокисшей луже у ворот усадьбы плевались утки и гуси, а возле крыльца помещичьего дома стояла коляска, и неподалёку от неё сидели на неошкуренных брёвнах солдаты.

На приехавшего Кроткова никто не посмотрел, и он поднялся на крыльцо, невольно покосился на точно такое же, как у него в доме, ретирадное место, и прошёл в зал, где в струганном гробу, освещённый несколькими свечами, и смиренно скрестив руки на груди, возлежал Парамон Ильич. Дьячок скороговоркой читал над ним заупокойную молитву, рядом стоял господин, в котором Степан опознал земского исправника Лыскова, близкого приятеля покойного Парамона Ильича, с коим он совершал много лет опустошительные набеги на застолья здешних помещиков. Исправник был трезв, молитвенно серьёзен и вслед дьячку осенял себя размашистым крестным знаменем.

Заметив Кроткова, он к нему бочком подвинулся и тронул за рукав, приглашая за собой выйти из зала. На крыльце Лысков промокнул большим платком влажные глаза и скорбно промолвил:

– Вот и потеряли мы Парамона Ильича...

Кротков дядюшкиной смертью совсем не огорчился, она ему была даже на руку, потому что въедливый и подозрительный Парамон Ильич мог скорее всех проведать о кладе и призвать на голову племянника страшную беду, но Степан скорбно потупился и тяжко, со слезой, произнёс:

– Для меня смерть дядюшки – невосполнимая утрата, я почитал его наравне со своим родителем.

– Парамона Ильича не вернуть, – жёстко сказал исправник. – Но казнившего своего барина кучера Федьку солдаты изловили, и сейчас его вздёрнут на той же ветке, где обрёл свою смерть твой дядюшка. Флегонт Максимович!

К крыльцу подошёл пожилой прапорщик, чьё обветренное и грубое лицо уличало его в том, что он повидал на своем веку немало сражений и застолий.

– У тебя всё готово?

– Дело нехитрое: верёвка намылена, вор причащён.

– Тогда начинай! – велел исправник. – Но сначала сгони сюда всех дворовых людишек.

Прапорщик рыкнул на своих солдат, и те, подхватив ружья, кинулись сгонять дворню к месту казни. Лысков, прохаживаясь по крыльцу, усмотрел телегу и возлежавшего на ней Сыся.

– Где же твоя коляска, Степан Егорович?

– На ней сейчас раскатывает Фирска Тюгаев, тот самый беглый мужик, которого ты мне вернул прошлой осенью. Я, признаться, с ним сплеховал, надо было забить его палками до смерти, а я его пожалел.

– От нашей жалости и проистекают многие печали, – сурово вымолвил Лысков. – Стоило дворянству, обрадованному полученной им от государыни воли, ослабить на рабах своих крепостное ярмо, как они заимели лжецаря и кинулись на господ, чтобы извести всех под корень. О твоём Фирске дано знать всем воинским командам, и долго он не пробегает. Много развелось сейчас таких Фирсок! На днях один такой Фирска Иванов близ Уренского городка сманил на свою сторону солдат, а синбирского коменданта Рычкова повесил.

– Так что, Синбирск остался без защиты опять? – взволновался Кротков. – Не везёт его военным комендантам! Прошлой осенью погиб на виселице Чернышев, сейчас вот Рычков.

– Синбирск без присмотра не остался, – сказал исправник. – Его избрал своей столицей новый главнокомандующий генерал-аншеф Панин. А ты собираешься в Синбирск?

– Сейчас не знаю, да и на чём ехать? Не на мужицкой же телеге? Фирска, поди, мою коляску вдребезги истаскал.

– Как твоего кучера кличут? – спросил исправник, с хитрецей взглянув на Кроткова.

– Сысой!

– Сысойка! – крикнул Лысков. – А ну, бегом сюда!

Мужик, поднятый барским окриком, будто пинком, соскочил с воя и кинулся со всех ног к крыльцу:

– Возьми в сарае коляску, а телегу оставь там, – велел исправник и оборотился к Кроткову: – А ты, Степан Егорович, напиши расписку, что вернёшь коляску или саму, или деньгами, на что будет желание наследников.

Пока Степан искал в доме письменные приборы и долго царапал, от непривычки к писанию, долговую роспись, солдаты согнажи к крыльцу барского дома дворню и крестьян.

– Ведите злодея! – велел исправник.

Прапорщик отпер тяжёлый замок с двери амбара, двое солдат вошли внутрь и выволокли на свет молодого мужика, который щурился и скалил белые, как сахар, зубы.

– Отвечай, злодей! – громко спросил исправник. – Не ты ли казнил своего кормильца-барина лютой смертью?

Толпа зашевелилась, слышались всхлипы, кто-то явственно произнёс:

– Повинись, Федотка, может, и простят!

Эти слова будто разбудили задремавшего на полпути к своей смерти Федота. Он тряхнул кудрявой головой:

– Как же, простят! Счастлив твой бог, исправник! Был бы ты вчера здесь, то повис бы рядом с нашим мирским кровососом!

Этот всплеск отчаянья, кажется, обессилил смертника, и когда солдаты потащили его к дереву, он не сопротивлялся, безропотно дал накинуть на себя петлю и умертвить. Крестьяне встретили его смерть плачем, в котором не было ропота, они не одобряли убийство и считали, что за чужую смерть человек обязан заплатить своей смертью.

Сысой казни не видел, он снарядил коляску, подъехал к крыльцу и, сняв шапку, встал перед Кротковым.

– Благодарствую за коляску, Платон Фомич, – сказал Кротков. – Но, кажется, мне пора, у меня в деревне гусары Меллина тоже поучили мужиков. Надо бы сегодня их схоронить.

– Я тоже долго здесь не задержусь. Флегонт Максимыч покормит солдат, и я поведу команду брать здешнего кудесника Савку, который и есть корень смуты во всей округе.

– Не Савка ли это, коего прозывают богом?

– Тот самый, – усмехнулся исправник. – Погляжу, как этот мужицкий бог станет увёртываться от солдатской пули!

Кротков уже знал, что поедет к кудеснику и, пообещав Платону Фомичу, что завтра обязательно будет на похоронах дядюшки, покинул усадьбу. Спешил он по одной причине: забота о кладе заставляла Степана думать о тех людях, которые знали о

постигшем его богатстве. Пугачёв был далеко, а Савка-бог обитал рядом, и ему ничего не стоило самому покуситься на клад или наслать за ним какого-нибудь злодея.

На краю корабельной рощи, возле тропы, ведущей через Чёрный лес к жилищу кудесника, Кротков оставил коляску и велел Сысою схорониться вместе с ней и лошадьё в кустах, чтобы на него не набрели лихие люди. Тропа уверенно вывела его к избе кудесника, Степан постоял возле забора, определил, что Савка-бог шебуршится во дворе один, и пролез в дыру.

– С какой доброй вестью явился? – сказал, не глядя на гостя, кудесник.

– Почему ты решил, что я принёс добрую весть? – удивился Степан. – Разве тебе их часто приносят?

– Ты прав! – улыбнулся кудесник. – Обычно ко мне приходят всяк со своей бедой. Но ты ведь обрёл клад или не так?

Признаваться в своём счастье Кроткову не хотелось, и он промолчал.

– Хвалю, – сказал кудесник. – Клад не любит болтунов. Но ты, барин, сегодня явился ко мне не таким, как в первый раз. Тогда ты был весел, а сейчас какой-то смурной, будто только что побывал рядом со смертью.

«А ведь ему все ведомо обо мне!» – похолодел Кротков, но решился спросить про главное, зачем к нему приехал:

– Скажи, Савка, удержу я свой клад или потеряю?

– Он будет твоим навсегда, если ты, охраняя его, не прольёшь людской крови, – сказал, зорко вглядываясь в Кроткова, кудесник.

– А если тот, кто занесёт руку над моим кладом, погибнет сам по себе?

– Все мы смертны, – произнёс Савка. – Если кто-нибудь, спеша к твоему кладу, по дороге свернёт себе шею, то твоей вины в этом нет.

Крепко задумался Кротков, донести ли кудеснику о том, что исправник уже на пути к его избе, и решил смолчать, убедив себя, что Савке-богу и без его слов ведома своя судьба. Он потянулся к поясу, отвязал кошель с золотом и подал его кудеснику.

– Бери, Савка! Ты верно указал, что мне счастье придёт от анпиратора.

– На что мне золото? От медных денег я бы не отказался.

– К чему тебе медь? – удивился Кротков.

– Эх, барин! – усмехнулся Савка. – Это у тебя золотое счастье, а у мужика оно медное. Вот и я иной раз подам пятак голодному, он и возрадуется. А дай я ему золотой, так он и с ума сойдёт.

– У меня с собой меди нет, – сказал Кротков. – Завтра я тебе привезу бочку пятаков или две.

– Жаль, – пробормотал Савка, – а то я поиздержался, нет и двух копеек, чтобы мёртвому очи прикрыть.

– Страшные слова ты говоришь, – помрачнел Кротков. – Будто последний день живёшь.

– Ступай, барин, – сказал Савка-бог, пристально взглянув на Кроткова. – Ко мне скоро гости наедут, и тебе быть с ними не с руки.

Кротков, не оглядываясь, шёл по тропе и тревожился, всё ли он ладно сделал, не упредив кудесника об опасности, но возвращаться и даже оглядываться он страшился: а что если кудесник, оборотившись в филина, вцепится и оторвёт ему голову? Завидев высокие сосны корабельной рощи, Степан побежал из всех сил и переполошил шумом трещавших под его ногами сучьев Сыся.

– Гони! – заорал Кротков, заваливаясь в коляску.

Утром следующего дня он послал Сыся и Корнея проведать кудесника и услышал от них, что изба Савки-бога сожжена, а сам он убит.

– Вы его похоронили?

– Всё сделали, как ты, барин, велел. И копейки на глаза положили, и крест над могилой поставили.

Кротков облегчённо вздохнул: исчез тот, кто знал о его кладе.

Новый главнокомандующий карательными войсками граф Панин, назначенный взамен скоропостижно скончавшегося генерала Бибикова, избрал своей столицей Синбирск и явился туда в сопровождении пышной свиты, в которой, кроме офицеров штаба, были и не менее значимые для графа особы. Панин и на войне не изменял образу жизни и своенравным привычкам сиятельного русского вельможи: по утрам его поднимал, умывал и одевал вышколенный камердинер; брил, намаживал и полировал ногти графа личный парикмахер; за обедом, который для Панина готовили два французских и один русский повара, слух графа и его гостей услаждала музыка в исполнении оркестра крепостных музыкантов; развлекался и тешил свою натуру Пётр Иванович псовой охотой, которую привёз за собой на четырёх громадных телегах в передвижных собачьих избушках.

Граф приступил к исполнению должности усмирителя пугачёвского бунта в благоприятной для своей властолюбивой натуры обстановке: победным миром была завершена война с турками, и Панину были переданы в распоряжение общим счётом двадцать восемь конных и пехотных полков и пятнадцать гарнизонных батальонов. Все они были выдвинуты и развёрнуты на огромной территории Нижегородской, Казанской и Оренбургской губерний, где занимались искоренением бесчисленных очагов пугачёвщины, имевшихся почти в каждом селении. Непосредственно за Пугачёвым, который захватил Саратов и после устремился к Царицыну, были направлены особые команды во главе с офицерами, что уже имели не по одному жаркому делу с самозванцем и знали его повадки и уловки. За Пугачёвым гнались и Михельсон, и Голицын, и Муффель, и Меллин, и Мансуров, и Дундуков, и Суворов – кто только не мечтал изловить «мужицкого анпиратора»? Однако ни одному из них не удалось пленить Пугачёва, его предало, как это часто бывает на Руси,

ближнее окружение. Резвее всех оказался Суворов. Ему и досталась сомнительная, в глазах потомков, честь конвоировать Пугачёва из Яицкого городка в Синбирск.

Весть о поимке именитого злодея была встречена синбирскими дворянами с безмерным ликованием. Скорее всего об этом узнал Головин от канцеляриста Баженова, который был по роду своей сыскной службы посвящён в самые строгие провинциальные тайны. Получив сведения о поимке самозванца, Головин пожалел, что с ним рядом не было его приятелей Дмитриева и Карамзина, которые как убежали от бунта в Москву, так там и оставались до сих пор. Фёдор Иванович ради такого великого события нарушил зарок не пить очищенную раньше шести вечера и приказал подать к водке холодную телятину и солёные грузди. Поздравив Головина с долгожданными событиями, Баженов заторопился: кроме своих провинциальных начальников, над ним простёр свою власть и начальник следственной части походной канцелярии главнокомандующего майор Гаранин и постоянно требовал его к себе, чтобы быть в курсе всех местных дел. Баженов бесплатной работой не тяготился, она приближала его к исполнению дерзкой задумки, которая им овладела, как только побывавший в его руках Пугачёв вдруг стал известен всей России осадой Оренбурга.

Главный сыщик синбирской провинции имел немалую власть, но был беден и непременно жаждал разбогатеть, и не крохоборным мздоимством с обывателей: Евграф Спиридонович уже не один год ждал случая, чтобы одним махом сорвать большой куш, купить имение и зажить господином. Посему его взор немедленно устремился в сторону Пугачёва, и он стал за ним скрупулёзно следить; доступная канцеляристу секретная переписка позволяла ему знать размеры ущерба, наносимого самозванцем казне и частным лицам; Баженов вёл подсчёт стремительно возрастающему богатству самозванца и лелеял надежду найти случай, чтобы на него покуситься.

– Где ты запропал, Евграф? – сердито сказал Гаранин. – Завтра здесь будет Пугачёв, и граф хочет знать, какое узилище уготовано злодею. Что скажешь?

Баженов не стал спешить с ответом, в его интересах было поместить Пугачёва в такое место, куда бы он был вхож, чтобы иметь возможность исполнить свою задумку, поэтому ляпнул на пробу первое, что пришло на ум:

– Бросить злодея в яму, да крыс ему туда, чтобы не скучал, насажать!

– Не дури, Евграф! – отмахнулся от предложения майор. – Пугачёв, конечно, изверг, но для графа он долгожданный и ценный трофей, посему его сиятельство желает поместить самозванца в пристойном месте, дабы туда не зазорно было войти благородным людям, которым граф соизволит показать свою добычу. Думай, Баженов, и укажи такое место сейчас же, не сходя со стула!

Энергичная речь начальника следственной части убедила Баженова, что он может, не опасаясь подвоха, сделать первый шаг к исполнению своей задумки. Он предполагал, что Гаранин обратится к нему с чем-нибудь подобным и, узнав, что Пугачёв схвачен, обежал всю крепость и высмотрел подходящее место для узилища.

– Есть такое место, что граф сможет видеть трофей хоть круглые сутки из окон своей резиденции, – задумчиво произнёс канцелярист и примолк.

– Горазд ты, Евграф, из любого вытянуть душу! – осерчал Гаранин. – Говори дело!

– В двадцати саженьях от мясниковского дома стоит каменная палатка. Как раз подходящие хоромы для Пугачёва.

– В них пусто? – привстал со стула Гаранин.

– А разве у тебя, майор, нет мочи повыбрасывать оттуда всё, что там есть? – ответил Баженов. – Но не забудь, что я хочу потолковать с Пугачёвым один на один.

– Это ещё зачем? – вскинулся Гаранин. – Какое у тебя до него дело?

– Пугачёв был у меня год назад в руках, вот и хочу покалякать со старым приятелем. Должок за ним есть: я его, отправляя в Казань, одел, а он так и не рассчитался.

– Выдумщик ты, Баженов, – хохотнул майор. – В первый день

за этим ко мне не подходи. Вот уляжется вокруг злодея суматоха, так и быть, дам тебе полчаса на свидание с приятелем. Но и меня изволь не забыть посулом.

– Я, господин майор, порядку сызмала научен, – обрадовался Баженов. – Самая ценная рыба с первого яицкого обоза будет не на воеводском, а на твоём столе.

– Ты и этим владеешь, Евграф? – удивился Гаранин.

– И мы что-то да можем, – огненно взглянул на майора канцелярист. – Пойдём смотреть палатку?

Конвойный поезд с Пугачёвым был ещё в десяти верстах от Синбирска, а на Большой Саратовской улице уже давно толпились обыватели, ожидая, когда мимо них провезут донского казака, возмутившего мужиков на погибель дворянского рода. Людям благородного сословия самозванец был заведомо отвратителен, однако они, невзирая на ветреную погоду и осеннюю морось, мучаясь нетерпением, ждали увидеть его, как некоего диковинного зверя, обожравшегося человечиною и наконец-то запертого в клетку, но всё ещё свирепого и смертельно опасного.

Люди протомились в ожидании несколько часов, когда мимо них на косматых конях проехали трое казаков, которые покрикивали, чтобы все подались от дороги в сторону, а следом за ними показались гусары графа Меллина. Сам премьер-майор, пучась от гордости, восседал на огромном рыжем жеребце и поглядывал на благородных обывателей с таким неуёмным бахвальством, будто ему одному удалось загнать и схватить самозванца и сейчас он предъявляет публике свой драгоценный трофей.

За гусарами шла пехота, а далее двое коней везли одноосную телегу, на которой стояла деревянная клетка с заключённым в неё Пугачёвым. Самозванец, вопреки ходячим представлениям о нём как о человеке богатырской наружности и силы, оказался заурядным мужиком, никак не страшным на вид, искательно отвечавшим на вопросы шагавшего рядом с телегой генерал-поручика Суворова, которого весьма занимало устройство пугачёвского войска. Александр Васильевич торопился поскорее

сдать узника, чтобы совершить без разведки и обдумывания стратегических последствий атаку на княжну Вареньку Прозоровскую, и, победив, отконвоировать её к аналою, – поступок, о котором он позже горько раскается.

За телегой с Пугачёвым шла сотня гренадёров поручика Москотиньева, и замыкали конвойный поезд две сотни донских и сотня яицких казаков, возглавляемые казачьими старшинами и полковниками. После прохода конвоя обыватели будто проснулись, все разом заговорили, заразмахивали руками, ведь синбиряне такой народ, который на мякине не проведёшь, и в толпе прошелестел слух, что самозванец не настоящий: не может такой плюгавец, которого им предъявили, возмутить треть России и потрясти бунтом устои державы. И многие обыватели поспешили следом за конвоем, но тот уже свернул на Московскую улицу, которую от любопытных перегородили штыками солдаты гарнизонного батальона.

Евграф Баженов успел примелькаться офицерским чинам военной канцелярии главнокомандующего, и место для встречи Пугачёва выбрал возле ворот мясниковского дома, неподалёку от своего покровителя майора Гаранина, который был главным распорядителем представления самозванца графу Панину. По его команде гусары, солдаты, гренадёры и казаки, сопровождавшие узника, оцепили мясниковский дом, телега с Пугачёвым въехала во двор, где, стоя на крыльце, самозванца ожидали генералы Пётр Панин и Павел Потёмкин. Майор Гаранин с двумя солдатами подошел к клетке, её отворили, и, сняв Пугачёва с телеги, подвели к крыльцу.

Баженов заволновался, офицеры канцелярии оттеснили его в свой последний ряд, впереди Евграфа стояли два громадного роста гвардейца, заслоняя ему обзор, но он сумел извернуться, подкатил нерасколотое полено, встал на него и сразу оказался выше всех.

– Кто ты таков? – спросил граф Панин, окидывая Пугачёва презрительным взглядом.

– Я, батюшка, Емельян Иванов Пугачёв, – глухо промолвил пленник.

– Как же ты смел, вор, называться государем? – закипая злобой, сказал граф.

– Знаю, что богу было угодно наказать Россию через моё окаянство.

Дерзость самозванца всех потрясла, и граф, спрыгнув с крыльца, коршуном накинудся на него и отвесил ему пощёчину.

– Будет драться, – произнёс, отступив на шаг от Панина, Пугачёв. – Забивайте в колодки и бросайте в яму. Я спать хочу.

Эти слова отрезвили графа. Он покраснел и, не проронив ни слова, удалился в свои покои. Следом за ним двор стали покидать зрители, а Пугачёва повели к кузнице. Там его заковали в ручные и ножные кандалы и унесли в каменную палатку, где обвязали вокруг туловища цепью, и концы её закрепили железным клином в кирпичной кладке.

Баженов уходил с мясниковского двора в некотором смятении: всегда уверенный в себе, он начал сомневаться, что совладает с Пугачёвым, тот перед Паниным выказал себя совсем другим человеком, чем тот, что стоял перед ним почти год назад. Возле каменной палатки он подождал Гаранина. Когда майор из неё вышел, Баженов на него вопросительно взглянул.

– Не знаю, как тебе подсобить, Евграф, – сказал Гаранин. – Завтра Пугачёва явят дворянству и простому люду. Но уже на следующий день им вплотную займётся Потёмкин. Палачу уже велено быть готовым.

– Битый плетью Пугачёв мне не нужен, – заволновался Баженов.

– Думаешь, что после битья он не поверит твоему вранью? – усмехнулся Гаранин. – Зря ты вокруг него хлопочешь. Всё, что он имел, у него взяли в Яицком городке. Но приходи завтра, ближе к ночи. Так и быть, дам вам пошептаться, но и ты не забудь, что посулил мне вчера.

Шагая к воеводской канцелярии, Баженов продолжал думать, что ему непросто будет совладать с Пугачёвым. Но войдя в свою комнату, укреп духом: «Быть того не может, чтобы мужик против меня устоял! Я таких ещё не видел, хотя бывали и покрепче Емельки, а его уже и без меня сломали».

На следующий день желающих посмотреть на самозванца дворян было мало. Многие отказались его видеть из-за омерзения и ужаса, которое вызывал злодей в их благородных душах, те же, кто приходил в каменную палатку, видели совсем не то, что представлялось им в воспалённом ужасом воображении. Дворяне быстро прошли, и стали пускать простонародье. Шуму возле Пугачёва прибавилось, но опять же никто к узнику не обратился. И только забежавший впопыхах синбирский исправник, человек весьма объёмистый в брюхе и короткошей, не видя в Пугачёве ничего страшного, изумился.

– Так это Пугачёв! – сказал он громко. – Ах, ты дрянь какая! А я-то думал, он бог весть как страшен!

Зверь зверем стал Пугачёв, кинулся на исправника, едва его не ухватил за горло, да цепь не дала, и как взревел:

– Ну счастлив твой бог! Попадись ты мне раньше, я бы у тебя шею-то из-за плеч повытянул!

Обыватели отшатнулись от Пугачёва, а исправнику сделалось дурно, и он осел без памяти на руки подбежавших караульных солдат.

Всех посетителей выпроводили, Пугачёв, оставшись один, примостился на овчиной подстилке и задремал. Но отдохнуть ему не пришлось: не прошло и часа, как дверь лязгнула и открылась; в камеру, держа в руке горящую свечу, вошёл Баженов.

– Сумрачно живешь, Емельян! – ворчливо произнёс он, устнавливая свечу в шандал, и огненно воззрился на узника. – Вот беда, да ты меня не помнишь?

– Много передо мной всякого народа перебивало, – загремев железом, Пугачёв привалился к стене. – Нет, не ведаю, что ты за человек.

– А я мечтал, что ты меня сразу узнаешь, – сказал Баженов и, взяв стул, сел, а на другой стул выставил из узелка, что принёс с собой, полуштоф очищенной, солёные огурцы и ветчину. – Ты ведь бывал у меня в гостях, когда тебя привезли из Малыковки. Винюсь, я тогда тебя не попотчевал, но откуда мне было знать, что ты анпиратор Пётр Фёдорович?

– Теперь узнаю. – Пугачёв бросил алчный взгляд на вино и

сглотнул слюну. – Ты тот канцелярист, что меня переправлял в Казань.

– Ну, наконец-то признал! – шумно обрадовался Баженов. – Долгонько же ты бегал! Я как услышал про тебя, что ты царь, не мог надивиться! Обвёл, всех обвёл!

– Ты ведь не просто так явился, – обиделся Пугачёв. – Говори дело или проваливай!

– Дело, говоришь... – Баженов чуть усмехнулся. – Должок за тобой имеется, ваше анпираторское величество.

– Какой ещё такой долг? – удивился Пугачёв. – Я, слава богу, никому не обязан.

– Конечно, такую малость ты мог и запомнить, – сказал Баженов. – Но тогда я тебя крепко выручил.

– Это ж как выручил?

– У тебя малыковский сторож шубу увёл, а я тебя одел, а то бы ты до Казани не доехал, от холода точно бы околел.

– Как же, помню, дал рваный армячишко, я в нём, чтобы согреться, вприпрыжку за санями бежал.

– Вон как ты заговорил, – напустил на себя обиду Баженов. – Я тебе дал бы и заячий тулупчик, но неоткуда было взять. Но тогда ты и армяку был рад, а теперь, после царских соболей и бобров, и помнить о нём забыл.

Канцелярист распечатал полуштоф, налил половину кружки очищенной и протянул Пугачёву.

– Изволь угоститься, ваше величество! А за армячишку я на тебя обиды не держу. Хотя сейчас вижу, что не угодил тебе в тот раз.

Пугачёв взял кружку, опорожнил её и захрустел огурцом.

– Хватит сети плести вокруг да около. Вино-то недаром выставил, стало быть, я тебе нужен.

Баженов взял свечу и, подняв её на вытянутой руке, осветил крюк в потолке.

– Готовься, Емельян, свет Иванович! Завтра тебя Потёмкин на него вздёрнет и зачнёт плетью потчевать. А я тебе могу помочь, ясное дело, не даром. Палач Прошка, хоть и лют к ворам, да и он человек, и его ублажить можно.

– Нечем мне его ублажать, – сказал Пугачёв. – Да и зачем?

– Экий ты строптивец, – поморщился Баженов. – Прошка может одним ударом мясо до костей вырвать, а может и видимость изобразить, только громче кричи. Если согласен, я ему заплачу, но ты, чай, многие клады имеешь? Пожертвуй одним во своё спасение.

Пугачёв, зазвенея цепью, тяжело вздохнул.

– Нет у меня кладов. Всё, что попадало в руки, отдавал людям.

Баженов удивился и не поверил. Самозванец ещё не взял Казань, но слухи о его захоронках уже гуляли по всему Поволжью.

– И ты с такими повадками кабацкого гуляки хотел стать царём?

Пугачёв нахмурился и окинул канцеляриста высокомерным взглядом.

– А может тот, кто выше любого царя, дал мне такую судьбу?

– На бога киваешь? – поморщился Баженов. – Да если бы он тебя восхотел на царствие возвести, ты бы родился царём, а не висельником!

Загремев цепями, Пугачёв поднялся на ноги.

– Народ выше царя, и его глас – божий!

– Да ты и вправду дурак, – презрительно сказал Баженов. – Ты бы не о царстве думал, а о себе. Открой клад, а я с Прошкой перетолкую.

– У тебя одно на уме – золото! – вскипел Пугачёв. – Тьфу на него! Сыпал я его по сторонам, когда находил – не радовался, а терял – так не горевал.

– Вот и поведай, где терял? – насторожился Баженов. – Может, я найду, а тебе от меня помощь будет.

– Что ты заладил, как сорока про Якова! Клад, клад! Я такой клад по всей русской земле развеял, что ему нет цены!

– Опять темнишь, твоё величество! Какой клад?

– А такой, – глядя мимо Баженова, медленно произнёс Пугачёв. – Я в каждом мужике посеял догадку, что и он может стать царём.

Баженов от столь святотатственной дерзости на миг онемел, но всё-таки сумел совладать с собой. «Он вознёсся в своей

гордыне до бога, а я, дурак, за ним тороплюсь, – подумал он. – Емелька хоть и побывал анпиратором, но нутро у него как было мужицким, так и осталось».

И бывалый канцелярист решился на крайнее средство: взял полуштоф, заткнул его пробкой и равнодушно вымолвил:

– Засиделся я у тебя, пора и честь знать.

– погоди торопиться, – дрогнул Пугачёв. – Да и вино на место поставь, а то выронишь от того, что я скажу. Правду говорю: нет у меня ни одной захоронки, разве что этот случай тебе поможет...

– Говори! – почти вскричал Баженов и, торопясь, щедро наполнил кружку очищенной. – Испей, голубчик, вино прояснит память.

– Теперь слушай, – похрустев огурчиком, сказал Пугачёв. – Однова, уже за Курмышем, так крепко насели на меня гусары Меллина, что пришлось мне от них уходить, бросив обоз и всё, что у меня было.

– И где это случилось? – Баженов потряс Пугачёва за плечи. – Где?

– Сейчас, дай бог памяти, вспомню. Деревня с таким дурацким прозвищем... Да, точно, Кротковка!

– И много ты казны потерял? – упавшим голосом спросил Баженов.

– Всё, что имел, – сказал Пугачёв. – Было у меня и золото, и дорогие камни, одних медных денег возов пятнадцать было.

– И кто это всё взял? Меллин!

– Кто его знает. – Пугачёв взглянул на полуштоф. – Но вряд ли Меллин. Он на мне, как собака, висел до Чёрного Яра... А ты это, того, выплесни в кружку всё, что осталось. Ведь я, наверное, последний раз в жизни вином балуюсь.

Баженов вышел из каменной палатки с ощущением человека, которого нагло обокрали. Он крепко надеялся, что Пугачёв откроет ему хоть одну свою захоронку, но тот, как оказалось, о счастье других людей и не помышлял, сыпал золото себе под ноги, а в конце отдал неведомо кому. От того богатства, которым владел Пугачёв, остался лишь зыбкий и неверный след, как

за кормой лодки, но Баженов был опытным сыщиком и не дал ему потеряться. От Пугачёва он поспешил в воеводскую канцелярию и, зайдя в свою комнату, кликнул помощника:

– Викентий! Ступай ко мне!

Долгополов высунулся из своей пыточной подсобки, где жил-тествовал, и вопрошающе уставился на канцеляриста.

– Возьми по казённой надобности с воеводского двора двух лошадей и коляску. Я буду ждать здесь.

– Куда едем? – надевая на овчинную безрукавку просторный армяк, спросил Долгополов.

– На кудыкину гору! – озлился Баженов. – И поторапливайся!

-2-

Если бы разгульный пиит Калистрат Борзов вдруг появился в усадьбу своего соратника по картёжным баталиям, то сразу бы его не признал: так изменился своим обликом и повадками Степан Кротков со времени их расставания. В его походке после того, как он обрёл клад, исчезла размашистость и появилось осторожная неуверенность в каждом шаге. Казалось, он не шагает, а крадётся и опускает ногу на половицу или на землю лишь после того, как будет уверен, что не провалится. Степан заимел привычку часто озиаться по сторонам и при малейшем шуме втягивал голову в плечи и настороженно глядел в ту сторону, где забрякало или зашуршало. В доме отродясь не было запоров, но Кротков вдруг этим озаботился, за немалые деньги вызвал из Курмыша плотника, и тот поставил прочные запоры и замки на ставни и двери.

Былая радость от обретения клада в нём притушилась. Кроткова стали обуревать страхи, что кто-нибудь наедет тёмной воровскою ночью, и его от богатства опростает, а самого пристукнет дубовой колотушкой. Страх делает человека придумчивым, и как-то Степан велел Сысою срубить возле крыльца избушку, куда посадил на цепь самого злобного во всей округе пса. Теперь к крыльцу опасался приблизиться бурмистр Корней, кобель

был так лют, что поначалу и на Кроткова бросался, когда тот выходил провести ретирадное место.

И раньше к Кроткову не заглядывали соседи, а по худому разбойничьему времени совсем стали объезжать его стороной. Бывал, и то не часто, исправник Лысков. Его Степан привечал, поскольку имел к нему интерес, чтобы выведать, где обретается Пугачёв, и долго ли ещё ему осталось бегать по Поволжью от воинских команд. Платон Фомич заглядывал в Кротковку со своим умыслом: воевода не оставил затеи всучить Степану в качестве супруги «залежалую» двоюродную племянницу и после смерти Парамона Ильича передоверил это дело Лыскову.

На этот раз исправник приехал к Кроткову почти вечером и, обойдя стороной крыльцо, возле которого захламлялся лаем громадный кобель, с заднего входа проник на господскую половину, где застал хозяина на мятой постели.

– Раненько ты собрался почивать, Степан Егорович, – сказал Лысков, тяжело опускаясь на скрипучий стул.

– А я, Платон Фомич, ещё не вставал, – признался Кротков, накидывая на плечи халат. – Что-то меня познабливает. А что, уже поздно?

– У тебя, братец, окна ставнями заставлены, ты и времени не знаешь. Смеркается на дворе, вот!

– Стало быть, я весь день продремал, – равнодушно произнёс Кротков, позванивая в посудной горке штофным стеклом. – Отобедать не соизволишь?

– Сыт по горло, сегодня и на поминках побывал, и на свадьбе, но от чарки очищенной не откажусь.

– Ты ведь не просто так, Платон Фомич, поздно явился, а с новостью? – сказал Кротков, подавая исправнику чарку. – Изволь выкушать.

– Держись крепче, Степан Егорович. Злодей схвачен и посажен на цепь в Синбирске.

Кротков в глубине души лелеял надежду, что Пугачёв не попадёт в плен живым, и новость его не обрадовала, даже огорчила. Лысков это заметил и удивился.

– Я, гляжу, ты не рад.

– Как же не рад! – спохватился Кротков – Голова у меня пошумливает, как бы не захворать.

– Ты так не шути, Степан Егорович, береги себя, о тебе ведь большие люди справляются.

– Кто это справляется? – насторожился Кротков.

– Будто тебе не ведомо – воевода. Он, братец, надежды не потерял видеть тебя среди своей родни.

– Мне ещё и двадцати пяти лет нет, – сказал Степан, укладываясь на кровать. – Я ведь не мужик, чтобы жениться так рано.

– Рано – поздно, не всё ли равно когда? – Лысков взялся за шапку. – Что воеводе сказать?

– Ничего не говори, Платон Фомич! Я в скором времени совсем отсюда уеду в Москву.

– Это что же ты позабыл в Москве? – удивился Лысков.

– Я же насквозь хворый, – прикинулся сиротой Кротков. – У меня и в отпускном паспорте это прописано.

– И в чём твоя болячка?

– Так и быть, скажу. – Кротков взял со стола паспорт и подал исправнику, который, нацепив на нос круглые очки, подошёл к свече и, шевеля губами, стал вычитывать казённую бумагу.

– Что это за хворь такая, «анурезис»? Не французская ли болячка? – невольно отстранился от Степана исправник.

– Что-то вроде этого, – не стал говорить правду Кротков. – Но я не заразный. Так и скажи воеводе, что Степан Егорович Кротков ему за честь кланяется, но исполнить его волю не в силах.

Платон Фомич так заспешил, что отказался от предложенной ему чарки очищенной. Проводив его до коридора, Кротков облегчённо вздохнул. У него появилась надежда, что воевода от него отвяжется навсегда вместе со своей задержавшейся в девках двоюродной племянницей.

Мимо Кроткова прошёл молодой мужик с охапкой дров в руках, свалил их возле печки и полез кочергой в поддувало. Степан двинулся в зал, где на столе его ждал ужин. Он сел на стул, оторвал от куриной тушки крылышко и потянулся к вину. «Не грех выпить за Пугачёва, – подумал Степан. – Его сейчас, наверно, на

дыбе горячим железом потчуют. Стало быть, и моё счастье сейчас на кону: спросит его следователь, куда он подевал золото, он тотчас на меня укажет, и быть мне в розыске».

Кротков выпил налитую чарку очищенной, закусил всей курицей, и настроение у него улучшилось. «Только бы анпиратор сам не начал болтать о своём кладе, – стал питать надежду Степан. – Сейчас следователям не до золота и медных пятков. Они ищут, кто подучил его напаять на себя личину покойного Петра Фёдоровича, а если Пугачёв укажет на французов, то такая сумятица начнётся! Государыня выкажет афронт французскому королю и начнёт уличать его перед всеми европейскими самодержавцами в союзе с заведомым вором. Людовик, конечно, станет отбрезиваться, за этим шумством о золоте если и вспомнят, то не о моём, а о том, что французы сыпали Пугачеву на раздутие бунта. А там, глядишь, и войнишка с французами случится, анпиратора, чтобы не сбежал, жизни лишат, а про меня так и не проводят».

В последние дни, мучимый недобрыми предчувствиями, Кротков опять приблизил к себе Сысою и велел ему по ночам спать не подле своей бабы, а в зале, чтобы барину было спокойней от его посапывания и похрапывания за дверями комнаты. Мужик являлся, когда совсем стемнеет, раскидывал овчину возле печи и заваливался на боковую, но сегодня он пришёл раньше обычного и сказал, что бурмистр Корней впал в беспамятство, а когда приходит в себя, зовёт барина.

– Что, совсем плох старик? – спросил Кротков.

– Меня, господин, за тебя принял, стал говорить о деньгах, что в скирдах попрятаны.

Кротков крепко обеспокоился этим известием: из-за болезненной болтливости Корнея слухи о кладе могли, как клопы, расползтись по усадьбе и деревне, а там выйти на проезжую дорогу и попасть в уши разбойникам, число которых, хотя Пугачёв уже сидел на цепи, нисколько не уменьшалось и они спокойно разгуливали по всей округе.

Корней на усадьбе имел свою избу, и Кротков в сопровождении Сысои скоро был в ней. Старая баба, жена бурмистра, мет-

нулась барину в ноги, но он её живо выпроводил за дверь и подошёл к Корнею, который головой к образам лежал на лавке с закрытыми глазами. Лишь прерывистое дыхание говорило о том, что старик жив. Кротков коснулся ладонью его лба, и тотчас её отдернул: его руку опалило почти ледяным холодом – стало быть, смерть уже почти ублажала жизнь Корнея в своих объятиях, и скоро ещё один свидетель кротковского обогащения унесёт эту тайну в могилу.

Не тревожа старика, Степан неловко сел на скамью, она задралась одним боком, потом бухнула по полу.

– Барин, Степан Егорович, – послышался слабый голос больного. – Христом богом прошу, те деньги, что в скирдах попрятаны, отдай на построение храма. Мужикам раздавать – им же во вред, тебе они без надобности, казне отдать, так пока они до неё дойдут, их разворуют. А будешь храм строить, так строй сам или доверь Сысою, а попам и пятака не давай в руки, поповского брюха не набьёшь, оно из семи овчин сшито, так твой покойный тятенька говаривал, он в бога веровал, а попов звал только по нужде.

– Для себя что просишь? – спросил Кротков.

– Всё, что хотел, я у тебя попросил, – прошептал Корней. – А ты, Сысой, как станешь бурмистром, приглядывай за моей старухой, чтобы у неё на всяк день была чашка щей да кусок хлеба.

– Не позднее утра отойдёт старик, – сказал Сысой, когда они вышли из избы.

Но Кроткова Корней уже не занимал. Он сизмала привык смотреть на своих рабов без всякого сочувствия, полагая по барскому рассуждению, что мужицкому роду нет перевода, он, как трава: чем её сильнее топчешь, тем она гуще растёт.

В коридоре Сысой покинул барина и побежал за своей овчинной подстилкой. Оставшись один, Кротков почувствовал себя брошенной сиротой и не решился сразу войти в зал. Он открыл дверь и присмотрелся к теням, которые от огня из печи металась по стенам и потолку. Всяк видит то, что у него всегда на уме и, протиснувшись в зал, Степан сразу узрел в тени, что металась по потолку, огромную мужицкую руку с зажатым в

кулаке кривым ножом. Некоторое время Кротков, как зачарованный, глядел на занесенный над ним нож, затем шагнул к печи и открыл настежь дверцу.

– Место тебе нагреваю, – сказал он, когда в зал со смятой овчиной в руке вошёл Сысой.

За день Степан и выспался, и вылежался, сна у него не было ни в одном глазу, но он не скучал и, чтобы прогнать бессонницу, предавался тешащим его душу раздумьям, которые с тех пор, как он заимел сокровище, стали для него снами наяву, поскольку в них не было лживой выдумки, и всё то, о чём бы Степан ни мечтал, имело под собой настоящее золотое обеспечение. На какое-то время он прогонял от себя страх потерять богатство и уносился мечтой в будущую жизнь, но, странное дело, став богачом, Кротков уже не хотел мечтать о мотовстве, карточных баталиях и диких попойках в окружении пассий. Не потратив ни одного полуимпериала из своего золотого запаса, он с явной неохотой расходовал его даже в своих мечтах, и нет-нет в памяти всплывала похотливая думка занять ещё один клад, не менее значительный, чем тот, что покоился в ретирадном месте.

Но сегодня Степану думалось не об этом. Его нечаянно осенило, что в России быть богатым опасно, здесь можно в любой миг лишиться состояния по воле государя или утратить его в пучине мужицкого бунта, как это случилось со многими помещиками совсем недавно. «А что если уехать с моим богатством в Европу? – возмечтал Кротков. – Там понадежнее, чем здесь, жить можно. Прикупить французских или немецких крестьяншек, разумеется, с землёй, и зажить в своё удовольствие в рыцарском замке с видом на виноградные поля и померанцевые рощи. Одна беда – говорить по ихнему не умею, в усадьбе у батюшки не до французского было, пьяный дьякон всё темечко исклевал, пока я с грехом пополам осилил русскую азбуку, а не учу в Европе делать нечего, мигом разденут и пустят по миру голым. Что француз, что немец – каждый норовит обнести нашего русского дворянина какой-нибудь замысловатой хитростью и прогрызть дыру в его кошеле; нет, я уж лучше в России со своим золотом буду маяться...»

Эти, уже привычные ему, мечтания мало-помалу расслабили и усыпили Кроткова. В зале на овчинной подстилке посапывал и похрапывал Сысой, усадьба безмятежно предавалась сну, только сторожевой пёс в своей рубленой избушке временами стряхивал с себя дрему и вслушивался в звуки ночи, но и он не учуял, как со стороны огорода к заднему крыльцу неслышно подкрались трое разбойников, проволочным крючком отодвинули на двери засов и проникли на барскую половину дома. Двое налётчиков навалились на Сысою и, забив рот соломенным жгутом, стали его вязать, а их предводитель Фирска Тюгаев возжёг свечу и вошёл в комнату хозяина, который, ужавшись спиной в стену, растерянно хлопал глазами.

– Ты с какого такого рожна возлѣг на мою постель? – мрачно сказал Фирска. – А ну, брысь с моего места!

Степан бочком-бочком дополз до края кровати, нащупал бо-сыми ногами холодный пол и рванулся к двери, но, влетев лбом в широкую грудь мужика, который стоял на пороге, был отброшен к стене и едва устоял на ногах.

– Мокей! – позвал Фирска. – Пошарь в сундуке, бары золото близ себя держат.

Мужик подвинул сундук ближе к свету, нашарил запор, рванул его, но не осилил железа. Тогда он сунул руку за полу армяка и вынул топор, который, сверкнув наострѣнным лезвием, поверг Кроткова в ужас. Сорвав запор, мужик открыл крышку и сразу ухватил кошелѣк с деньгами. Фирска вырвал у него добычу и потряс возле уха.

– Не пустой! – радостно возвестил он и, повернувшись к Степану, ощерился. – Только мы, барин, не за твоей казной явились!

– У меня других денег нет, – дрожа, сообщил Кротков.

– Полно врать! Мокей! Кирша! Перетрясите здесь всё, пока я со своим барином перетолкую.

Он подошёл к Кроткову, взял его за руку и вывел в зал, где, пытаясь освободиться от пут, перекатывался с боку на бок Сысой.

– Не путайся под ногами! – злобно крикнул Фирска и пнул мужика в бок.

– А ты не боишься, что я сейчас кликну людей? – пробормотал Кротков.

Захочет, Фирска внезапно осёкся и впился в барина узкими глазками.

– Я единожды боялся, когда первый раз человека жизни лишил. Ждал, что вот-вот бог меня покарает за душегубство. Но ему не до меня было: государь в тот день сразу тридцать дворян повесил. А ты громче кричи свою дворню. Я им велю скалками, поварёшками и пестиками забить тебя до смерти. Вот и узнаем, чьё слово сильнее – твоё или моё. Зови!

– А ведь ты, Фирска, добра не помнишь, – пролепетал Кротков. – Я тебя мог забить плетью до смерти, но отпустил на чetyре стороны.

– Если бы я это забыл, то тебе давно бы не жить, – сказал Фирска. – Я пока обходил стороной твою усадьбу, но ты, лиходей, покусился на государеву казну.

– Нет у меня ничьей казны! – взвизгнул Кротков.

– Не визжи, как свинья, тебя ещё не режут. – Фирска схватил Степана за горло. – Говори, где укрыл государеву казну?

В зал вошёл Мокей, с головы до ног осыпанный перьями из разорванных им подушки и перины.

– Всё растребушил, но пусто.

– Гляньте, ребята, ведь это, кажись, золото! – послышался весёлый голос Кирши, который обшаривал посудный шкаф. В руке он держал медную братину и постукивал серебряной чаркой по её золотистому боку. – Тут ещё такие имеются. У кого мешки?

Мокей распахнул армяк и вытащил из-за пояса мешок. Кротков молча поглядывал, как в него нагроулили всю, что нашлась, посуду, и надеялся, что разбойники удовлетворятся этой добычей. Но Фирска не забывал, зачем он сюда явился. Он неожиданно подскочил к Кроткову, ударом кулака сшиб его на пол и стал пинать сапогами. Извергая пузыри кровавой пены, Степан завопил. Сысой, видя мучения своего господина, обозлился, выплюнул изо рта соломенную затычку и крикнул:

– Оставь, изверг, барина! Так и быть, отдам тебе клад!

Разбойники сначала опешили от упавшего на них счастья, по-

том бросились к Сысою, разрезали на нём путы и поставили на ноги.

– Веди к захоронке! – потребовал Фирска.

– Её недолго искать, – ответил Сысой. – Как раз посередке правого ряда скирд.

– Так что, клад в снопах укрыт? – удивился Фирска. – Кирша, сторожи барина, мы мигом вернёмся.

– Как бы вы того, не ушли без меня, – засомневался разбойник.

– У тебя же в ногах мешок с золотой посудой, – сказал Мокей. – Если мы сгинем, она твоя.

Мокей и Фирска подхватили Сысою под руки и поволокли на выход. Кротков лежал на полу с закрытыми глазами, не уразумев ещё толком, что с ним случилось и где он находится, но скрип сапогов оставшегося его сторожить разбойника скоро поведал ему, в чьей власти он находится. Киршу занимала богатая добыча, он вынул из мешка медный кувшин и стал постукивать по нему серебряной ложкой, стараясь извлечь из посуды плясовой мотив. Кротков привстал с пола и на карачках пополз к окну, сорвал с него занавеску и начал утирать с разбитого лица кровь.

– Что, барин, полегчало? – продолжая постукивать, крикнул Кирша.

Кроткову действительно полегчало, он понял, что Пугачёв совсем недаром навязал ему возы с медными деньгами, и это он сделал для того, чтобы Кротков заслонил ими ворами дорогу к настоящему золотому кладу. «А я ещё клял анпиратора за бочки с медью, – подумал Степан. – Фирска забил бы меня до смерти, но услышал о кладе и кинулся к нему сломя голову».

-3-

Долгополов поспешил на воеводский двор снаряжать коляску, а Баженов сел за свой стол, обхватил ладонями голову и задумался. По своей службе Евграф хорошо знал уезды, которые входили в провинцию, он часто выезжал в них на розыск пре-

ступлений и скоро вспомнил, что бывал в Кротковке один раз, правда, проездом.

– Кротковка, – произнёс он вслух. – Стало быть, ею владеет головинский родственник, мой знакомец. Ужели этому хворому гвардии солдату и досталось пугачёвское золото?

Баженов был внимателен, и он живо представил свою последнюю встречу с Кротковым в начале зимы, когда ему удалось почти притиснуть гвардейца к стенке и запустить следователские когти в его подозрительное нутро. Заметно тогда дрогнул Кротков, потому и бежал из Синбирска. Видимо, тянутся за ним петербургские грешки, которые он старательно прячет от чужих глаз. Явно чем-то замаран, и такому хлосту свалилось на голову неслыханное богатство! Баженов злобно ударил кулаком по столу и поклялся себе, что выжмет из Кроткова до последнего пятака всё, что у него припрятано.

Надо было озаботиться сборами в дорогу, и он достал из ящика два пистолета, снарядил их порохом и пулями, наполнил зельем пороховницу из бычьего рога, уложил в замшелый мешочек с два десятка пуль, осмотрел саблю и прикрепил её на пояс. Из верхней одежды он выбрал короткую шубу и овчинную шапку, снял сапоги и сменил пропотевшие носки на сухие, затем сел к столу и, положив перед собой лист бумаги, выписал на себя и Долгополова служебное предписание для проведения розыскных действий по заданию воеводы, подпись которого Баженов наловчился исполнять лучше коллежского секретаря Панова.

В своих делах Баженов имел большую свободу и при особых обстоятельствах мог начинать розыск самостоятельно, по своему почину, но никогда этим во вред службе не пользовался, однако сегодня был как раз такой случай, когда о делах нужно было забыть, ведь другой такой явной возможности одним махом разбогатеть, и Евграф это знал точно, у него не будет. Он написал воеводе Панову небольшую записку, в которой уведомил своего начальника, что срочно отбыл по неотложному делу, о коем известит его тотчас по своему возвращению, и оставил её у дежурного канцеляриста.

Долгополов задерживался, но Баженов знал, что он его не

подведёт, поскольку был неоднократно испытан им в опасных и щекотливых обстоятельствах, где неизменно проявлял твёрдость и выдержку. Канцелярист считал Долгополова своей собственностью, потому что в молодом бродяге, уже назвавшем себя Иваном, не помнящим родства, который попал ему в руки во время облавы на воров в синбирском предместье Тути, Баженов разглядел себе помощника в палаческих и сыскных делах, взял его в подручные и не ошибся. На других канцеляристов, даже на начальников отделений канцелярии, Долгополов поглядывал волком, а перед Евграфом, особенно когда тот устремлял на него свой огненный взор, он сникал и был совсем ручным, всегда смотрел начальнику в рот, готовый выполнить любое приказание.

Запрягать лошадей Долгополову приходилось не часто и, взявшись за дело, он в темноте перепутал упряжные ремни, так что пришлось звать на подмогу конюха, который был недоволен, что его потревожили и извлекли из тёплой конюховки. Он взялся Викентия учить и, будто нарочно, тянул время, пока не получил крепкий тычок под рёбра, после чего сразу быстрее зашевелил руками и ногами.

– Ты где так надолго увяз? – сказал Баженов, усаживаясь в коляску.

– Как поедет? – равнодушно спросил Долгополов, не заметив недовольства начальника.

– Пока на Курмыш, а там видно будет.

В коляске лежала попона и, укутав ею ноги, Баженов предался поначалу лёгкой дреме, а потом уснул и открыл глаза, когда рассвело, на постоялом дворе заштатного городка Тагай. Долгополов был занят кормёжкой лошадей. Кроме них, проезжающих не было, ещё не многие, опасаясь пугачёвских ватаг, отваживались пускаться в дорогу.

До Кротковки было ещё не менее пятидесяти верст пути, и как Баженов ни торопил своего возницу, а тот как ни понукал лошадей, ночь они встретили в глухом лесу и смогли только добраться до небольшой деревушки. Там же едва достучались, пока их впустил в своё прокопчённое дымом курное жилище хозяин, хмурый мордвин, знавший по-русски всего несколько слов.

Баженов с трудом смог от него добиться ответа, что Кротков-ка совсем рядом, и, утомлённый тряской дорогой, не раздеваясь, уснул на лавке.

Долгополов, казалось, не ведал усталости. Ещё в потёмках он запряг лошадей и поджидал Баженова во дворе. Лёгкий утренний морозец взбодрил Евграфа, а скорая встреча с Кротковым возбудила в нём охотничий азарт бывалого сыщика. «Неплохо будет его взять тёпленьким в постели, со сна он сразу не сообразит, как ему отпираться и врать и без бития укажет на захоронку, – размышлял Евграф. – А будет запирается, так Викентий его живо образумит».

Когда коляска въехала на бугор, предутренний сумрак стал понемногу рассеиваться и, встав на коляске во весь рост, Баженов смог рассмотреть выглядывающие между полос тумана и печного дыма крыши изб, а на краю небольшого озера – помещичью усадьбу, заставленную с одной стороны скирдами, а с другой – амбарами, к которым примыкал большой огород.

– Вот мы, Викентий, и приехали, – довольно промолвил Баженов. – Придерживай лошадей, а то спуск-то крутоват.

Он хорошо знал, как живут помещики: парадный вход закрывают и крепко сторожат, а с заднего крыльца заезжай к ним хоть на телеге, двери открыты настежь, дворня туда-сюда бегают, чужого человека увидят и не удивятся, потому что привыкли жить в проходном дворе. Долгополов давно усвоил охотничьи повадки своего начальника и, не доехав до амбаров, погнал лошадей вскачь, осадил коляску возле заднего крыльца и устремился вслед за Баженовым в дым и пар кухни, на бегу сшиб, без всякого на то умысла, кухонного мужика, который стоял на его пути с чугунным котлом в руках, и выбежал в коридор, где увидел канцеляриста, прикившего ухом к дубовой двери. Баженов, не оборачиваясь, поманил его рукой к себе.

– Там кто-то похрюкивает, – прошептал он. – Гляди, Викентий, в оба.

Евграф отступил в сторону, и Долгополов ударил в дверь плечом, чего не следовало делать: незапертая дверь слишком легко распахнулась, и помощник канцеляриста чуть ли не ку-

вырком влетел в зал под ноги Кирше. Разбойник не растерялся и схватился за нож, но Долгополов был скорее и хватче, он такшибанул его головой в грудь, что Кирша, ударившись о стену, сполз на пол, посучил ногами и затих.

– Весело живёшь, Степан Егорович! – сказал, переступив порог, Баженов. – Знаю, что меня ты в гости не звал, а этот что, тоже такой же?

Степан хлюпнул кровавой юшкой во рту и попытался подняться на ноги, но они его не держали.

– Ба! Да ты совсем плох! – жалостливо воскликнул Баженов. – Викентий, усади барина на стул.

Евграф подошёл к Кирше, легонько попинал его и вернулся к столу.

– Твой гость крепко уснул, а мы тем временем с тобой, Степан Егорович, потолкуем.

– Какой сейчас толк, – воскликнул Кротков. – Я свет едва вижу.

– А тебе и не надо его видеть, – ухмыльнулся Баженов. – Мы с тобой заглянем в потёмки, туда, где ни зги не видеть, и всё там увидим, а коли не увидим, то уж точно нащупаем.

– О каких потёмках ты говоришь, Евграф? – насторожился Кротков.

– Как о каких! – хохотнул Баженов. – Ты что, анпираторское золото не зарыл в землю, а на свету держишь? Да, чуть не запамятовал, Емельян Иванович велел тебе кланяться.

– Какой ещё такой Емельян Иванович? У меня таких знакомцев не бывало.

– Как не бывало, а Пугачёв? – огненно возрился на поникшего хозяина Баженов. – Когда милости у его анпираторского величества искал, так, поди, спины перед ним не разгибал, теперь же заимел от него богатство и нос в сторону воротишь. А он мне намеренно говорил, что хотел тебя в свои графы и канцлеры пожаловать, да не успел.

– В какие ещё канцлеры! – попытался встряхнуться Кротков. – Ты заговариваешься, Баженов! И не мог ты видеть Пугачёва.

– Откуда бы я тогда о твоём счастье проведал? Вчера мы с

анпиратором распили полуштоф очищенной в его новых апартаментах, под присмотром майора Гаранина и взвода караульных солдат. Должен тебя утешить, Пугачёв пожалован железными регалиями: кандалами и цепью. Ты доволен?

– Мне-то какое до всего этого дело! – крикнул, вскочив со стула, Кротков. От натуги у него опять пошла носом кровь, вид которой всегда был Баженову неприятен, и он повернулся к Долгополову:

– Сделай что-нибудь, Викентий, дай ему мокрую тряпку, что ли!

Подручный сыщика поспешил исполнить приказ начальника, а Евграф сел рядом с Кротковым.

– Мы ведь с тобой свойственники, Степан. Я это помню и не хочу брать тебя в казённый розыск. Что нам помешает сговориться между собой, полюбовно разделить золото и, если хочешь, забудем друг друга навсегда.

– Нет, ты не человек, Баженов, – прошептал Кротков. – Ты – пиявка! Нет, ты – клещ! Впился и сосёшь мою душу. Но нет у меня золота, и Пугачёва я не знаю. Он, поди, на дыбе был, когда ты с ним вино пил, но я ведь не самозванец. Так зачем ты ко мне лезешь?

– Как зачем? – холодно произнёс Баженов. – Я возьму золото, а ты ляжешь на то место, где оно было...

Резкий скрип двери заставил Баженова обернуться и вскочить на ноги: разбойник, которого он счёл неживым, опаматовался и кинулся бежать. Евграф рванул за ним следом, в сенях столкнулся с Долгополовым. Они выскочили на крыльцо и в ужасе отступили: сторожевой пёс взял Киршу в клыки и, сорвав с него армяк, рвал разбойника на клочки, не оставив ему никакой надежды на спасение.

– Фирска! Мокей! – вопил Кирша, и друзья его слышали. Они были вне себя от счастья, когда Сысой разметал перед ними снопы и явил две телеги с бочками медных денег. Мокей быстро привёл лошадей, их запрягли и собирались ехать к помещицкому дому, как раздались дикие вопли Кирши, и Фирска по гнёту ловко влез на стог, откуда увидел крыльцо и на нём явно чужих людей.

– Гони! – заорал он, упав на свою телегу. Мокей, схватив вожжи, дико вскрикнул, и лошади помчали медную казну прочь от кротковской усадьбы.

Кирша уже перестал вопить, когда Баженов над ним сжалился: сбежал с крыльца, выхватил из-за пояса пистолет и выстрелил жадно терзающему свою добычу псу в ухо.

– Это его ватажные друзья были возле скирд? – спросил Баженов. – Что они там поделывали?

– А мы сейчас у мужика узнаем про это, – сказал Долгополов, указывая на Сысою, который спешил на выручку своему господину.

Викентий хотел задержать мужика на крыльце, но тот провалился в сени и в зал втащил Долгополова на себе.

– Слава тебе, господи! – вскричал Сысой. – Какое счастье, что ты, барин, живой!

– Жив, да не совсем, – угрюмо сказал Кротков, уже догадавшись, что случилось с медными пятаками. – Напали на меня одни разбойники, затем нагрянули другие. Что же, теперь ждать третьих?

– Да ты и взаправду ожил, – сверкнул на Степана огнистым оком Баженов. – Шутить изволишь? Тогда, Долгополов, неси кандалы! Твой анпиратор скучает в каменной палатке, вот ты его и развеселишь. Что стоишь, Викентий, столбом, поторапливайся!

– Какие ещё кандалы! – уже по-настоящему ужаснулся Кротков. – Да подавись ты, Евграф, пугачёвским кладом! Да, был он у меня, а теперь нет! Скажи, Сысой, что Фирска уволок клад; может, мужику поверят, раз дворянское слово не имеет уже цены.

Баженов метнулся к Сысою и схватил его за грудки.

– Говори, навозный опарыш, куда подевалось сокровище?

– Так это... Фирска с дружкой на двух возах только что его увезли. Ты, барин, и сам, чай, это с крыльца видел, как было...

Баженов яростно скрипнул зубами и, оттолкнув Сысою, устремился к двери, Долгополов от него не отстал, они выбежали на крыльцо и спохватились: их коляска стояла с другой стороны

дома. Пришлось им через высохшие лопухи и крапиву обегать его кругом. Долгополов схватил лошадей под уздцы и, вздыбливая, повернул их к дороге, Евграф с разбегу завалился в коляску, и погоня помчалась по горячему следу похитителей пугачёвскогоклада.

Крестьянские лошадёнки, на которых Фирска и Мокей уходили от погони, поначалу бежали резво, но скоро стали задыхливо прихрапывать, взмокли и, как их ни настёгивали, пошли шагом, роняя на мёрзлую землю мыльную пену.

– погоди, Фирска! – крикнул со своего воза Мокей. – Так мы никуда не убежим. Золото надо прятать, пока его у нас не отняли.

– И куда же мы его зароем? – спросил, оглядываясь, Фирска. – Надо найти такое место, чтобы люди туда не хаживали.

– Ты у нас всему голова и заводчик, вот и думай. Да торопись! Те господа, что стояли на крыльце кротковского дома, уже за нами бегут.

– Тогда езжай за мной, – сказал Фирска и направил свою лошадь в сторону Чёрного леса.

Вначале им ехалось без помех, тропа была достаточно широкой, чтобы по ней проходил воз, но скоро лес загустел, телеги то одной оглоблей, то другой стали цепляться за ветки, пеньки и толстые корни накренивали их то на один бок, то на другой, тяжёлые бочки елозили по телеге и шатались, подталкивая друг дружку к самому краю.

– Фирска! – не выдержал Мокей. – Куда ты меня ведёшь?

– А ты здесь ни разу не бывал?

– Нет, а что тут?

– Сейчас узнаешь, – сказал Фирска и, взяв лошадь под уздцы, вывел её на поляну, где стоял обгорелый сруб, и неподалёку от него шелестел берестой берёзовый крест над свежей могилой. – Это то место, где жил кудесник Савка-бог, пока исправник Лысков на него с солдатами не наехал. Избу сжёг, а самого убил. А разве в твоих краях таких знахарей нет?

– Как нет, но всё больше не мужики, а старухи.

– Сюда сейчас люди не ходят, – пояснив Фирска. – Здесь и

укроем клад, а после возьмём. Торопись, Мокей, если хочешь богатства!

Не меньше злодеев жаждал обрести сокровища и канцелярист Баженов. Он покрикивал на Долгополова, чтобы тот поторапливался, но возы разбойников как в воду канули. На дороге они встретили мужика, который шагал рядом с телегой, нагруженной сухими сучьями. Завидев господскую коляску, он остановил воз и, сняв шапку, низко поклонился.

– Не видел ли сейчас два воза с бочками? – грозно спросил Баженов.

– Не встречал, – промямлил мужик. – Не было никого.

– Разворачивай коляску, Викентий! – велел Баженов. – Поезжай не быстро и поглядывай на обочины, где-то они повернули в лес.

Страх потерять добычу обострил чувства преследователей. Первым следы от колёс увидел Долгополов. Канцелярист выскочил из коляски и склонился над ними, как гончий пёс, только что не обнюхивал.

– Это они, – поднял голову Баженов. – Здесь прошли два тяжёлых воза.

Скоро следы злодеев обнаружили и на сломанных ветках, ссадинами от телег на деревьях и ещё тёплым конским шевяком посреди колеи.

– Боюсь, мы их распугаем, – остановив коляску, сказал Долгополов. – Надо оставить коней здесь и догонять пешими. Так будет и скорее, и тише.

Стараясь не шуметь, они достигли поляны, на которой находился сгоревший сруб Савки-бога. Рядом с горелой избой стояли две телеги. Одна уже была порожняя, а с другой разбойники, натужась, снимали бочку с деньгами. Они были так заняты делом, что свою смерть увидели, когда она была уже рядом с ними. Баженов выхватил пистолет и нацелил его на Мокея. Фирска успел нырнуть за телегу и кинулся бежать, но Долгополов в несколько огромных прыжков его настиг и сгреб за шиворот. Разбойник схватился за нож, однако Викентий другой рукой уже взял его за штаны, поднял над собой и со всего размаха ударил головой о корявую и толстую осину.

– От кого узнал про сокровище? – грозно спросил Баженов.

– От Фирски, – вякнул Мокей.

Однако того расспрашивать было поздно, и Баженов убил разбойника точно так же, как пса возле крыльца кротковского дома – выстрелом в ухо.

Долгополов подошёл к нему весёлый: он взял у Фирски за пазухой кошелёк с деньгами, заглянул в него – золотые.

– Ловко ты его свалил, – сказал он, пнув мёртвого Мокея. – А я привык голыми руками обходиться.

Баженов смотрел на него безумным взглядом. Он только что заглянул в бочку и понял, что они убили людей не за золото, а за медные пятаки. Долгополов от этой новости не сник, а даже развеселился.

– Стало быть, тебе эти деньги не нужны?

– Велика ли в них корысть! Тут всего чуть больше тысячи рублей! – вскипел канцелярист. – Разве это богатство?

– И этого хватит, чтобы умному человеку разжиться, – сказал, посмеиваясь, Долгополов.

– Хватит врать! – рассердился Баженов. – Забросай бочки хворостом и поторопимся к Кроткову.

– Мне этого хватит. А Кротков, верно, уже убежал из усадьбы. Он мне не показался дурнем.

– Ты что, Викентий, ополоумел? – затопал ногами Евграф. – Или ты супротив меня вздумал пойти?

– Утомил ты меня, Баженов, – процедил сквозь зубы Долгополов. – Уже два года, как моя жизнь стала смеху подобна. Я, природный вор, у сыщика на посылках.

– Не будь моей к тебе милости, ты бы под кнут пошёл и с рваными ноздрями гнил в демидовском руднике.

– А ты, канцелярист, здесь сгниёшь, – усмехнулся Долгополов.

Баженов дёрнулся, чтобы выхватить из-за пояса пистолет, но не успел: Долгополов уже крепко ухватился костлявыми пальцами за его горло и сломал хрящи.

– Теперь мы квиты!

Он пробыл на пожарище почти до сумерек, зарывал трупы,

прятал бочки в ямах, заваливал их землёй, травой, сучьями. Трудился он не спеша и, закончив работу, выпряг лошадей и повёл их к коляске, которая была спрятана на полпути до проезжей дороги.

-4-

Ужас, изведанный Кротковым от нашествия на его дом разбойника Фирски и канцеляриста Баженова, не обезножил обладателя пугачёвского золота, а побудил его к поспешному бегству.

– Сысой! – вскричал он, едва только за Долгополовым захлопнулись двери. – Закладывай коляску! Не дай бог, если ещё кто-нибудь явится за кладом, я этого не переживу.

– Сколько же ещё нам бегать? – недовольно пробурчал Сысой. – Год уже пробегали, когда же всё это кончится?

– Не ворчи. Пока Пугачёва не казнят, нам отдыху не будет. Ты лучше глянь, не очень мне лицо разнесло, а то я носа не чувствую?

– Бывает и хуже, – сказал Сысой, оглядев барина. – Губы раздуло, да синь под глазами. Заживёт, как на собаке. А что, ты, барин, меня опять за собой потащишь?

– Только до Курмыша, а там я на ямских поеду. А ты не стой. Не слышал, что я сказал?

Когда за мужиком затворилась дверь, Кротков повернулся к зеркалу, поразглядывал себя, надел кафтан и вышел в коридор. Возле кухни он нашёл старый черенок от лопаты и поспешил на крыльцо. Кротков не мог себе позволить покинуть усадьбу, не удостоверившись, что на его захоронку никто не покушался и клад цел. Оглядевшись и убедившись, что за ним никто не подглядывает, он юркнул в ретирадное место и стал нащупывать через дыру захороненные в потайной яме кули с богатством. Всё было цело, и Степан подивился сметливости Пугачёва, указавшего ему такое удобное место для клада.

«Я не могу ему желать худа, – подумал Кротков. – Но пока он

жив, клада вынимать нельзя. Надо ждать его смерти, а казнят его только в Москве, чтобы вернее убедить народ в гибели самозванца».

Отправляться в дорогу без съестных припасов было бы безрассудством, и Кротков велел снарядить ему погребец, не забыв положить туда ветчину, варёную баранину, солёное сало и прочие питательные разности и, конечно, штоф очищенной, чтобы было чем делать примочки к синякам и ссадинам, от которых Степан надеялся освободиться ещё до приезда в Москву. Имевшуюся у него казну он решил не оставлять на произвол случая, и хотя она была немаленькая – более тридцати тысяч, Кротков её всю разместил: и на себе, и в походном сундуке. Он ещё не знал, на что ему могут понадобиться эти деньги, но, имея их, Степан чувствовал себя увереннее. Встретиться ему на пути его петербургские гонители – немец Зигерс и карга Саввишна, он бы перед ними не дрогнул, а рассчитался лёгким движением руки, сыпанув им весь долг, да ещё и с процентами, ничуть не мелочась. Пусть знают кротковскую породу! А капитану Корсакову, который его больно обидел на выезде из Петербурга, Степан непременно бы сделал кукиш, пусть и в своём кармане. Он уже не нуждался в службе. Золото сделало его и на самом деле вольным русским дворянином. Он мог жить себе в усадьбе, а мог и поехать, куда заблагорассудится.

Но разнеживать себя сладкими мечтами времени не было, Сысой не поторапливался, и Степана вдруг обожгла догадка, что Баженов, найдя в бочках медные пятаки, уже мчится назад в усадьбу, обдумывая, как отомстить за обман хозяину. Он скоро облачился в шубу, взял шапку и, встретив на пути Сысою, поспешил к коляске. Узнав об отъезде барина, отовсюду выбрались дворовые люди. Они были рады остаться одни и жить вольготной жизнью без хозяйского глаза.

В Курмыше избу почтовой станции срубили недавно и не успели её загадить. Бывалый ямской староста сразу, по вытертой шубе, определил, какого полёта дворянин к нему явился, и повёл себя важно, снисходительно объявив сразу впавшему в смущение приезжему, что сегодня лошадей не будет, но есть комната

для господ, и он может в ней получить за полтинник лавку для ночлега. Кротков подивился дороговизне, но возмущаться не стал, простился с Сысоем, походил вокруг да около ямской избы, поглядывая с бугорка на заштатный городок, над которым уже крупно вызвездило небо, справился у проходившего мимо мужика, когда будет готов кипяток и, узнав, что вода кипит ключом, отправился вечерять.

Кротков недавно у проезжего купца разжился чаем и, вызывая зависть у жевавшего чёрствую булку канцелярского чина, соседа по лавке, заварил чай и, после ветчины, отдуваясь и причмокивая, выпил три чашки, убрал посуду в погребец и завалился спать, в надежде, что завтра, с ветерком, покатит в сторону Владимира на ямских, но этого не случилось. Ямской староста огорошил его известием, что ни сегодня, ни завтра, ни через неделю свободные лошади вряд ли будут, почти все они загодя определены под казённые надобности: из Москвы во все поволжские города, которые были охвачены пугачёвским бунтом, поспешали курьеры с важными вестями и документами. Это были лихие офицеры небольших чинов, отличавшиеся крепкими седалищами, способные без отдыха выдержать тысячевёрстную скачку, отъявленные сквернословы и драчуны, от коих пострадал не один ямщицкий затылок и не одна смотрительская борода. Кротков путешествовал по своей воле и тягаться с казёнными людьми не мог. Проходил один день за другим, а он всё сидел на одном месте, безнадежно выглядывая в окно, за которым уже запуржила ранняя в этом году зима. Убывало светлое время дня, убывали и съестные припасы, а за деньги, кроме пустых шей, ничего добыть было невозможно.

Кротков стал уже подумывать, что удача, сопутствовавшая ему без устали на протяжении года, бесповоротно его покинула, уже намеревался купить какую-нибудь лошадь с санями и взять самому вожжи в руки, как в гостевую комнату вошёл запорошенный снегом офицер, обстучал у порога сапоги, развязал башлык и, мигнув подмороженными ресницами, возгласил:

– Это опять ты, Кротков?

– А кому же ещё быть? – сконфуженно пробормотал Степан,

узнав в приезде Державина, перед которым он всегда робел из-за его прямого и жёсткого нрава.

Чтобы скрыть охватившую его неловкость, он сделался ужасно суетлив: помог Державину снять шубу, выложил на стол оставшиеся у него ветчину и сало, едва початый штоф очищенной, чайные чашки и последние куски сахара.

– Да ты, я погляжу, богато живёшь, – сказал Гаврила Романович, потирая красные от холода руки.

– Прошу угоститься, господин подпоручик!

– Брось чиниться, Кротков, – скривился Державин. – Мы ведь не в полку, а посреди проезжей дороги. Тем более, как я понял по нашей последней встрече, служить отечеству ты не желаешь. Хотя ты солдат, а я, заметь, поручик, нас друг с другом равняет дворянство.

– Всё так, – угодливо молвил Кротков. – Но вы, господин поручик, в чинах возвысились, не в пример мне.

Державин остро на него взглянул, отыскивая скрытую насмешку: как раз в службе ему не везло, хотя служил он рьяно, не имея в рвении удержу, что почти всегда выходило ему боком, поскольку обладал неистощимой способностью наживать себе врагов, и совсем недавно гонителем Державина стал всемогущий генерал-аншеф граф Панин, который простёр свою неприязнь к поручику до того, что довёл своё мнение о нём самой государыне, как о человеке весьма недостойном, а во всеуслышанье неоднократно грозил поручика повесить. Державин отчасти был сам в этом виноват. Он не угадал, кому нужно донести первому о поимке Пугачёва и пренебрёг Паниным, вскоре понял свою ошибку и, не далее как три дня назад в Синбирске, постарался понравиться главнокомандующему. Это ему уже почти удалось, но нечаянным словом он опять восстановил против себя всемогущего графа. Теперь Державин ехал в Казань и был почти в отчаянии от того, что его служба не задалась и не сулит обещанного будущего.

Все эти чувства отразились на лице Державина горькой гримасой. Кротков понял сие по своему разумению – он сделал приглашающий жест рукой и радушно промолвил:

– Не желаете ли, Гаврила Романович, причаститься очищенной!

– Не откажусь, – сказал Державин и присоединил свои припасы к кротковским.

Поручик выпил чарку, плотно закусил и откинулся на спинку стула.

– Ты ведь, кажется, в Казань бежал от Пугачёва, – произнёс он. – А там его видел?

– Только с крепостной стены, Гаврила Романович, когда он по нас стал палить из пушек.

– А я три дня назад видел злодея, так близко, как тебя, – усмехнулся поручик. – Мой доброжелатель, пусть ему пусто будет, граф Панин, похвалился мне своим трофеем.

– Ну, и как он вам показался? – заволновался Кротков.

– Да никак, – пренебрежительно махнул рукой поручик. – Посконный мужик в замасленном тулупе. Упал на колени и завыл: «Ночей не сплю, всё плачу, ваше графское сиятельство!» Как поверить после такого, что сей смерд возомнил себя царём и потряс основания державы?

– И что с ним теперь будет? – спросил Кротков.

– Отвезут в Москву и четвертуют... Но будет об этом. Ты о себе скажи, Кротков. Помнится мне, что ты бредил о скором богатстве. Ну и как, разбогател? Я не удивлюсь, что это так. К таким, как ты, счастье если придёт, то и на печи найдёт.

– Боюсь сказать, Гаврила Романович, – робко произнёс Кротков. – Но я почти обрел клад.

– Как «почти»? – удивился Державин. – Ловкое это словцо – «почти». Почти жена – это пассия, почти золото – это, братец, дерьмо, оно тоже жёлтого цвета. Или ты соврал?

– Мне вас, Гаврила Романович, обманывать не пристало, ведь с вашего рубля началось моё счастье. Деньги у меня и сейчас есть, мне для вас и тысячи рублей не жалко, если пожелаете принять как подарок.

– Вижу, ты точно стал Демидовым, – расхохотался Державин. – Но я, брат, подарков не беру. А ты не продумай своё богатство в карты? Помнится, ты был охоч до картёжных баталий.

– Забыл о них и думать, но иногда снится, что играю, а проснусь и радуюсь, что видел всего лишь сон.

– Не знаю, завидовать ли тебе, – после некоторого раздумья сказал Державин. – Твоё богатство случайно, значит, некрепко. Теперь тебе должно страшиться день или ночь, что кто-то за ним явится, и тогда тебе несдобровать. К примеру, тот же ямщик встряхнёт возок на ухабе, у тебя деньги за паухой забрякают ему в соблазн протянуть к ним руку.

– Не зови, Гаврила Романович, лихо, оно может, уже к дверям притулилось! – испугался Кротков. – Потому и сижу на яме почти неделю, что боюсь явить старосте своё золото. Он таким разбойником смотрится, что и подойти к нему страшно.

– Экая невидаль – разбойник! – засмеялся Державин. – В здешних местах от пугачёвщины все мужики теперь разбойники. Многие помещики и рады бы от них избавиться, да их не берут, даже по бросовой цене. А ты, выходит, сидишь и уехать не можешь?

– А что подделаешь, коли нет у меня подорожной? – вздохнул Кротков. – Вот подумываю дожидаться настоящего снега, купить лошадь, сани и поехать своим ходом.

– Ты ведь, Кротков, солдат, возьми ямского старосту за бороду и потряси его так, чтобы он уразумел твою силу.

– Такое не по мне, Гаврила Романович, – отказался Кротков. – Как-нибудь я и сам уеду.

Однополчане повспоминали за чаем общих знакомых. Державин начал было говорить о неправдах, которые он разведал в саратовском гарнизоне, но скоро опаматовался. Кротков не являлся тем человеком, которому следовало об этом знать, и поручик завалился на боковую. Скоро в комнате от его молодецкого храпа стал вздрагивать огонёк лампы перед ликом Николая Угодника, небесного покровителя всех путешествующих по суше и по морю.

Кротков ворочался на лавке, завидуя Державину, и уснул поздно, но только взгляделся в свой сон, как его за плечо кто-то сильно начал трясти.

– Будись, Кротков! Бери свои вещи и следуй за мной!

– Куда, Гаврила Романович?

– Уехать желаешь? Тогда поспеши!

На дворе была совсем другая, чем вчера, погода. Снег растаял, сияло тёплое солнышко. Возле избы стояла запряжённая двуконь коляска. Рядом с ней ямской староста наставлял ямщика и опасливо поглядывал на Державина, он уже имел с ним дело и знал, что офицер скор на расправу.

– Что ж, прощай, Кротков! – сказал Державин. – Вот тебе коляска, и скатертью дорога!

– А как же, Гаврила Романович, вы?

– Поторапливайся!

Кротков подхватил свои вещи и сел в коляску.

– Куда залез! – всполошился ямской староста. – Это для господина офицера, по казённой надобности.

– Я своей властью офицера Казанской следственной комиссии выписал ему подорожную! – заявил Державин.

– Я её не видел, – возразил ямской староста.

Державин крупно к нему шагнул и сунул к носу кулак.

– Вот, читай!

Кулачная подорожная убедила ямского старосту, что поручику перечить опасно, а ямщик счастливо разулыбался: с частного седока он имел выгоду.

Многие отзывались о Кроткове как о плохом дворянине, забулдыге и картёжнике, но честно будет сказать, что он не имел негожей привычки дурно вспоминать о человеке, с кем только что расстался. Державину он желал добра и, оглянувшись на ямскую избу, подумал, что зря Гаврила Романович так старается обрести своё счастье на службе. Марал бы вирши для государыни, за них он скорее получит табакерку в алмазах, наполненную золотыми империялами. Такого от графа Панина и генерала Потёмкина ему вовек не дожидаться, даже приведи он им на цепи самого Пугачёва.

С лёгкой руки Державина к Кроткову вернулась удача, и ни на одном стане ямские старосты его подолгу не задерживали, да и сам он стал постигать науку обращения с этими людьми: на одного топал ногами, другому совал в руку мзду, и хотя много

претерпел в дороге неудобств, но к началу ноября добрался до первопрестольной жив и здоров, если не считать лёгкого насморка.

Москва сразу поразила Кроткова обилием съехавшегося сюда дворянства. Можно было подумать, что скоро здесь ожидается венчание на царство нового государя всея Руси, но большого веселия заметно не было. Дворяне сбежались в Москву от пугачёвщины, и до сих пор немногие верили известию, что злодей схвачен, закован в кандалы и его везут в Москву в клетке на справедливый суд и скорую казнь. Среди дворян слава Пугачёва была столь ужасна, что они страшились возвращаться в родовые усадьбы, многие из которых были обращены в пепелища.

За минувший год домовладение кротковской тётушки Агафьи Игнатьевны ни в чём не изменилось. Какое-то время Степан сиротливо оглядывался на окна, за которыми томились взаперти домашние цветы, конюшню, колодец, амбар и дровяной сарай, откуда вышел, пятясь, молодой парень, держа в руках охапку берёзовых поленьев.

– Сёмка! – обрадовался Кротков. – Что, господа дома?

– Как есть дома и барин, и барыня, только отобедали и кушают в зале чай.

– Давно ли господин вернулся? Как он, жив-здоров? – спросил Кротков.

– Жив помалу, – сказал Сёмка, – а здоров вряд ли: турки ему ядром ногу до колена отшибли. Он теперь на палке ходит.

– Ах, беда какая! – воскликнул Кротков.

– Наш барин – герой! – похвалился парень. – Ему царица Егория пожаловала за храбрость.

«Не сиделось старому, погеройствовать возжелал, – отчуждённо подумал Кротков. – До тех пор, пока дураки не переведутся, воевать будет кому».

О прибытии племянника уже донесли Агафье Игнатьевне, и она турнула своего лакея взять у Степана вещи. Кротков следом за ним поднялся на крыльцо, бросил на лавку в сенях шубу и вступил с лёгкой и непритворной улыбкой в зал, где попал сразу в объятия Петра Николаевича, почти саженого роста майора,

который так крепко прижал его к тому месту на груди, где покоилась награда, что георгиевский крест отпечатался на щеке Степана всей своей отекающей фактурой. От боли Кротков скрипнул зубами, но дядя продолжал его мять и тискать, постукивая деревяшкой протеза, пока тётушка не вырвала своего любимого племянника из медвежьих объятий мужа.

– Вся-то моя душенька изболелась, Степанушка, – пролила слезу радости Агафья Игнатьевна. – Больше года не было от тебя ни одной весточки. Я уж подумывать стала, а не случилось ли с тобой худо...

Промокнув платочком влажные глаза, тетушка засуеилась, не зная, где Степана усадить и чем попотчевать. Пётр Николаевич тоже был доволен приездом племянника не менее жены – в нём заскучавший в почётной отставке майор надеялся найти собеседника и слушателя своих воспоминаний.

Родственники ждали изъявлений радости от встречи с ними, но Кротков их удивил:

– Что слышно о Пугачёве? Он ещё не в здешней тюрьме?

Пётр Николаевич и Агафья Игнатьевна недоумевающе посмотрели друг на друга, затем одновременно пожали плечами.

– Завтра обещал быть Викентий Павлович, – сказал дядюшка.

– Вот его и расспросишь о разбойнике, он судейский, и ему в Москве ведомо все.

-5-

Не чуждый и раньше самохвальству, граф Панин, заимев Пугачёва в свои руки, так возгордился, что стал почитать себя за спасителя российского дворянства и праздновал победу. Безмерно возрадовалось укрощению злодея и благородное сословие. Слепок с их чувств дожил до наших дней в «Стансе граду Синбирску на Пугачёва», изготовленном с большой горячностью и превеликой мстительностью первым на то время пиитом империи Сумароковым, где, среди прочих, были строчки о победителе:

Граф Панин никогда пред войском не воздремлет,
И бросил он тебя, взлетевша с высоты.
И силой и умом мучителя он емлет.
Страдай теперь и ты!

Уже геена вся на варвара зияет,
И Тартар на тебя разверз уста.
И Панин на горах вод волгиных сияет,
Очистив те места...

Вирши были доставлены в Синбирск курьером, прочитаны главнокомандующему, который расчувствовался до пролития радостных слёз и велел послать престарелому Сумарокову несколько полных горстей золотых империалов, а генералу Потёмкину отдал распоряжение приступить к допросу Пугачёва, сделав ему предостережение, что, если он станет врать, то будет бит тяжёлой плетью. Генерал вскоре привёл угрозу в исполнение, и Пугачёв подвергся пытке, на которой оговорил до двух десятков знакомых раскольников. Их кинулись разыскивать, а из Петербурга пришёл приказ срочно отправить Пугачёва в Москву, в распоряжение Особой следственной комиссии московского отделения Тайной экспедиции Сената.

Граф Панин с неохотой расстался со своим трофеем, он мечтал умножить славу казнью Пугачёва в Синбирске, но самозванец должен быть предан смерти в Москве, и публично, чтобы пресечь вполне возможные попытки появления нового лжецаря.

Кротков бежал из своей деревни на две недели раньше, чем Пугачёва, под конвоем роты солдат и нескольких пушек, отправили из Синбирска, но у того ямские старосты не спрашивали дорожную и не чинили каверзных препятствий, и в Москву они прибыли почти одновременно, а вот разместились в разных местах: Кротков у своей тётушки, а Пугачёв в тюремной камере Монетного двора у Воскресенских ворот Китай-города.

Весть о том, что злодей водворён в московское узилище, доставил Кроткову судейский родственник тетушки Викентий Павлович, и она привела новоявленного богача в сумятицу: Степан сначала возрадовался, что Пугачёву скоро отрубят голову, и

тайна клада сгинет в аду, затем он начал подумывать, что эта смерть лишит его покровителя, который больше года его опекал и защищал от всех напастей и помог удержать богатство. «Сейчас у Пугачёва нет ни одного доброжелателя, все желают ему ужасной смерти, – думал Кротков. – Но что будет со мной после его гибели?»

С этой тревожной мыслью он вернулся в свою комнату и стал переодеваться, чтобы выйти в город. Взяв в руки кафтан, Кротков обнаружил, что он изрядно замаслен на рукавах, не лучше выглядел и жилет, а что до штанов, то в той части, коей они облегали ягодицы, сквозь вытертую ткань было видно небо. Степан снял с вешалки шубу, убедился, что воротник облысел, а сукно во многих местах побито молю. «Этак меня здесь бог знает за кого примут» – подумал он и достал из-за подушки кошель с золотом. Степан ещё не обрёл навыки обращаться с большими деньгами и, захотев отсыпать сотни две империалов, неловко вывалил их все, частью на постель, а частью на пол. Золотые монеты разбежались по всей комнате. Степан кинулся за ними вдогонку на четвереньках и больно ударился головой в палку, на которой одной ногой стоял Пётр Николаевич.

– Вот это казна! – хрипло вымолвил потрясённый майор. – Я столько золота отродясь не видел!

Кротков помалкивал и, потирая ушибленный лоб одной рукой, другой подбирал с пола империалы. Пётр Николаевич стал ему помогать, подвигая ему своей тростью закатившиеся под стол и стулья золотые монеты, но скоро запыхался и сел на кровать.

– Это сколько же ты здесь золота рассыпал? – сказал он.

– Не знаю, – простодушно признался Кротков.

– Как так? – удивился майор. – Ужели ты счёта своему богатству не знаешь? Я, племянник, могу сразу сказать, что на те золотые, что ты разбросал на полу, можно купить деревеньку с сотней-другой мужиков. Или ты что другое думаешь заиметь?

– Думал, дядюшка, штаны себе новые справить, кафтан, да шубу присмотреть, – сказал Кротков. – Только сейчас увидел, как я обносился. В порядочный дом дальше ворот не пустят.

– А ты как думаешь обрядиться? – насторожился Пётр Николаевич. – Если у французов, то обдерут, как липку, своими хитростями: приди, к примеру, к ним за перчатками, так сразу не отпустят, что-нибудь да навяжут, они горазды нашего русского брата за нос водить.

Кротков наконец справился с рассыпанными монетами, собрал их в кошель, завязал и положил на стол. Майор покосился на него и крикнул, но не от зависти, а от почтения, которое всегда испытывал к золоту, как к генерал-аншефу всех денег: и медных, и серебряных, тем паче бумажных.

– У вас есть на примете добрый портной? – спросил Кротков. – Я не собираюсь вырядиваться, но желаю занять самое лучшее и прочное.

– С этим ты к своей тётушке обращайся, – посоветовал Петр Николаевич. – Но что ты разумеешь под самым лучшим и прочным?

– Хочу себе шубу на бобрах, – сказал Кротков.

– На бобрах! – ахнул майор. – Высоко же ты, брат, взлетел! Но в бобрах пешком не ходят, к ним нужны щегольские рысаки, карета, лакей на запятках, дом с колоннами на Тверском бульваре, много ещё чего нужно к бобрам. Тут твоим кошельком не обойтись, нужна бочка золота.

– Но вы же, дядюшка, не откажете мне проехать в новых бобрах в вашей карете?

– Как можно, Степанушка! – воскликнул Пётр Николаевич. – Катайся по Москве, сколь захочешь, но не заглядывай в те места, где пьют и картёжничают. Беги от всякого, кто захочет тебе на шею броситься. Тут сегодня забегал один к нам пролазщик, тебя спрашивал и письмо оставил.

– Он представился?

– Как же! Заговорил меня до головокружения, что я тот час его имя позабыл. Я людей знаю и скажу сразу: сей господин нечист на руку. Сейчас я велю принести письмо, но ты этого пройдоху остерегайся.

Дядюшка удалился в свою комнату, и вскоре слуга на медном блюде подал Кроткову конверт из грязно-серой бумаги, испи-

санный крупным почерком. «Не покушается ли кто на мой клад?» – беря с опаской письмо, подумал Кротков, но, взглянув на подпись, удивился. Послание было от Калистрата Борзова, о котором Степан вспоминал всё реже и реже, занятый своим неутомимым бытием. Он надорвал конверт и вынул листок бумаги.

«Его гвардии благородию Степану Егоровичу, моему соратнику по молодецкому истреблению очищенной поклон и всеподданнейшее почтение! – шутиствовал Борзов. – Москва – большая деревня, и вчера я по делам забрёл в сенатское судилище, где в привычной болтовне упомянул твоё имя, на что получил известие о твоём пребывании в городе. Нехорошо, брат, скрываться от товарища, который тебе помог выжить. Ведь мне ведомо, что ты обрёл клад, так почему не спешишь поделиться со мною своей радостью? Я стою в номерах на Тверской, дом поручика Гвоздева».

«Калистрат верен своей привычке огоршить кого-нибудь опасной новостью, – подумал Кротков. – Ни о каком кладе он не знает, просто поторапливает меня к себе».

Он стал собираться на выход в город, но зародившаяся в нём мысль, что пииту, возможно, что-то стало известно, изрядно испортила ему настроение, пока он не поднялся по лестнице на второй этаж дома, где снимал комнату Борзов, который встретил его с такой бурной радостью, что у Кроткова легчало на сердце.

– Стало быть, ты не разбогател! – воскликнул пиит, оглядывая потёртый воротник на плечах приятеля. – И, конечно, не женился на дочери откупщика? Хотя о чём я спрашиваю! Ты жив остался, значит, до тебя не добрался Пугачёв?

– Ещё как добрался! – ответил Кротков. – Моего дядюшку Парамона Ильича на дереве вздёрули его ребята, и я от него набегался то в Синбирск, то в Казань. А тебе что надо в Москве?

– Тут, брат, со мной такая конфузия стряслась, что не знаю, как сказать, – развёл руками Борзов. – А если коротко, то я обрёл клад, и не где-то в лесу, а возле госпожи Угловой. И клад сей и кричит, и пищит, и на дню по несколько раз пелёнки золотит.

– Ты женился?

– Пока бог миловал, Углова меня к алтарю не тащит, но я её не покинул до сей поры и сюда приехал по делу о причитающейся ей доле в наследстве.хлопотное, скажу тебе, занятие.

– Я постараюсь тебе подсобить, – сказал Кротков, обводя взглядом грязные обои комнаты, где из мебели были лишь кровать, стол и стул. – У меня в суде служит родственник Викентий Павлович.

– Так я на него уже наткнулся, – усмехнулся Борзов. – Он мне и донёс, что ты здесь. За дело он берётся, но заломил много, не знаю, как и быть.

– Я с ним столкуюсь, – уверенно заявил Кротков. – Денег ему не давай, он сделает всё как надо.

Кротков решил заплатить титулярному советнику из своих денег и тем сделать Калистрату подарок. У него даже на мгновение мелькнула мысль дать новорожденной на зубок десятка два импералов, но он от неё отказался, ибо знал, что любое доброе дело следует совершать с тщательной оглядкой, дабы потом не раскаиваться в содеянном.

– А я, Степан, как стал отцом, так переменялся, – сказал Борзов, по-своему истолковав задумчивость приятеля. – Уж третий месяц воздерживаюсь от хмельного. Но внизу есть трактир, и я готов тебя угостить.

– Мне с тобой и без очищенной весело, – улыбнулся Кротков. – Я на коляске, и приглашаю проехать по бульварам.

Осенняя Москва, осиянная багрянцем садовой листвы роскошных барских усадеб и золотым сиянием бесчисленных храмов, смотрелась печатным пряником, но этому торжественному благолепию, пронизанному нежарким солнечным светом, мешала суeta людей, по обличию благородных, которые, как воробы на корку хлеба, слетались друг к другу и о чём-то возбуждённо спорили. Кротков вопрошающе взглянул на Борзова, на что тот недоуменно пожал плечами, но это затруднение разрешил голос господина, обращённый к седоку, который рысил на тонконогой кобыле.

– Как мыслишь, Пётр Дмитриевич, государыня помилует злодея?

– Что у нас только ни делалось, чтобы понравиться Европе... – сквозь зубы процедил всадник и пришпорил кобылу.

– Оказывается, вот в чём причина столь озабоченного шевеления дворян, – хмыкнул Борзов. – По всем законам, Пугачёв достоин четвертования, но это не нравится Вольтеру, а государыня перед ним заискивает.

– А что, этот Вольтер, чей-то король? – спросил Кротков.

– Бери выше! – хохотнул пиит. – Он правит людским мнением и определяет, что должно считать добрым, а что злым.

– Скажешь тоже, Калистрат, – не поверил Кротков. – Он ведь не бог, чтобы судить об этом.

– Я удивляюсь не Вольтеру, а тому, что главный следователь Пугачёва Павлуша Потёмкин перекладывал Вольтера на русский и преподносил государыне, а теперь они ломают головы, как острее наточить на Пугачёва палаческую секиру и не обидеть своего наставника.

– Что, Пугачёва казнят?

– Другого не будет, – сказал Борзов. – Но наши дворяне сомневаются и желают знать твёрдое слово государыни, да это не нашего ума дело. Однако меня забавляют наши дворяне: сбившись в кучки, они ругают Пугачёва, а нет пойти к нему и сказать, как они его ненавидят.

– Разве такое возможно? – удивился Кротков. – Его же держат под караулом.

– Власти заинтересованы, чтобы как можно больше людей убедились в самозванстве злодея, и публику из благородных к нему беспрепятственно допускают.

«А он ведь меня ждёт!» – мелькнуло в голове Кроткова, и он кулаком ткнул возницу в спину:

– Поворачивай в Китай-город!

– Ты что, решил идти к Пугачёву в гости?! – воскликнул Борзов.

Кротков окинул его невидящим взглядом и отвернулся. Решение ехать к Пугачёву он принял по какому-то внезапному и неожиданному для него самому порыву и не успел даже предположить, к чему это приведёт, как коляска въехала под арку Моетного двора.

– Послушай, служивый! – обратился Борзов к унтер-офицеру, который прохаживался между двух караульных, стоявших с ружьями у входа в мрачное здание. – Емельку видеть дозволено?

– Пожалуйте, ваши благородия! – важно произнёс унтер и позвал солдата. – Проводи господ в камеру злодея!

Через сени они прошли в коридор, освещённый прикреплёнными к кирпичным стенам сальными плошками.

– Пожалуйте сюда, – сказал солдат, открывая толстую деревянную дверь, обитую железными полосами, и перед посетителями сразу предстал Пугачёв, закованный в кандалы и обёрнутый цепью, которая крепилась в каменной стене. Камера была высокой и просторной, узник находился в ней не один – возле печи на корточках сидел солдат и выгребал из поддувала золу. Другой солдат, держа в руке ружьё, находился возле стены и неотрывно глядел на Пугачёва, стоявшего на коленях перед скамейкой. Самозванец хлебал ложкой из деревянного блюда уху.

– Как жив-здоров, Емельян? – спросил Борзов и смутился от горячего и пронзительного взгляда, которым его смерил Пугачёв.

– Жить тошно, но и умирать не счастье. Жаль, я уху всю дохлебал, угостить тебя нечем. Хотя какой ты мне гость? Я тебя не знаю, а вот твой попутчик мне, кажись, знаком, где-то мы с ним виделись, а вот где, не возьму в память.

– Я и не догадывался, Степан, что на цепи сидит твой знакомец, – весело сказал Борзов.

– Мы с ним не встречались, но два раза друг на друга глядели: один раз в Казани, когда он из пушки стрелял по крепости, другой раз я видел его издали на крыльце своего дома в Кротковке.

– Стало быть, ты вон кто! – жарко выдохнул Пугачёв и шагнул, зазвенев цепью, к Кроткову. – Ну и как, обрёл то, что искал? Доволен своим счастьем?

–хлопот с ним много. Иной раз оно мне кажется обузой, боюсь, не удержу его в руках.

– Врёшь, барин! – воскликнул Пугачёв. – Ты меня боишься, тебе моя смерть нужна, и ты хочешь её увидеть своими глазами.

Позванивая железом, он отступил к стене и опустился на низкую лавку, застланную овчиной. Кротков испытывал жгучее желание убежать из камеры, однако ноги его не слушались, и он жалобно поглядел на Пугачёва.

– Ладно уж, ступай подобиру-поздорову, – сказал Емельян Иванович. – Жизни я людей лишал, грешен. Однако ни на чьё счастье даже не покушался, будь счастлив и ты, если сможешь. Истопнику, что не даёт мне замёрзнуть, дай денег, чтобы весь караул хватило угостить. А теперь ступай, после ухи меня всегда в сон клонит.

По высокому и светлому коридору Екатерининского дворца, отражаясь в многочисленных зеркалах и постукивая по наощённому дубовому паркету каблуками французских башмаков, мимо караульных офицеров гвардии и скользящих неслышно камер-лакеев, бледный от волнения и пудры шёл генерал-майор Павел Сергеевич Потёмкин, которому императрица Екатерина Алексеевна назначила быть в её рабочем кабинете с докладом об итогах следствия по делу злодейского бунтовщика и самозванца Емельки Пугачёва.

Государыня была полностью осведомлена о ходе расследования, ей немедленно доставляли протоколы допросов Пугачёва, коих сделали три: в Оренбурге, в Синбирске и в Москве, но Потёмкин был достаточно опытен, чтобы не забыть взять на аудиенцию копии этих документов, а также экстракт по всему следствию, составленный им самим и подписанный первоприсутствующим Особой Следственной комиссии московского отделения Тайной экспедиции Сената московским губернатором и главнокомандующим князем Волконским.

Екатерина Алексеевна находилась в своём кабинете одна. Она сидела в кресле за большим столом и, отложив в сторону книгу, милостливо протянула Потёмкину руку для поцелуя. Павел Сергеевич безукоризненно прикоснулся нафабранными уса-

ми к благоухающему атласу запястья и, отступив на шаг, нежно и почтительно взглянул на государыню.

– Господин Вольтер нас не забывает своим вниманием, – сказала Екатерина Алексеевна. – Вот новое переиздание своего «Кандида» изволил преподнести, а с ним и письмецо: фернейского философа интересуется маркиз Пугачёв, сие для него главное. А книжку он прислал с целью намекнуть, чтобы я последовала философии Панглоса: «Всё, что ни случается, то к лучшему». К какому лучшему явился Пугачёв? Может, тебе, Павел Сергеевич, это известно из твоих задушевных бесед с разбойником?

– Из допросов Емельки, ваше величество, я познал только одно – его подлый дух. Он есть наихудшее для дворянства зло, которое можно только выдумать. И не дай бог, чтобы в России когда-нибудь повторилось подобное.

– Степан Иванович имеет особливый дар обращаться с простонародьем, – задумчиво промолвила государыня. – Он доносит, что маркиз Пугачёв воображает, будто я ради его храбрости могу его помиловать, и что будущие его заслуги заставят нас забыть его преступления.

– Обер-секретарь Тайной канцелярии его высокопревосходительство господин Шишковский донёс вам, ваше величество, совершенную правду: злодей вздумал надеяться на помилование. Сообща члены Следственной комиссии решили не разувирать Емельку в его пустых надеждах, дабы он не подох от страха до казни.

– Однако среди дворян разгулялись слухи о моей мнимой милости, которую ты и Шишковский учредили выдумать якобы для пользы дела, – печально сказала Екатерина Алексеевна. – Дворяне мной недовольны, а некоторые и поругивают за слабодушие. Это не есть хорошо.

– Тем более будут велики их ликование и благодарность вашему величеству, когда разбойника четвертуют.

Государыня окинула грубоватую фигуру генерала испытывающим взором, усмехнулась и молвила:

– Хотя и далеко тебе по всем статьям до твоего дядюшки

Григория Александровича, но и ты не глуп, как и все Потёмкины. Изволь присесть, где пожелаешь.

Откинув фалды парадного генеральского кафтана, Потёмкин осторожно опустился на край кресла и перевёл дух, догадываясь, что аудиенция стала складываться для него удачно, и императрица к нему по-прежнему благосклонна, несмотря на козни, которыми потчевали её враги генерала, и первый среди них граф Панин, возмнивший себя единственным усмирителем пугачёвщины.

– Стало быть, Павел Сергеевич, ты считаешь, что его нужно четвертовать, без всякой оглядки на Вольтера? Скоро же из тебя выветрилось восхищение лучшим писателем Европы, перед которым ты преклонялся и весьма недурно переводил.

– Я до сих пор, ваше величество, пребываю в восторге от его книг, – почтительно произнёс генерал. – Однако любопытно было бы знать мнение философа после того, как Пугачёв побывал бы в его замке, растопил камин его бессмертными рукописями, сжёг бы в нём стол, за которым Вольтер трудился, а, уходя, спалил до основания, как Казань, замок и его окрестности.

– Будем надеяться, что с ним такая беда не случится, – улыбнулась Екатерина Алексеевна и погрозила пальчиком. – Остерегись, Павел Сергеевич, повторять эти слова перед кем бы то ни было, если не хочешь прослыть врагом просвещения, тем более, что ты уже провинился перед Европой, когда подверг Пугачёва кнутабойной пытке.

– Это было совершено по приказу главнокомандующего графа Панина, – слукавил Потёмкин.

– Ладно, оба хороши. – В голосе государыни послышалась озабоченность. – Я читала твой допрос и ясно увидела, что под плетью Пугачёв наврал с три короба: не может у него быть двух десятков подстрекателей к самозванству и бунту. Добро бы их двое оказалось. Но почему они только раскольники? Меня вот никак не покидает подозрение, что в подстрекателях есть иностранцы.

– Ваше величество! – сказал, встав с кресла, Потёмкин. – Будучи неоднократно допрошен, Пугачёв твёрдо показал, что ни-

какие иностранцы не смущали его на принятие имени покойного государя. Особая Следственная комиссия, заседая, определилась по столь важному вопросу: Пугачёв говорит правду.

Государыня задумалась, и Потёмкин, стараясь не скрипнуть, сел в кресло. В кабинете было душно, по генеральскому носу скатилась вниз капля пота, он подхватил её языком и почувствовал, как у него во рту стало слегка солоно.

— Как себя маркиз Пугачёв чувствует? А то меня известили, что на него накатывает нечто вроде меланхолии. Он должен дожить до эшафота. Озабочься, Павел Сергеевич.

— Конечно, Емельке не над чем веселиться, — почтительно произнёс Потёмкин. — Он свою судьбу и без судебного приговора знает, потому и хнычет, и слёзы льёт, но умирать не собирается. В том видна его подлая мужицкая натура, безжалостная к другим и чувствительная лишь к себе.

— Всё должно кончиться казнью, — горько промолвила Екатерина Алексеевна и промокнула платочком уголки глаз с таким жалобным вздохом, что Потёмкин уверовал в её искренность. — Но каково моё положение! Я так не люблю этого. Европа подумает, что мы живём во времена Ивана Васильевича; такова честь, которой мы удостоимся впоследствии.

— Надо Европе показать сожжённую злодеем Казань. Может, она тогда соизволит проникнуться к нам сочувствием, — сказал Потёмкин. — Я защищал крепость, когда разбойники жгли храмы, монастыри, дома обывателей. Речка Казанка была запружена убитыми разбойниками людьми.

— Ты мне напомнил о разорении, коему подверглись дворяне Казанской и Оренбургской губерний, хотя как казанская помещица я об этом не забывала. Казань надо будет отстраивать заново, а пострадавшим от пугачёвского разорения помещикам, поелику это возможно, надо оказать вспомоществование, разумеется, в разумных пределах. Не учредить ли для этого дела особую комиссию, я ещё решу, но хотелось бы знать, нужна ли она.

Государыня затронула болезненную тему, которую сейчас взхлеб обсуждали пострадавшие дворяне, кои полагали, что

правительство должно возместить все нанесённые им пугачёвщиной убытки. У Потёмкина было на этот счёт свое мнение, и он посчитал своевременным донести его до государыни.

— Убитых злодеями дворян возвернуть сможет только Бог, — вкрадчиво промолвил генерал. — В остальном же дворянство пострадало не так уж и значительно. Как это ни кощунственно звучит, многим дворянам разорение должно пойти на их же пользу.

— Что ты такое, Павел Сергеевич, говоришь? — забеспокоилась Екатерина Алексеевна. — Разве может быть от разорения какая-нибудь польза?

— Рассудите сами, ваше величество, — стараясь быть убедительным, продолжил Потёмкин. — Земли дворян остались у них в сохранности, крестьяне никуда не подевались, а тех, кто пристал к бунту, карательные команды высекут и вернут владельцам, стало быть, имущество помещиков каким было, таким и осталось.

— Но ты же сам сказал, что Казань сожжена, а также многие усадьбы, — напомнила государыня.

— В Казани что и было порядочного, так крепость, но она цела. Сгорели обывательские избы, так на их месте уже стоят новые. Что касаясь усадеб, то смею вас уверить, ваше величество, большинство из них представляли собой ветхие дедовские хоромы, возведённые ещё при Алексее Михайловиче, а то и ранее, когда казанская и синбирская окраины начали заселяться дворянами на пожалованные им земли. Они так и жили бы в своих хижинах, не мечтая о лучшем, теперь же у них есть возможность построить новые просторные и светлые дома, обставить их на современный лад и зажить, если не вполне по-европейски, но близко к этому.

— Стало быть, не всё так худо! — повеселела Екатерина Алексеевна. — А ведь ты, Павел Сергеевич, угадал мои шестилетней давности мысли. Когда я была в Синбирске, то как-то поглядела из окна единственного в сем граде каменного дома Твердышева на полуразрушенную крепость, обывательские домишки и подумала, что недурно бы все это развалить и построить, если уж не из камня, хоть из хорошего дерева, приличные дома. Но откуда дворяне возьмут на это деньги? Пугачёв их дома не только жёт,

но и грабил. Да, кстати, много ли у него взято награбленных им денег?

– Наше дворянство прятать свои деньги умеет, – сказал Потемкин. – Из помещичьих усадеб Пугачёв поживился немногим, в основном, серебряной и позолоченной посудой. Но им разграблены казначейства во всех городах, где он побывал, и там ему досталась только медь, которую он разбрасывал народу возами.

– А мне доносят о его несметной золотой казне, – удивилась государыня. – Или это не так?

– Золото Пугачёв брал на уральских заводах и в Казани. Часть его удалось отбить у него генералу Михельсону, но под Чёрным Яром золотой казны у Емельки уже не нашли.

– Любопытно! – оживилась Екатерина Алексеевна. – Это сюжет для Вольтера. Извещу его, что маркиз Пугачёв по примеру Стеньки Разина спрятал свои сокровища в громадном кургане на берегу Волги. Надеюсь, это отвлечёт философа от его неслучайных брюзжаний в адрес России. И он напишет философскую притчу о бренности человеческого бытия.

– Пугачёв золото не спрятал, а потерял, – значительно вымолвил Потёмкин.

– Никогда бы не подумала, что он такой растяпа. Я вот, когда что-нибудь потеряю, начинаю испытывать такое чувство, какое испытывает обкраденный человек. Как же нашему маркизу не повезло?

– За Казанью на Пугачёва насел со своей гусарской командой граф Меллин и гнал его, не давая разбойнику продыху. В одной деревне он так на него насел, что Емелька бежал в одном исподнем, оставив всё, что у него было.

– И граф стал обладателем пугачёвского золота? – спросила Екатерина Алексеевна с ощутимой ноткой неподдельного интереса к почти рыцарскому приключению гусарского майора.

– Меллин, захватив усадьбу, не стал в ней шариться и поспешил за Пугачёвым.

Государыня с улыбкой посмотрела на выжидательно при молкшего Потемкина и сказала:

– Полно, Павел Сергеевич, мучить меня любопытством. Кто же нашёл клад Пугачёва? Объяви, кто сей счастливец.

– Должен огорчить ваше величество, золото досталось негодному дворянину Кроткову.

– В чем же его негодность? Он что, прилеплялся к Пугачёву?

– Степан Кротков настолько негоден, что вряд ли даже Емелька взял его в свою шайку. Он числится в отпуске по Преображенскому полку. Там его аттестуют как плохого солдата, вралю, нечистого на руку картёжника и забулдыгу. Год назад от долгов он бежал из Петербурга в гробу...

– Как в гробу! – всплеснула руками донельзя заинтригованная Екатерина Алексеевна. – Он что, стал покойником?

– Прикинулся неживым, ваше величество. И вот такому прохвосту достался клад.

– И как он велик? – спросила государыня. – Любопытно, как разжился маркиз Пугачёв.

– Думаю, тысяч двести в золотых монетах и полстолька в драгоценных вещах, – сказал Потемкин.

– Этот Кротков, наверное, поспешил разгуляться?

– Ведёт себя тихо. Сыщик донёс, что он заказал себе шубу на бобрах, – многозначительно доложил Потёмкин.

– На бобрах? – звонко рассмеялась государыня. – Ну, ты меня, Павел Сергеевич, развеселил, а то я совсем захандрила.

– Прикажете изъять казну у одного Кроткова? – деловито поинтересовался Потёмкин. – И куда его самого укажете определить?

– У Кроткова, конечно, изъять казну в наших силах, – задумавшись на мгновение, сказала Екатерина Алексеевна. – Только кому будет от этого прок? Мне ворованных денег на дух не надо. Отдать их дворянам, которые потерпели убыток от пугачёвщины, но как? Добрые люди давно уже смирились с тем, что с возу упало, то пропало. На делёжку набегут худые, ища возможности поживиться. В Казани ты, Павел Сергеевич, устроил раздачу имущества, взятого у Пугачёва, так до драки дело дошло. А мне надо думать, как умиротворить царство, утешить обездоленных. Разве не об этом мне надо заботиться?

– Воистину так, ваше величество! – поспешил согласиться Потемкин.

– Всех разом сделать счастливыми даже я не могу, – кратко промолвила государыня. – Но одного на каждый день осчастливить мне вполне по силам. Пусть сегодня им будет Кротков. Вели ему моим именем, генерал, не болтать и пять лет сидеть на золоте в своей деревне, не показываясь из неё даже к соседям. После этого он волен жить, как захочет.

-7-

Викентий Павлович был весьма удивлён, когда Кротков обратился к нему с просьбой о скорейшем и благоприятном разрешении дела для госпожи Угловой, но десять империалов убедили его, что Степан имеет вполне серьёзное намерение и проникся к нему самым искренним уважением. Титулярный советник выдвигал виды, и его ничуть не смутило, что золото Кротков вынул из засаленного кошелька, а сам щеголяет в штопаном кафтане.

– Дело о наследстве госпожи Угловой будет решено в ближайшие три дня, – важно произнёс Викентий Павлович. – Но мне сдаётся, Степан Егорович, что у тебя есть и другие заботы.

Судейский угадал: на Кроткове висели петербургские долги, без их погашения он не чувствовал себя свободным человеком и в любой час мог оказаться под арестом по иску своих кредиторов. Пока властям было не до его розыска, всех занимала смута, учинённая самозванцем, но розыскные бумаги на солдата гвардии никуда не запропалились и покоились, поджидая ответчика, в петербургском магистратском суде.

– Есть одно дельце, только оно, Викентий Павлович, вряд ли тебе по зубам, – сказал Кротков.

– Это почему ты меня так обижаешь? – воскликнул титулярный советник. – Я таких дел, что не по мне, не знаю.

– Оно в Петербурге, – вздохнул, намереваясь убрать со стола кошелёк, Степан. – Тебе туда не дотянуться.

– Очень даже просто! – заявил судейский. – И москвичи, и петербуржцы говорят на одном языке.

– Это на каком? – заинтересовался Кротков.

– На золотом, вестимо, – осклабился Викентий Павлович. – Звон империалов услышит даже глухой, только встряхни кошельком.

Поначалу Кротков хотел рассчитаться с процентщиками через Борзова, но, поразмыслив, вполне резонно решил, что доверять столь щекотливое дело пииту нельзя, тот вполне мог сорваться и прогулять доверенные ему деньги в трактире или спустить в карты. Титулярный советник хотя и заломит за посредничество, но дело сделает.

– Добро, Викентий Павлович! – решил Кротков. – Называй свою цену.

– Как же я её назову, когда дела не знаю? – развёл руками титулярный советник.

Выслушав Кроткова, он закусил нижнюю губу и, поразмыслив, вымолвил:

– Ох уж эти грешки молодости! Дорого они обходятся человеку, когда он повзрослеет. Посему меньше чем за пятьсот рублей я за это дело не возьмусь.

Если судейский, заломив такую несуразную цену, думал, что Кротков будет торговаться, то ошибся.

– Согласен, – весело сказал Степан. – Но у меня к этому делу будет одно крохотное порученье.

– Что такое? – напрягся Викентий Павлович, который уже успел раскаяться, что запросил слишком мало.

– Вместе с долгом нужно передать Саввишне перстень с яхонтом. Пусть старуха потешится.

– Странные, однако, у тебя пожелания, Степан Егорович, – удивился титулярный советник. – Где это видано, чтобы процентщицу ещё и одаривать? Так тебе никакого богатства не хватит.

– На мой век хватит, – веско сказал Кротков. – А эта старуха мне крепко помогла.

Развязавшись с долгами, Степан сразу почувствовал, что ему стало легче ходить и дышать, и он занялся своим гардеробом. Но это оказалось не таким уж и простым делом. Наехавшие со всех

сторон полюбоваться казнью Пугачёва дворяне завалили портных заказами. Степан ткнулся в несколько мест, но везде ему говорили столь дальние сроки исполнения, что он отступал, пока не догадался, что его встречают по одежке, которой впору было висеть в лавке какого-нибудь старьевщика на вшивом рынке, и не ведают, что перед ними первостатейный богач. Неудача Степана раззадорила, в нём проснулся азартный игрок, и он, узнав адрес самого дорогого портного Москвы, явился к нему и, оттолкнув портняжку, который хотел заслонить дорогу, бросил на стол тугой кошелёк с золотом. Мастер Жюль сначала хотел возмутиться, но, услышав звон, присущий только империялам, широко разбросал в стороны руки, будто решил обняться с Кротковым.

– О!.. – воскликнул великий портной. – Наконец-то я вижу настоящего заказчика! Я уже три года в Москве, имею славу лучшего портного в России, но вы, мсье, первый русский боярин, который так решительно продемонстрировал солидность своих намерений.

– Разве вы не шьёте на первых богачей? – удивился Кротков.

– Ах, мсье, – вздохнул мастер. – Они мои клиенты, но слухи об их широкой щедрости явно преувеличены. Это в Париже русские бояре не считают золота, а в Москве они прижимисты и даже скупы. Делают заказы с оглядкой на свой карман, а уж как привередливы! Но вы, я вижу, не такой и желаете, чтобы я вас одел с головы до ног.

– Хочу иметь самое лучшее платье, шубу на бобрах и такую же шапку! – заявил Кротков.

– Великолепно! – восхитился мастер Жюль. – Извольте пройти со мной, ваше сиятельство!

Соседняя комната была складом самых различных тканей и мехов. Одну за другой портной разворачивал перед Кротковым штуки батиста, атласа, голландского полотна и английского сукна и тут же прикидывал их на Степана, повернув его лицом к обширному, в треть стены, зеркалу. На заношенном кафтане эти ткани смотрелись в большом выигрыше, и Кротков соглашался со всем, что ему предлагал француз, чувствуя, как от обилия яр-

ких красок и болтовни хозяина у него начинает пошумливать в голове.

– А где бобры? – встряхнулся Степан.

– Мои бобры для вашей милости не подойдут. Для вас я найду лучших в Москве бобров. А теперь позвольте снять с вас мерку.

Они вернулись в примерочную комнату, мастер Жюль помог Степану освободиться от кафтана, схватил со стола метр и стал им действовать, как фокусник магическим жезлом, то бегая вокруг Кроткова, то приседая, то кланяясь и выкрикивая по-французски размеры, которые его помощник записывал в объёмистую тетрадь.

Своей тётушке Степан решил не говорить, что побывал у самого дорогого в Москве портного, к тому же француза. Но шила в мешке не утаишь, Агафья Игнатьевна всё узнала от кучера, который возил Кроткова на примерку. От неё затейка племянника стала известна Петру Николаевичу, геройский майор обиделся, что Степан не внял предостережениям, и наказал его тем, что перестал надоедать своими рассказами о турецкой войне, чему тот был весьма рад.

Житейские хлопоты отвлекали Кроткова от дум о ненадёжности своего богатства, ведь, несмотря на полученное от Пугачёва благословение на владение кладом, он ещё не до конца был уверен, что счастье его нерушимо. Полностью надеяться на слово мужика, хоть и «анпиратора», дворянину было бы не благодарно. И, сам себе в этом не признаваясь, Кротков ждал казни самозванца как дня, в который окончательно решится его участь. Чтобы отвлечь себя от дурных мыслей, он горячо занимался своим переодеванием.

Мастер Жюль, воодушевлённый щедрым заказчиком, работал не покладая рук и пошил верхнее платье к Васильеву дню, на новый, 1775 год, поклявшись снарядить Кроткова в бобров на Рождество. Получив обновки, Степан без промедления в них облачился и вышел к праздничному обеду, сияя узорчатым атласом жилета, золотыми пуговицами и серебряными, обдутыми алмазной пылью пряжками башмаков, которые под ним победно

поскрипывали, отсвечивая накрахмаленными кружевами на отворотах рукавов кафтана и пышной гривой завитого в крупные кольца сивого парика.

Узрев преображение племянника, Агафья Игнатьевна всплеснула руками и ахнула.

– Вылитый кавалер из календаря! – только и смогла вымолвить тётушка.

Егориевский кавалер недовольно засопел и, постукивая деревяшкой протеза, покинул гостиную.

– Пётр Николаевич сердает, – вздохнула Агафья Игнатьевна. – Ты, Степанушка, одевался бы в доме попроще.

– Каждый живёт по своему достатку, – нравоучительно заметил Кротков и потянулся к графинчику с очищенной водкой.

Утро 10 января 1775 года было в Москве сухим и морозным. Окно в комнате, где жил Кротков, за ночь насквозь промёрзло, заледенело и от медленно восходившего над древней столицей солнца окрасилось в сукровичный цвет. Поёживаясь от холода, Степан выпростался из-под тёплого одеяла, облачился в подбитый заячьим мехом атласный халат и, выглянув в коридор, крикнул слугу. Малый скоро принёс лохань с холодной водой и кувшин с горячей, чтобы барину было чем умыться и побриться. Закончив приборку лица и головы, Кротков неторопливо стал одеваться к выходу в город.

Мастер Жюль сдержал своё честное портняжное слово – бобровая шуба была пошита, и одетый во всё новое, благоухающий мускусом и другими парфюмерными сладостями, Кротков возложил её на свои плечи, покрылся бобровой шапкой и вышел из комнаты в коридор, где столкнулся с егориевским кавалером. Пётр Николаевич, до немоты поражённый вельможным видом племянника, отпрянул от него к стене, и Степан величественно прошествовал мимо хозяина, уязвив поборника дедовских нравов развратным запахом французских пряностей.

Открытый санный возок мало соответствовал бобрам, но Кротков в этот день был выше того, чтобы придавать значение таким суетным мелочам. Он взгромоздился на сиденье, запахнул шубу и ткнул Сёмку в бок, побуждая его встряхнуть вожжами.

Зашуршали по жёсткому снегу полозья, сторож распахнул ворота, и сани выехали на улицу, где нашли себе место в людском потоке, который был устремлён к Каменному мосту. Невзирая на стужу, дворяне и простолюдины спешили на Болотную площадь, где всё уже было готово для свершения казни над Емельяном Пугачёвым и его ближайшими приспешниками.

Экипажи через мост не пропускали, и Кроткову пришлось выбраться из саней и присоединиться к толпе, где благодаря вельможным бобрам он нашёл для себя просторное место: люди почтительно сторонились Степана, подозревая в нём значительную особу, никак не ниже четвёртого класса, возможно, даже сенатора. Однако Кроткову было не до почтительности, проявленной к его шубе. Он чувствовал, как в нём, опаяя душу, нарастает нетерпеливое возбуждение перед самым решающим моментом той жизни, которую он вёл с часа, когда кинулся в погоню за кладом, не ведая, что конец этого пути найдёт возле эшафота, приготовленного для его благодетеля Емельяна Пугачёва.

За мостом взору Кроткова открылась Болотная площадь, уже почти целиком заполненная народом. Все кровли домов и лавок вокруг неё были усеяны людьми, которые нашли там места для самого выгодного обозрения предстоящих казней. Эшафот был ограждён каре из пехоты с ружьями, но от него до эшафота оставалось значительное пространство, куда пропускали только дворян. Кротков поспешил туда, не оглядываясь по сторонам, и опять шуба стала для него магическим пропуском, позволившим Степану подойти к эшафоту на расстояние трёх саженей и пристально рассмотреть это ужасное сооружение.

Эшафот, по бокам обшитый досками, приподнимался над землёй на высоту полутора саженей. Помост был огорожен со всех сторон невысокой балюстрадой-заборчиком, посередине его высился столб с воздетым на нём колесом, который увенчивала железная спица. Вокруг эшафота стояло несколько виселиц с приставленными к ним лесенками и висящими петлями, а возле столбов находились предназначенные для повешенья узники. До Кроткова порывом лёгкого ветерка донесло сивушный запах: сгрудившись на помосте, палачи пили отпущенную им из казны водку.

– Везут! Везут! – зашумела и заколебалась вся площадь.

Издав невнятный гул, толпа раздалась на две стороны, освободив дорогу для высоких огромных саней, на которых приехали Пугачёв, священник и чиновник Тайной канцелярии. Одетый в белую баранью шубу и с непокрытой головой, Пугачёв кланялся по обе стороны народу, но слов, которые он при этом произносил, не было слышно. Кротков замешкался вместе с другими людьми отойти в сторону, и когда сани подъехали к нему, он, собравшись с духом, поднял глаза на узника, но Пугачёв его не увидел. Взгляд смертника был устремлён в бездну, куда ему уже неизбежно предстояло погрузиться навсегда.

Многочисленная толпа окружавших место казни дворян при виде своего кровного врага возликовала, что злодею не удастся избежать возмездия, но свою радость люди благородного сословия в открытую не высказывали. Послышался всего лишь один, не поддержанный другими, удивлённо-негодующий возглас:

– Боже мой! До какого ослепления могла дойти наша чернь, чтобы почесть такого сквернавца за государя императора!

Но мужицкий царь этого барского упрёка народу не слушал, с саней его свели к крыльцу эшафота. Медленно ступая, он поднялся на помост и предстал перед толпой в сиротском и затрапезном виде, ничуть не напоминающий того грозного Пугачёва, который вздыбил на дворян подневольную Русь. В его чертах не было ничего свирепого, он даже казался растерянным и бормотал молитвы, кланяясь по сторонам и временами вскрикивая: «Прости, народ православный!..»

Распорядитель казни обер-полицмейстер Архаров дал знак чиновнику огласить решение и сентенцию Сената. Наконец прозвучал приговор: казнь четвертованием. Палач сорвал с Пугачёва баранью шубу, разорвал на нём малиновое полукафтанье и опрокинул его на плаху. Сверкнуло лезвие топора, и в этот миг многие свидетели казни отвернулись или потупились, но только не Кротков. Он широко раскрытыми глазами глядел на летящий к плахе топор и вдруг ощутил вокруг своей шеи нестерпимое жжение.

– Ах, сукин сын! Что ты сделал! – закричал на палача чиновник. – Ну, скорее – руки, ноги!

Теперь уже на всех смертников набросились их палачи. Над толпой явственно разнёсся стук топоров – это отрубали руки и ноги у Пугачёва и Перфильева, из-под приговорённых к повешению были выбиты лесенки, и в петлях, корчась, забились Торнов, Падуров и Шигаев. Рукой палача на железную спицу была воздета отрубленная голова Пугачёва, на колесо возложены части тела, над которыми за клубился кровавый пар.

Не все дворяне смогли вынести столь убийственное зрелище, нескольких стошнило, но большинство стали веселы и довольны. Важный старик, стоявший рядом с Кротковым, промолвил:

– Умна матушка-государыня! Как ловко всем угодила: и дворянству, что требовало смерти злодея, и вольтеровской Европе, коя гуманно рубит своим преступникам головы, но протестует против четвертования в России. Нечего сказать, умна!

Ощущая в душе ледяную пустоту, Кротков добрел до своих саней, взгромоздился на сидение и с недоумением взглянул на полицейского офицера, который, больно придавив ему ножнами сабли ногу, примостился рядом.

– Господин Кротков? – шевеля заиндевелыми усами, строго осведомился офицер.

– Так точно, – пролепетал Степан, чувствуя, как под ним разверзлась пучина страха. Сёмка обернулся и удивлённо смотрел на непрошеного седока.

– Что zenки lupишь! – ощерился офицер. – Гони на Монетный двор!

Не успел Кротков опомниться, как оказался в знакомом ему коридоре возле открытой настежь двери камеры Пугачёва.

– Вот и бывшие покои злодея, – промолвил офицер. И Степан вдруг обожгла ужасная догадка, что валявшиеся на полу возле лавки, покрытой овчиной, кандалы и цепь, все эти каторжные снасти, предназначены для него, и сейчас его снарядят в них и прикуют к стене, как Пугачёва. Усилив воли он сдержал готовую оросить ноги мокроту и всхлипнул, но офицер подтолкнул Кроткова в спину и понудил идти в дальний конец коридора, где размещались кабинеты следственной комиссии.

– Что, проводил в последний путь своего благодетеля? – яз-

вительно сказал генерал Потёмкин. – Возрадовался, что больше никто не знает о воровском золоте, которое ты хранишь в ретиральном месте? В бобров вырядился, мерзавец! Вон из Москвы! Повелением государыни тебе на пять лет воспрещён въезд в столицы! Сиди в деревне на своём поганом золоте и не высовывайся! – и сунул под нос Кроткова костистый кулак.

И тут потрясённый до глубины своей души Степан совершил невообразимое: он припал подрагивающими губами к генеральской руке и всю её облизывал благодарными поцелуями. Пока Потёмкин, онемев от изумления, судорожными движениями обтирал о кафтан испачканную слюнями руку, Кротков нашарил спиной дверь, вывалился в коридор и помчался, размахивая лапами бобровой шубы, на выход. Вскочив в сани, он ударил Сёмку по спине и крикнул:

– Лошадь не распрягай! Сегодня же повезёшь меня в Кротковку!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Погоня за пугачёвским кладом, завершившаяся, по воле государыни Екатерины Алексеевны, надёжным обретением сокровищ, подкосила Кроткова, и в свою деревню он приехал совсем хворым, едва узнал бурмистра Сысою, и на долгое время слёг в постель. Внешне Степан выглядел вполне здоровым, его хворь проявлялась в равнодушии к жизни, углублявшимся приступами жутких кошмаров: ему по ночам мерещились то голова Пугачёва на эшафотной спице, то громадной величины кулак генерала Потёмкина, то дергающийся в петле на ветке дерева несчастный Парамон Ильич.

Кротковым овладел страх быть отравленным, и к себе он допускал лишь Сысою, доверяя только ему себя кормить, поить и обихаживать. Верный холоп сокрушался, глядя как барин мается неведомой его мужицкому уму хворью, и считал, что господина сглазили в Москве. Убрать такой силы порчу было бы под силу

одному лишь Савке-богу, но другой кудесник в округе ещё не объявился. Пришлось Сысою идти к попу, чтобы тот отслужил во здравие господина молебен и окропил его святой водой. «Как бы он, Сысой, не огрел меня поленом, – поёжился отец Никодим. – Тятенька барина, Егорий Ильич, меня им, бывало, жаловал...»

Сысой был настойчив и привёл попа в господский дом, где он освятил все углы, на что Кротков равнодушно поглядывал со своей кровати, но эту ночь он первый раз провёл без обычных кошмаров. Когда отец Никодим явился на следующий день, Степан встретил его благожелательно, угостил чаркой очищенной и велел приходить к нему без зова. У попа хватило ума не надоедать жалобами на церковную бедность, а ежедневно орошать душу барина рассуждениями о бренности человеческого бытия и терпеливо ждать плодов от своего духовного саженца. К весне Кротков вполне созрел для принятия нужного решения: он велел Сысою выкопать тридцать одну бочку медных пятак, тридцать из них пожертвовал на строительство храма, а одну бочку подарил отцу Никодиму, чтобы он её потратил на священные одежды для себя и диакона.

Судьба вскоре отблагодарила Кроткова за богоугодный дар женитьбой на хорошенькой дворяночке, старинного рода и значительного состояния, которая принесла ему, одного за другим, двух сыновей.

После пяти лет затворничества в деревне он рискнул поехать в Синбирск, где осмотрелся и купил две деревни с семьями крепостных душ. Этим его приобретения не ограничились. Всего Кротков приобрёл на золото пугачёвского клада 6000 крепостных в Синбирской и Московской губерниях, усердно занимался хозяйством и богател, однако одно обстоятельство лишало его ощущения полноты своего счастья. Скоро богатство Кроткова вызывало подозрение у всех, кто его знал. Пошли толки, что Кротков заимел его нечестным путём, якобы подкараулил и убил демидовского приказчика, который с золотой казной проезжал мимо его деревни. Но в основном судачили о том, что находилось поближе к правде: будто Кротков служил у Пугачёва

казначеем, оттого и неслыханного обогатился. Этот слух был запечатлен известными мемуаристами и повторён Е. Карновичем в книге «Замечательные богатства частных лиц в России», изданной в 1874 году.

Это, конечно, выдумка. Пугачёв вешал всех встреченных им дворян и доверить добычу Кроткову не мог, а если доверил, то казначей не долго бы прожил, потому что слишком много охотников на его голову имелось в окружении «мужицкого анпира-тора». Кротков обрёл сокровища волей случая, не совершив ни одного явного преступления, но в его обогащении для окружающих всегда была неясность, и дворяне его сторонились.

Не обрёл покоя и счастья Кротков и в зрелые годы. И причиной этому стали его сыновья, большие моты, отличавшиеся распутством и буйством. Один из них подделал доверенность на продажу деревни и купчую крепость, где среди других крестьян записал родного отца «бурмистра Степана Кроткова». Дело получило скандальную огласку, и Степану Егоровичу пришлось изрядно потратиться на взятки и дачу отступного, чтобы ликвидировать сделку.

К тому времени он уже был вдовцом и в пику своим недостойным отпрыскам разделил имения. Оставив сыновьям синбирские деревни, Кротков уехал в подмосковную усадьбу и женился на молодой и смышлённой особе, которую объявил своей единственной наследницей.

О его потомках известно, что они отличались грубостью и жестокостью, торговали людьми, как скотом, кнутабойствовали и насильничали, удивляя своими повадками даже привычные ко всему губернские власти. Наконец возмущение крестьян достигло предела, и в мае 1839 года в селе Шигоны Сенгилеевского уезда Синбирской губернии толпой был растерзан помещик Павел Кротков, обвинённый крестьянами в поджигательстве.

Это нелепое на первый взгляд обвинение отражает суть взаимоотношений между народом и благородным сословием. Своими неправдами и насилиями правящий класс даже после пугачёвского бунта продолжал усердно «поджигать» Россию, и стоило появиться новому Пугачёву, вооружённому теорией классов-

вой борьбы, как грянула революция. Именно Ленин и стал тем кладом Пугачёва, о котором бредил народ до 1917 года. К чему это привело, известно всем, но осознано далеко не многими.

Пушкин в Симбирске

*Напрасный труд о Пушкине читать
Плетьня знатоков гнилое кружево.
Пора бы наконец нам всем узнать,
Что Пушкин приезжал в Симбирск не ужинать
К Языковым, Загряжским иль другим
Симбирским хлебосолам записным.*

*Иные чувства к нам его влекли.
Здесь зрело в нём пророческое слово.
Здесь, как вулкан, поднялся из земли
Народный бунт.
На царство Пугачёва
Венчал народ.
Восстание, как лава,
Катилось на Москву.
Здесь дрогнула держава.*

*Он вслушивался в строй разбойных песен,
И чувствовал, как зло вскипала в них
Кровь неизбежной, беспощадной мести.
Раскола кровь – на наших и чужих.
Поэт народа есть всегда пророк.
И здесь у нас на полосе тетрадной
Он записал:
– Не дай увидеть, Бог,
Наш русский бунт,
Бессмысленный и беспощадный!*

Полотнянко Николай Алексеевич

Клад Емельяна Пугачёва

Современный русский роман

Редактор *Л.И. Полотнянко*
Дизайн обложки *А.В. Качалин*
Компьютерная вёрстка *Л.И. Полотнянко*
Корректор *М.Н. Аверина*

Подписано в печать 24.09.2014
Формат 60х84 1/16. Бумага офсетная.
Печать ризографическая.
Гарнитура Times New Roman.
Усл.печ.л. 15,19. Заказ №14/100.

Тираж 300 экз.

Отпечатано в издательско-полиграфическом
центре «Гарт» ИП Качалин А.В.
432042, Ульяновск, ул. Рябикова, 4.